



ЮЖНОЕ СИЯНИЕ

ОДЕССКИЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛ

2(12)' 2014

Главный редактор
Станислав АЙДИНЯН

Выпускающий редактор
Сергей ГЛАВАЦКИЙ

Отдел поэзии
Людмила ШАРГА

Отдел прозы
Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

Отдел литературоведения
Алёна ЯВОРСКАЯ

Общественный совет:

Евгений Голубовский (Одесса), Владимир Гутковский (Киев),
Олег Дрямин (Одесса), Олег Зайцев (Минск),
Кирилл Ковальджи (Москва), Татьяна Липтуга (Одесса),
Марина Матвеева (Симферополь), Виктор Петров (Ростов-на-Дону),
Александр Петрушкин (Кыштым), Юрий Работин (Одесса),
Илья Рейдерман (Одесса), Анна Стремшинская (Одесса),
Александр Хинт (Одесса), Евгений Черноиваненко (Одесса).

Издание журнала осуществляется при поддержке Одесского городского совета
в рамках программы «Сохранение и развитие русского языка в Одессе»

Свидетельство о регистрации: серия ОД № 1563-434-Р от 16.11.2011 г.
Учредитель – Общественная организация «Южнорусский Союз Писателей»

Е-mail редакции: auroa_australis@lenta.ru
Интернет-версия журнала: ursp.org

© «Южное Сияние», 2014

В НОМЕРЕ

ПОЭЗИЯ

Одесса: Владислава Ильинская. Штиль в груди любой стихии. <i>Стихи</i>	4
Одесса: Алёна Щербакова. Внезапный дождь над мостом. <i>Стихи</i>	9
Одесса: Валерий Сухарев. Картинка местности. <i>Стихи</i>	13
Одесса: Екатерина Янишевская. Чернилами между строк. <i>Стихи</i>	17

ПРОЗА

Одесса: Вероника Коваль. Idioot. <i>Рассказ</i>	22
Одесса: Людмила Шарга. Королевство высокой травы. <i>Рассказы</i>	27

«МЕГАФОН»

Трубадур одесского двора. <i>Интервью Евгения Голубовского с Аркадием Львовым</i>	42
--	----

ПОЭЗИЯ

Кыштым: Александр Петрушкин. Среди неплодородных слов твоих. <i>Стихи</i>	47
Новосибирск: Лада Пузыревская. Век эпилога. <i>Стихи</i>	53
Франкенталь: Михаил Юдовский. Каждая роща священна. <i>Стихи</i>	60
Феодосия: Ника Батхен. Чётки чужих городов. <i>Стихи</i>	66

ПРОЗА

Харьков: Юлия Баткилина. Жила-была. <i>Рассказы</i>	71
Бар, Черногория: Роман Казимирский. Химеры. <i>Повесть</i>	78
Москва: Емельян Марков. Рассветный снег. <i>Рассказы</i>	98

ПЕРЕВОДЫ

Из ведийской поэзии. <i>В переводах: Андрея Коваля с санскрита</i>	107
---	-----

ПОЭЗИЯ

Киев: Ирина Иванченко. «Нас перечитывает Гоголь...». <i>Стихи</i>	112
Киев: Андрей Мединский. «Перспектива жить с фантомной болью...». <i>Стихи</i>	117
Киев: Тамила Синеева. В неблизкое завтра. <i>Стихи</i>	122

ПРОЗА

Одесса: Галина Соколова. Свет горных астр. <i>Рассказ</i>	127
--	-----

ПОЭЗИЯ

Одесса: Леонид Якубовский. Бег лестниц . <i>Стихи</i>	136
Одесса: Ирина Дубровская. «Последнего сладость глотка...» . <i>Стихи</i>	140
Одесса: Семён Вайнблат. «На теле времени зарубки делаю...» . <i>Стихи</i>	145
Одесса: Елена Миленти. Вероятность заблудиться . <i>Стихи</i>	150
Душанбе: Бахтияр Амини. Ветер-хореограф . <i>Стихи</i>	154

«ОКОЕМ»

Одесса: Сергей Главацкий. Провинция у моря. Фестиваль вопреки . <i>Вступительная статья</i>	159
Одесса: Ксения Александрова. <i>Стихи</i>	162
Санкт-Петербург: Дмитрий Артис. <i>Стихи</i>	166
Нью-Йорк: Юрий Бердан. <i>Стихи</i>	170
Тамбов: Майка Лунёвская. <i>Стихи</i>	172
Одесса: Елена Росовская. <i>Стихи</i>	175
Одесса: Анна Стреминская. <i>Стихи</i>	180

«ЛИТМУЗЕЙ»

Одесса: Евгений Деменок. Одесские участники пражского «Скита поэтов» . <i>Обзор</i>	184
--	-----

«ШКАФ»

Симферополь: Марина Матвеева. Визуальная поэзия – биологический вид творчества . <i>Обзор</i>	197
Киев: Владимир Гутковский. Поэзия в «толстых» журналах. Лето-осень 2014-го . <i>Обзор</i>	203
Москва: Александр Карпенко. О творчестве Льва Болдова, Лады Пузыревской и Михаила Юдовского . <i>Размышления</i>	206

ВЛАДИСЛАВА ИЛЬИНСКАЯ

ШТИЛЬ В ГРУДИ ЛЮБОЙ СТИХИИ

30 ШЕКЕЛЕЙ

так, как ветер вздымает новые паруса,
так, как воздухом наполняется парашют –
он стремился ворваться в сказочный райский сад,
забывая о том, что сначала положен суд.
а когда над каналом свешивалась луна,
ему снился тот, кто однажды его спасёт...
убиенных своих нашёптывал имена,
забывая о том, что за это представят счёт.
только утро всегда приносило такую муть,
что простить себя никаких не хватало сил...
день за днём проходил он тот же порочный путь,
забывая, о чём недавно ещё просил.
день за днем, постигая суть своего стыда,
он скитался по миру, прячась от пустоты...
правда, даже самые мудрые города
забывали о нём, не успев от шагов остыть.
и когда, наконец, случился тот самый суд
и спаситель ему представил тот самый счёт,
тридцать шекелей – знал он – точно его спасут,
тридцать шекелей – это мелочь, Искарriot.

ИСТИНА

прозрачные слова меняются местами,
а истина лежит незыблема на дне...
лежит себе и ждет: ну кто ж меня достанет,
не век же мне торчать на этой глубине.
поднимется песок, закрутятся воронки
и, кажется, вот-вот начнётся путь на свет...
но истина лежит по-прежнему в сторонке
и горечи её конца и края нет.
проносятся года, муссоны и пассаты,
и тысячи комет, и сотни тысяч дней,
и мы с тобой, увы, совсем не виноваты,
что истина никак не станет нам видней.
в крошечной темноте, под тоннами иллюзий
не слышно ничего, здесь только тишина.
познавшему её нельзя вернуться к людям,
он больше никогда не сдвинется со дна.



БОННИ И КЛАЙД

ты сидишь в темноте и размеренно крутишь глобус.
я закуриваю сигарету, включаю свет.
это просто такая игра, чтоб развеять злобу...
говоришь: «донгались, мы снова летим в европу.
ну поехали зарабатывать на билет».

на часах половина восьмого, уже светает,
очень холодно в тоненьких курточках на ветру.
я стараюсь не думать вообще о горячем чае,
ты – забыть обо всех судимостях за плечами
и уверенно так расстёгиваешь кобуру.

через пару часов в терминале мелькают в штатском
мы сжимаемся в точку и смешиваемся с толпой.
и пока мы всё ещё вертимся в этом танце,
никакие боги не вынудят нас расстаться,
никакие пули не вынудят нас расстаться...
я с тобой, мой любимый,
с тобой я,
с тобой,
с тобой...

расскажи мне о счастье, внезапно попавшем в кровь,
обернувшимся ядом, сжигающим изнутри...
как случилось так, что пройдя миллион дорог,
я застыл истуканом в проёме твоей двери?
расскажи мне о боли, которая вяжет трос
из оборванных нервов в жерле моей груди...
как случилось так, что пройдя миллион костров,
я сумел в это пламя адское угодить?
расскажи мне о жизни в свинцовом твоём плену,
где на завтрак потчуют лезвием под ребро...
как случилось так, что убив миллион минут,
лишь теперь получаю я самый жестокий срок?
расскажи мне о смерти. в прохладной её тени
танцевал я бездумно свою вековую жизнь...
как случилось, что именно здесь оборвётся нить?
объясни мне, хоть что-нибудь, господи, объясни.

на расстоянии вытянутой руки,
на поводу у расширенного зрачка,
неразделимы и варварски далеки
будем с тобой вот так коротать века.
будто бы нас казнил бесноватый царь,
только постигший пыточные азы.
будто бы в горло влили тебе свинца,
мне же скормили собственный мой язык.



вот и лежим раздавлены и тихи
каждый теперь в своём ледяном гробу,
лишь по ночам оттуда слышны стихи,
благодарящие и проклинающие судьбу.

я могу показать тебе рай и ад,
провести по канату к вершине фудзи,
но лежу неподвижно, как тот солдат,
подыхая от множественных контузий.
я могу открывать для тебя портал
в те места, где ступала нога шамана,
если ты досчитаешь со мной до ста,
если ты мне покажешься из тумана.
я могу написать тебе сотни книг,
миллионы пустых бесполезных строчек,
но любые слова заведут в тупик,
из которого выбраться ты не хочешь.
я могу непрерывно в тебя смотреть,
как другие глядят на огонь и воду...
продолжай же пожаром во мне гореть,
вытекай же из памяти на свободу.

меж бесконечных тавтологий
и бесполезных биохимий –
ты луч во тьме любой дороги,
ты шталь в груди любой стихии.
своей не понимая силы,
ты излучаешь столько света –
что мог спасти бы хиросиму,
родись ты раньше на полвека...
но вторгнись ты в клубок событий –
наперекор скупому небу –
его запутанные нити
не привели тебя ко мне бы.
и в мире – всё равно паршивом
(пусть малость просветлевшем внешне),
меня бы тихо удушила
тебе не отданная нежность.

остудить бы сердца, отвести войска,
привести бы в порядок свою страну...
и не следует правых в войне искать
(это тоже ведь способ вести войну).



поедает купюры голодный мир,
но когда-то приблизится «время Ч»...
и тогда не поможет ни фунт, ни лир,
ни кредитная карта, ни тревелчек.

не помогут подземные города,
не помогут воздушные корабли,
если с неба исчезнет одна Звезда
оттого, что с ней справиться не смогли,

оттого, что в спирали прозрачных дней,
заслонившись от света других планет,
разукрашенным стадом ползла по ней
почитатели блеска чужих монет.

но однажды обрушится звездный шлейф
и когда ты увидишь его вдали –
не жалей, человечество, не жалей
положить пятаки на глаза Земли.

воображаемому сыну

всё начнется со света и им же кончится...
и пока твоя матушка в родах корчится,
ты впервые поступишь не так, как хочется,
покидая уютный мир.
из него выползаешь, как будто из лесу
(оторвавшись от самой надежной привязи)
в ледяные тиски мирового кризиса,
дикарём – на роскошный пир.
поначалу ты нем и не знаешь правил, но
не бойся, тебе объяснят, как правильно
нужно жить, чтоб тебя подключили к кабелю,
раздающему барыши.
реверансами будет намного проще, но
когда ты поймёшь, что везде непрошенный –
обнаружишь внезапно себя на площади,
среди груды горящих шин.
можно делать что хочешь, и жить по совести,
пребывая в тактической невесомости.
не просить и не спорить, ни с кем не ссориться,
посадить свой контрольный бук.
всё, что ты в этот мир принесёшь хорошего –
обернётся в итоге троянской лошастью,
и ты вновь очутишься на той же площади,
проклиная свою судьбу.
расширяется космос, планета вертится,
продолжает надежда оттуда черпать,
и я знаю, родной, как тебе не терпится
доказать мне, что неправа.



твоя матушка просто трусиха, нытик и
переевшая этики да политики
на сегодняшний день может стать родителем
лишь красивым своим словам.

в сплошное полотно сливаются пути,
срывается состав с последнего маршрута.
не спрашивай меня, хочу ли я спастись...
пролистываю жизнь минута за минутой:
пытала тишиной, свистела соловьём,
то улыбаясь нам, то пробегая мимо,
мы грелись, как в мехах, в дыхании её
и верили всерьёз, что мы неуязвимы.
нам даже удалось не выжить из ума,
под сапогами тех, кого пустили в душу...
но ветер остывал, и близилась зима,
и мы в своих домах не знали, что снаружи.
сквозь горы и леса, поля и города,
сквозь суету витрин и тротуаров кротость –
по рельсам ледяным несутся поезда
и чёрная звезда им освещает пропасть.

АЛЁНА ЩЕРБАКОВА

ВНЕЗАПНЫЙ ДОЖДЬ НАД МОСТОМ

*Когда лицо твоё
я вижу глазом Пустоты,
Твое лицо – моё;
И между «видеть» и «любить»
нет ни малейшего зазора.
Kolin Oliver*

Гильотина двери с утра,
Выходя – выходи
В лиловатых вещей экран,
Будто один.
За гравюру горы, двора
Посередине.

Говоришь, ветка сакуры неотвратимей
Каллиграфии самурая

ГОСПОДИН МАТУС

И хотелось там находиться, Джон,
Где рассвет ссекает сквозным ножом
Знак вопроса – и в пустоту прыжок
Совершён.

Оттолкнувшись от края вторых дверей,
Тень орла над плато в висок втерев,
Подтвердив глазами его всех рек
Шёлк.

Вот и он в путевых тетрадах века
Пишет больше, чем запись ведёт рука
В мире щедром, как азиатский кайф,
К переменам.

Только слух тумраном зальёт – и вдруг
Драгоценные реки внутри, вокруг,
А мы тут – в гостях, не сомкнув и рук,
Там – проснулись одновременно.



OZ

Поутру мостами наших эпистолярных
Снег с континента на элинги по выкройке Ямамото,
В складках стекольных, твердеющих городами
За сходство с печатным шрифтом, его ремонтом.

Окно, перекресток Оккама и камня в дне
Недели, традиционно назначенном миру для отдыха.
Сон, прорывающийся из сна, где нас нет,
Изнуряющий кнехты перемещеньем лодок.

Ома густой коридор выводит к прибою,
От расстояния у значения нет лекарства,
С точки зренья полярников в маятнике пробойна,
Планетарный ветер играет тему прощания с Зороастром.
Облако утесняется яблоком в чужеродном приборе,
В воздухе, затапливающем маки, костры и царства.

СФИНКСОВ СОН

Травам – ткать серебро.
Царства дарить – смелым.
Мне Попутчик сказал, кровь –
Странное дело.

Самум искать попутчику
В поле. На пять сторон
Камень - меч - лист - луч -
Ворон?

Миф о добыче огня,
Символов связка стальная,
След это смерть коня,
Паллиатив данайский,

Полцарства, отрезок, точь,
На перевале эха,
Театра текста почта
В огненной пастве века.

Звук на ходу песку менять,
Усиливать – зеркалам.
Проводник, промолчи меня,
Нет ни добра, ни зла.

Мало ли чем не шутит
Разъединенный глаз –
Перекладные шурфы,
Почвы двудонный пласт.



Вот и параду скроен
Бережно к темени нимб,
Помня по слепку роли,
Как тот иероним.

Ключ проводник получит,
В Силы дверь постучит.
Мне твердил Сирокко, я лучник,
Шаги – Тишине учить.

Скор и о зренья ольмека,
В зеркале Сфинкса ответ –
Он продолжает их всех,
Они его нет.

АЧАРЬЯ

Луны дорогой объектив с хорошей выдержкой,
Чего не скажешь о странниках и о призраках,
Труппе комедиантов на тени верёвки выжатой
И о прочих видах со склонностью к месмеризму.

Они веруют, что все живы, Мидия,
Потому продолжай доверять изнанке.
Друг берет за руку – и «теряешь сознание»,
Как в третьем чувствительном веке в Тавриде.

Вот все иллюзии о взятии контуров,
Что в дадаистах, что в нововеерах,
И в реквизите гримёров одни котурны,
Волки не сыты, овцы играют скверно.

Отрадно вполне, иллюзия тонкого опыта,
Надежней сложных людей, агиток содома.
Учитель берёт глаза – и исчезают все копии,
Дальнейшее происходит красиво и долго.

Они думают, что мы джины, Мидия,
Музыка развращает ум ещё до вступления,
При возвращении инструмента и исполнителя
В племени ценятся скромные святые хворост или поленья.

МЕЖГАЛАКТИЧЕСКИЕ ЭЛЕГИИ

И расстояния присутствие довершают,
знаю, что слышишь и мой, крошащийся
за архипелагом
край папиросной почтовой птицы
в крюшонном кармане гостиницы,
где слух заволакивает
стен металлический гул,
где вместо кальяна затягиваешься на берегу
элегиями, и в кинописи по сердцу есть благо.



Из этой выходишь неровно, толчками,
 как из воды моря,
 даже если волны
 в твоей комнате по рёбра,
 и от этого в доме поднимаются занавески и камни,
 зодчество помнит – свет для Кали
 падает дробью.
 Контуртвой проступает в проёме двери
 так, что хочется повторить
 это не только тушью, как минимум раза три –
 шагом, дыханием, чтением подробным.

Из этой выходишь – как из-под стражи собственных молний,
 приглашением к спонтанному новоязу,
 степень предметов, зависших, растаивающих в зоне моря,
 и не то, что открыткой, или там сказкой,
 окна снаружи – электрические моллюски.
 в наших, иных –
 у л и ц п л е т и,
 каллиграфией тибетских отметин
 и в с ё о с т у ж а ю щ и й с н е г
 и в с ё о с т у ж а ю щ и й с н е г

ЛОТОС

ещё не завершённые полотна
 предлунного дымящегося круга,
 раствора молока с бенгальским чаем
 с серебряным в нём поворотом сна,
 и профиль, проступающий за фреской.

вторых огня и ветра вдох синхронный,
 как между изумленьем и желаньем,
 проектора тревожащего плеск
 открытием, что некуда вернуться,
 ни в поселения, чьи имена как жажда,
 ни к тучам, давшим очертанья мысу
 за улочками шириной в копьё.

как явно нас меняют эти карты.
 льдам ничего не остается, кроме –
 смотреть, как неизбежность этой встречи
 возводит в нас пороги Атлантид.

По телу руны движутся рисунком,
 когда мой голос узнают те солнца,
 здесь всё не даст нам не узнать друг друга,
 ничья, заклинанья отпустив.

ВАЛЕРИЙ СУХАРЕВ

КАРТИНКА МЕСТНОСТИ

Вдоль беззубых заборов, босых котов,
вброд перешедших лужу размером с Азию,
не борясь с борями, в демисезонном пальто,
держа на фонарь невозмутимый азимут;
мимо дощатой церкви (осьмнадцатый век),
а заодно и мимо Танюшки в окошке,
я – с коньяком и бессонницей человек,
забрёл в огороды града, в бурьян и кошки.
Бесповоротно; и околоток сей –
выселки дальнего леса с *туда* тропинкой –
это в заштатной находится полосе,
мне здесь понравилось, можно править поминки
по возвращению к вытертым тряпкой дням,
к маниакальным закатам с лиловым нарывом,
к тем, кто в упор ненавидел меня,
с каким-то картезианским надрывом.
Сниму у Танюшки угол на пару дней,
кончив коньяк, перейду на местное пойло,
и, как камбала, распластаюсь на дне,
каких бы ночей тебе это ни стоило.

Озеро, где карандаши камыша ничего не рисуют
на глади, и утопленниц больше, чем они видали
в жизни хоть чего-нибудь, ветер ракиты тасует
и едет джип в дальние дали, дура там на педали

нажимает... Это просто картинка местности, так...
Озеро по ночам, словно бессонный и страшный глаз,
глядит околот, на церковку и на старух и собак,
забывших свои имена, на вас глядит оно и на нас.

Оно не замерзает зимою, а летом там, кроме стрекоз
и капустниц, нет никого – не ходят люди, сидят по домам
и говорят о нём разное, – особенно, девушки, чьих кос
пока коса не коснулась, и ничего не спрашивают у мам.



Да и те помалкивают, поворотив лица то ли в окно,
а то ли в мисочки с завтраком, в округе один рыбак –
из мужиков – остальных просто нет; за окном темно
от сирени; да и тот рыбак с ума не сойдёт никак.

Осенью, когда сзади бор у чужой реки
и дымится туман, как тепло из форточки,
и его привидения стоят, какobelisks,
понимаешь, навзничь лёгши, что близко

и что далеко, тело трусливо стократ,
ёжится, точно губка, а там сто ватт
с того, а этот – ты на траве лежишь и
слушаешь их голоса, молчаливые крыши,

сетками лодки что-то в воде плещется,
падший мир не из спилберга, но мерещится,
даже с тройным крестом и хомовым кругом,
как наступает за пядью пядь ахающая округа,

эти лесные *и* ночные звуки и всплески воды,
кто там дышит и ходит, на коже твоей следы
и на сетчатке вот оставая, может там и твоя
поступь была, я слушаю, небо зрачками кроя,

как полотно – ножницы, этот матовый твид без
ворсинки звезды, и то не какой-то заблудший бес,
но другое, и не говори о нём никому, только мне,
елико я там лежу, и ты в душе, никого более нет.

Еноты ходят своею тропой, еврей своею гурьбой, я хожу один,
с горбатой приватностью, не ищу друзей, а подруг и так хватает,
на ночь глядя приходит печаль фиолетовая, *надо бы в магазин*
за сигаретами, но кресло манит и остатки тела воздух хватает

ртом, что не самое глупое или поганое в этой жизни произнёс,
у меня нет сада и был бы, там не росло б тубероз и лилий вялых,
сирень всех цветов и оттенков и была бы прохлада твоих кос,
тугих и радостных, и шмель бы бубнил над тюльпанами алыми.

Очень много лет я смотрю в свою судьбу, как в окно с энного этажа,
кроме случайных крыш и фаллических труб ничего пока не видать,
только голуби засоряют простор да скворцы скворчат, осталось нажать
себе на глаза, чтобы людей разглядеть, и льётся из крана слюдяная вода,

похожая на слёзы, а оне на мочу, я давно ни о ком не плачу, только
плачу по своим душевным счетам, мыча, мне никто не помог, только Бог
головую покачивает, попуская многое, но не всё, и в окне малая толика
месяца дивно маячит, словно бы говорит обо мне тебе, о том, что не смог



я для тебя сделать, а теперь уже поздно лебедем-шипуну на пруду
прикидываться, мои годы ангелы пересчитали на счётах и всплакнули
от нелётной погоды, ты сумеешь закрыть мне глаза, когда я тихо уйду,
не от тебя, но в сторону, просто туда, где никто никому не кажут дули,

не дарят kota в дырявом мешке, не воруют дров, не мычат и не поют.
Я знаю, что там поляны полны печали и деревья понуры, как ивы над
овальным озером, где ты вдруг, как ундина, всплывёшь, и то будет тот
миг, когда и попрощаемся и уже никакой – говорю – не будет дороги назад.

Закононый ночной сверчок и утренний дворник – они
шуршат почти одинаково, или мотылёк в плафоне
уже погашенном – столько звуков не о тебе! – взгляни,
как уходит луна и кончаются деньги на телефоне.

Все твои сарафаны фанфарные, все невятные мне дела
твои же, всё, от чего никуда всё равно мне не деться,
пусть так и останутся, а я, как всегда, что сажа бела,
не вдохнуть, не выдохнуть, уж проще взять и раздеться

и вирипляску по опустелой комнате, где тень твоей ноги
ступала не часто, пугая меня не-присутствием или отчасти
пребыванием в ней, а я всё, как сомнамбула, руками искал *помоги*,
и помогала, как тому, кто и ждал по любви, а не только по страсти.

Через тебя, как через чёрта, прыгать, живёшь,
от субботы до понедельника на кухне нож
для тебя не наточен специально, но тебя не возьмёшь
и ножом, сколь ни сними с тебя женских кож,

вообще ничего не возьмёшь и ничего не снимешь, я ухожу
от тебя в сторону разных морей и жужжу, как нехороший жук,
или летаю майским и тоже жужжу, а рядом маленький вертолёт –
стрекоза без шасси на нежных крыльях, а я туда, где радар уже не возьмёт...

Господи, дай мне знать, где знать моя, а где полова,
и дай мне не знать, где буду закопан и где не вымолвлю слова
прощального, выдохнув в небеса последнее, похожее на объятия,
а стрекоза всё летает вне страха и вне проклятья.

Пальцами пошевели, судьба, и найдёшь
что-то вроде меня, или песком сквозь пальцы...
Что я сделал плохого, тебе мой дар ни на грош,
и я устал работать под гения, но быть скитальцем.



Будь милосердна, пусть не ко мне, я ничего не прошу,
и жестокосердие страшнее вялого безразличия, когда
котёнка машина размазала или там весёленький парашют
не раскрылся, но и это уже навсегда, а по проводам

словно ток – эта вязь словесная, эта посмертная связь,
полощутся птицы в барочных и безвременных небесах,
а ангелы сняли крылья и попадали в грязь чешась,
но самый главный стрелки держал на старинных часах.

Это была не трагедия, но репетиция драмы,
трагедия впереди, и никакие папы и мамы,
не говоря *силовые мышцы небесные*, никого
не остановят – ни меньшинство, ни большинство.

Твердь, как и прежде, тупа и тверда, и стада
всё ищут поест и воды, а небесная та страда
хихикает и в облаках прячет бицепсы, словно
у них там спа-салон и все сошли с ума поголовно.

И никто не свалился ни на меньшинство и ни
на большинство, все отдуваются, сидя в рваной тени
сомнительного камуфляжа из всякой дряни вроде
веток жухлой лозы с пауками и того, что в этой природе

ещё заваялось и съёжилось даром, а драма сидит
и крутит кукиш трагедии, мол, ну *что у тебя впереди*
дальше ведь некуда. Да есть куда – хаос и утлый тлен,
из которого уже некуда деться и не подняться с колен.

ЕКАТЕРИНА ЯНИШЕВСКАЯ

ЧЕРНИЛАМИ МЕЖДУ СТРОК

не тот тебе ангел, кто слабостям твоим служит
кто заверяет тебя в бессмертии, видя смерть
за твоим плечом
нищим быть – это не значит на паперти
гремять кружкой
беден лишь тот, чья история ни о чём

когда загорелся лес, слетелось столько чудесных птиц.
настоящий птичий базар, колыбельная, спетая наяву
я поправил очки спрятал в волосы monster beats
после навзничь упал в траву

когда загорелся лес, сбежалось столько пушистых лис
столько пухлых младенчиков барсуков, столько белок
запуталось в кудрях густой травы
но уже не хватало сил строить заново проклятый рай
копать погреб и рвы

и поэтому радость моя не ешь жёлтый снег и в седле не спи
не кусай заусенцы – беги от себя в поля
докажи теорему ферма рассчитай до конца ряд пи
расскажи нам как вертится выжженная земля

когда увядает цветочек пчеле достаётся солнечная пыльца
на любимой ноге чулочек ночью рвётся не до конца
разори гнездо ворона выкради мне прожорливого птенца
научи его имя моё как знамение прорицать

радость моя не обязательно превращаться в говно
чтобы любила чернь и не тронула таёжный зверь
светлые головы мира сходятся только в одном
доверие значит смерть. не верь никому не верь



не важно, куда ты – на свете ещё достаточно городов
 где разводят костры ненавядя свой внутренний снежный полюс
 и не то чтобы я сплоховал, но, прости, не готов
 ещё раз провожать с тихой грустью твоей в даль уходящий поезд
 и твои калачи мне с недавних приходится не к столу,
 и посылки-повестки на добрую память не к месту, не впрок, не к спеху
 я в гостиную собрал самых близких подруг: тишину и осеннюю мглу
 но при виде тебя захожусь не то кашлем, не то истерическим смехом

ты привозишь обрезки волос, фотографии гор, фотографии без меня
 фотографии окон в мороз, осиротевших спортивных площадок.
 но навряд ли ты помнишь – кто первый кричал тебе – «западня»
 когда здесь воцарился ад – непосильный и беспощадный

ты до сих пор остерегаешься взрослых, впадаешь в зимний анабиоз
 здесь нет способных тебя сломать. в какой-то степени это круто
 вот потому и не помнишь как много пережито шквальных ветров и гроз
 как боялась, малышка, как байковым пледом тебя укутывал

ладно, чего это я. дороги рассерженной памяти редко куда ведут
 говорят, в море судеб осталось не так уж и мало доверчивой мелкой рыбы
 но если бы наш Охранитель дал шанс, я бы резко сменил маршрут
 и дорог, что ведут в твои города, никогда, ни за что не выбрал бы

потому что всё можно стерпеть, если есть, для чего терпеть
 я стерпел и боязнь оступиться, и желание свести всё к полюсам
 но не горечь пустых обещаний. полужизнь, полусон, полусмерть
 но не своё же безвольное «стой» в дань уходящему поезду

Леонард, здесь опять пахнет снегом, режут тлоени
 за арктическим кругом растёт последнее поколение
 стало совсем спокойно, к горшку примерзает каша
 расскажи, расскажи мне ещё о своём бесстрашии

как надежда всегда достается тем, кто едва не умер
 как смотрели юнцами по видуку *брат* и *бумер*
 как рвались ещё в 18 усыпить этот древний голод
 им достался пожар, мы смогли подобрать лишь холода

ты красив, ты красив, ты красив, ты ведь знаешь сам-то
 ты бы мог на ходу взять любую, любую самку
 а теперь мы катаем детей по утру на санках
 даже если вставать чуть свет

Леонард, позвони там на базу, пускай нас спишут
 я хочу до скончания века смотреть как спишь и
 ну побалуй меня, ущипни, пожури – мол, ишь ты
 и нам сразу же станет как будто бы меньше лет



звать чужестранца – то же, что кликать зверя
наследие потомков не переживёт империй
ты меня любишь, а я вот тебе не верю
ревёт Ярославна – в избу запирают двери

двери завалят камнем, и сверху – щепотку пепла
не так повезло нам, людям, как повезёт бессмертным
хочешь вырасти некрасивой – назови себя Гердой, Феклой
после тленной Европы на родине всё поблекло

я, как будто бы самый презренный торгош-китаец,
по земле человеческой ползу пауком, скитаюсь
покажу тому фигу, а этому – средний палец –
ибо против себя повстанец

видел разные чуда и дива, потом приелось
рассказать это честно – признать за собою смелость
жизнь удалась, почему же, скажи на милость,
лезут мысли, что лучше бы всё приснилось

в письмах к любимым не ставятся запятые
генерал никогда не стреляется холостыми
мы уснули рабами, проснулись – а мы святые
Бог ходил к нам тайком, не услышали его имя

орешек вкусней для тех, кто не пробовал чернослива
счастья желают те, кто не был никогда счастливым
на песке танцевать легко первое время после отлива
но в первое время после отъезда особенно сиротливо

разонравится море, коль долго ходить под килем
в тихом омуте черти копытом волозят в иле
лошадь не слышала сказок о лошадиной силе
справедливости нет, мы всех здесь давно купили

сквозняки и маяки. ветер в солнечном сплетении.
я сжимаю в кулаки пыль ночного настроения.
не закончилась зима. руки в ранах от бессилия.
расписная хохлома вместо трепетной Бастилии.

и хватило б нужных слов, только церкви безъязыкие
древний подожгли остов деревянной базилики.
и хватило б сочных фраз, поцелуем перевязанных.
тени бы пустились в пляс. я б стреляла и промазала.

чтоб, поддавшись лживой радости, я б влюбилась
да забыла, что, не будь такую слабой я, вовсе не была бы сильной.



мы выживаем в касте одевшихся в яркое, выучим и слова
сокровенных молитв, известных лишь женщинам после ста
мы спрячемся в листья, когда ровно в полночь над лесом взлетит сова
научимся жить легко, не неся ничего креста

мы возрадуемся ничье, мы не станем просить реванша,
если шлепнут нас по щеке белой варежкой дни зимы
заведём себе тёплый плед, нас помянут пловцы Ла-Манша,
покорители Эвереста, заклинатели кутерьмы

пригласят нас в свой клуб путешественников с перчинкой,
не боящихся изменить прежде избранный курс на зюйд
нам на завтрак болгарские дочери сладкие палачинки
сдобрят ласковым словом и с гордостью подадут

нас гречанки напоят водою эгейского тихого моря,
успокоят песками Афона, глазами горчичными вынут душу
и пускай мы, пожалуй, уже не успеем войти в историю
нам будет что спеть под гитару, вам, стало быть, надо слушать...

коль теряешь себя, не звони по ночам знакомым,
коли кличут козлом – не спеши отрастить рога
и запомни одно: чтобы дом оставался домом
никогда не зови на порог своего врага

не ходи под стрелой, избегай витиеватых лестниц
и не ешь сахарок из тебе не знакомых рук
и запомни одно: если друг тебя кормит лестью,
то он с этого дня совершенно тебе не друг

стерегись тех, кто может тебе за бесценок продать оружие
не пей воду с лица, не точи понапрасну нож
не держи нелюбимых рядом, борись за нужных
ежедневно борись, чтобы знать, для чего живёшь

и вот уже осень врезается в истовый горизонт,
и летняя невидаль кашлем едва шебаршит в груди.
первый принцип казённых домов и опасных зон –
больше не «не убий», а «не навреди»

корабль покидает гавань – мечтается – в пакистан
узбекистан – канет в сказку, где не купола – мечеть.
провожая, всегда понимаешь, что третьего мира стран
первый принцип – хотя бы досрочно не умереть



целовать чернозём на чужбинах,
или гиблые земли грызть –
это личное дело тех, у кого ещё впереди
целое лето бабье, короткое, как вся жизнь
первый принцип соблазна, возможно,
«не укради»

я поняла, что такое жизнь. это долгий, протяжный взгляд.
взгляд в себя, опустевшего, неглубокого, неживого
выяснение, кто кому должен, кто кому братский брат,
реже – в небе, закопченном смогом, полоска безумного голубого

жизнь – это лишь расстояния от пункта *a* к пункту *b*,
где ты меня уже ждёшь, с пирогами и земляничкой
и всё самое выдающееся и любимое мной в тебе –
по моим чертежам прорисовано лёгким бликом

жизнь – это лодка, которую надо раскачивать,
иначе не поплывёт
упорно работать веслом, пока не снесёт течением
жить – значит выйти лихим фигуристом на сильно
подтаявший лёд
и скользнуть по нему вплоть до точки
финального назначения

в принципе некуда, незачем отступать
чайник кем-то поставлен и знай себе сам шипит
кроме окон, найдёшь в этой комнате
только расстеленную кровать
хочешь – выпей немного, а хочешь – ложись и спи

но к утру ты поймёшь, что подъедены натрием провода
телефон никогда-никогда больше не зазвонит
нет ни дома, ни комнаты – сплошь леденеющая вода
моряки тебе машут платками с большой земли

ночью всё разломалось на мелкие части:
кровать тебе как корма
и берет набекрень, и вестей не дождётся твой Бог,
ведь на мокрой бумаге нельзя написать письма:
правда больно стекает чернилами между строк

ВЕРОНИКА КОВАЛЬ

ИДИОТ

рассказ

...Между тем, автобус вползал на мост. Саныч оборвал свои горькие думы, поскольку до него дошло: скоро поворот, деревня Столбняки, и замаячат на окраине города унылые склады торговых фирм. Мост почему-то соорудили горбатым. Каждый раз, возвращаясь из командировок, Саныч здесь вспоминал Маринку. Лет десять назад она обожала делать мостики, её ручки-спички дрожали, личико страдальчески морщилось. Ему было тогда жаль дочурку.

Кто бы знал, как не хотелось Санычу возвращаться! Снова врать жене? Он ненавидел враньё, но не признаваться же, что в каждую командировку в Заварино он ночевал у завфилиалом Томки. Года три назад она с открытой душой и скатертью-самобранкой впервые встретила его, обратилась почтительно «Александр Александрович», чуть-чуть картавя, что показалось ему очень даже милым, а вечером затащила к себе домой и без всяких прелюдий развалила плюшевую софу. Связь эта тяготила его, софу он называл сексуальным капканом, но вырваться из него не хватало сил.

«Впрочем, – рассуждал Саныч по дороге домой, – жена сама виновата». Впрягла его, как владимирского тяжеловоза, в телегу бытовухи. А он душой рвался ввысь, в эстетику, хоть по профессии был землеустроителем. Учился когда-то в художественной школе, написал акварелью два пейзажа, а натюр-морт с шивом и таранькой и сейчас висит в лоджии. Особенно ненавидел Саныч субботнюю базарную каторгу. Для Валерии это было свято, как обет супружеской верности. Она зигзагами металась между прилавками, изучая конъюнктуру, а Саныч с условленной точки должен был следить за перемещением жены, ориентируясь по неизменной белой юбке – так следит оленёнок за мамашей по её белому пятну под хвостом. Когда Валерия вступала в единоборство с продавцом, выторговывая копейки, он должен был очутиться рядом, завершить финансовую сделку и бережно уложить продукты в плетёную корзину – картошку и овощи вниз, фрукты и яйца – вверх. Несоблюдение правил грозило выговором в виде отказа купить шампанское. Да, такая странная слабинка была у Смирнова. Водку – ни-ни, а стакан шампани – и бодрость духа на весь день.

«Короче, – с тоской думал Саныч, – обрыдло всё: “Варелия”, как он при ссорах обзывал жену, что её злило, выписка кадастровых документов с девяти до тягуче далёких шести (согревали только “левые” бабки за пустяшные услуги), берег турецкий, куда Саныча тащили каждый отпуск, как на закланье, из-за слабого на лёгкие Вадика, а скорее всего, по прихоти жены, кумовья из села с неизменной утятинной, которую Саныч терпеть не мог. Обрыдли сериалы, футбол по телевизору, скулёж Маринки “у Таньки-то пиджак из бутика”. Обрыдли интернетовские сплетни, вертлявая собачонка, которую дети из-за её карликовости называли Мультишей, Тяшей...»

Автобус вдруг натужно взвыл и замер в верхней точке моста, как жук на травинке. Бабы в салоне терпеливо ждали, только чей-то гусь бился в истерике «га-га-га!». Саныч пробрался через баррикаду большегрузных сумок, заглянул в кабину и обалдел. Мотор заглох, а водитель, завалившись на бок, спал. Улыбался во сне и даже всхрапывал. Саныч обложил водилу матом, пытался растормошить. Тот и ухом не повёл. Бабы, почуяв неладное, высыпали на мост, стали толкать мужика куда ни попадя, обливать. Всё напрасно. Саныч оказался посреди визга и криков: «в собес за справкой», «внучку из школы», «га-га-га-га», «работает до трёх», «молоко не продам», «билет в Чернигов», «га-га-га», «последний автобус», «га-га-га»...

– Заткнитесь, дуры! – переорал он толпу и вдруг сообразил, что как единственный мужчина должен что-то предпринять. Но что? Сам он автомобиль не водит. Как назло, на дороге ни одной машины. И гаишники обычно мельтешат, а сейчас никого. Саныч схватил мобильник («кум Вова всё устроит»), но



тот, по закону подлости, разрядился. Бабы тоже стали тыкать кнопки в своих мобилниках. Но и у них зарядка кончилась. У всех! Да что за напасть?

С моста, как с капитанского мостика, Смирнов осмотрел окрестности. Снял очки в золотой оправе (тоже маленькая слабость, ему казалось, дорогие очки поднимают его статус). Дальnozоркость в кои-то веки пригодилась. Слева, понятно, километров через двадцать – город. А справа? Вдали, по течению реки, как будто ребёнок рассыпал кубики. Похоже, село. Так, пойти туда, зарядить телефон, сделать обзвон, да наверняка у кого-то из мужиков есть машина.

Саньч начал спускаться с моста к невеликому леску. Бабы хватили его: «не бросай, милок!», сколько он ни кричал, что идёт за подмогой. Он скинул с себя самую настырную, нацепил очки, заправил клетчатую рубашу в брюки и был таков. Подсознательно он отметил, что от города до моста вода в реке клубилась, как грязная пена, а вытекала из-под моста ровным атласным полотном, но значения этому обстоятельству не придал. И напрасно.

Светлый лес звенел голосами неведомых птах, манил россыпью черники, и идти по тропке было так приятно! Ноги несли сами, будто в пузике надули воздушный шарик, и Саньч вроде даже парил, прыгая через узловатые корневища. «Широкошумные дубровы» – это у кого? У Пушкина? Вот бы поселиться одному, чтобы ни одна собака не нашла, в глубине дубровы, в рубленой избушке, спать на сеновале, по утрам пить парное молоко, просто бродить по мягкой рыжей хвое или собирать грибы. Он представил, как аккуратно срезает красавец-боровик, и мягкое тело гриба скрипит. А зимой...

До зимы Смирнов не додумал, потому что в просвете деревьев увидел... Чур меня! Он пытался стряхнуть наваждение, но нет, нет, оно не исчезло. Море! Как разлитое олово, с гребешками волн и солнечными просверками. До горизонта! Откуда? Моря в их краях отродясь не бывало.

Саньч впервые в жизни перекрестился. Но Господь не избавил от лукавого. Больше того, он разглядел на рейде странные баркасы с округлыми бортами с обвисшими парусами. Да что ж такое? Он перевёл взгляд. На берегу увидел белёные каменные строения под красной черепицей. Чуть дальше – выросшую в землю круглую башню с арочным входом и узким окном. На окраине махала длинными крыльями дощатая мельница. А неподалёку от него молодая женщина в отороченной рыжим мехом кацавейке, сидя на траве, кормила грудью ребёнка, второй ползал и ел землю. Проковылял старик на деревянной ноге, в длинном кафтане и широкополой шляпе.

Саньча парализовало. Но мозг работал. Может, он запутался во всемирной паутине? Нет, всё вокруг не виртуальное, живое. Мелькнула мысль, что это съёмки фильма. Однако не было стрекочущих камер, не галдела массовка. Напротив, стояла тишина – вязкая, насадная. Потом Саньч вспомнил, что где-то видел эту местность. Где? Да, на картине – как его? Ян ван... Ван дер... Ох, у всех голландцев семнадцатого века одно и то же: море, домишки, мельницы, коровы, зимой мальчишки на коньках... Только на том пейзаже берег был равнинный, а здесь вдали вздымались уступы скал.

Страшно стало Смирнову, бросился он назад, в чащу. Однако тропинка исчезла. Он кидался от дерева к дереву, но получалось, что он играет сам с собой в прятки. Кто-то схватил его за ногу. Он чертыхнулся и перелетел через скрученный корень. Драгоценные очки – вдребезги! Всё ближе заволокло дымкой. Опять полез в голову Пушкин: *«фасудок мой изнемогает»*. Нет, надо брать себя в руки. Должно же быть рациональное объяснение!

Саньч взял за ориентир дом с пристройкой посреди селения и бодро затопал туда.

Мужики, видно, долго и хорошо сидели. В дымной прокуренной комнате Саньч еле их разглядел на лавках за грубо сколоченным столом. Кряжистые, задубелые, бородатые, в чёрных куртках, штанах до колен, белых чулках и башмаках с пряжками. Они тянули из глиняных кружек, судя по кисловатому запаху, пиво. Кто-то пыхтел трубкой с длинным белым мундштуком, кто-то гнусаво выводил песню, двое, сцепившись руками, занимались арм-реслингом. Один вообще валялся в отключке возле бочки с пивом.

Саньча гуляки заметили только у стола. Уставились на него пустыми глазами, стали переговариваться, потом враз дико захохотали. В этой тарабарщине он слышал отдельные слова, похожие на английские, и очень обрадовался – «спик ингши?». Нет, не понимают.

Один из мужиков, видно, самый смекалистый или трезвый, или главный, подошёл к пришлому и стал разглядывать его в упор. Да, неказисто тот выглядел в сравнении с аборигенами – белокожий, сутулый, с худыми руками. Смекалистый, хохоча, дёрнул за длинную прядь, которой он маскировал лысину, хлопнул по плечу, так что тот присел, вытолкнул из гортани: «Абрахам». Саньч понял, что тот

представился, выпрямился, расправил плечи, чтобы обрести достойный вид, достал мобильник и тоже представился: «Александр Александрович Смирнов, инспектор. Где тут телефон зарядить?». Ответом был новый взрыв хохота. Абрахам вырвал мобильник, поразглядывал, бросил в бочку с пивом и, отирая слёзы смеха, выразительно покрутил пальцем у виска: «Idiot!». Саныч опять обрадовался знакомому слову. Было понятно, что сказано это не презрительно, а – как бы выразиться? – снисходительно-дружелюбно. «Идиот» – у них, видно, что-то вроде блаженного, несчастненького. Похоже, можно рассчитывать на толерантное отношение.

Абрахам раздвинул вышивох, усадил его за стол. Откуда ни возьмись, явилась пенная кружка, сушёная рыбка с налётом соли. Саныч пытался сказать, что он не по пиву, ему бы хлеба, но его заглушили криками. Началась разборка между парнями, их кинулись разнимать, кто-то в сутолоке заехал гостю по физиономии. Тогда новый друг обхватил его за плечи, повёл к пристройке и втолкнул туда. Саныч мотал головой – «спик инглиш», но тот скривился и пошёл прочь, по-медвежьки косолапя.

В пристройке было на удивление уютно. Тканые половики, расстеленная на широкой лавке чистая постель... Сливочного цвета стены пахли свежим деревом. Над столом висел натюрморт с черепом. «Ванитас», – вспомнил Саныч название этого жанра, любимого художниками в XVII веке. Череп символизировал, как помнилось, тщетность человеческой суеты и роковую неизбежность. Висели ещё картинки, но Саныч так намаялся, что, хоть в животе бурчало с голодухи, сразу рухнул на постель и провалился в сон.

Пробудился он, когда солнце уже разгулялось в бездонном небе, в удивительно приятном расположении духа. Постепенно всплывало вчерашнее, но в забавном контексте – как приключение, которое, конечно, завершится благополучно. Больше того, Санычу захотелось побыть в этом странном мире с неделку. Он даже со злорадством представил, как «Варелия» заходитя в рыданиях – такого мужа потеряла!

Дверь со скрипом отворилась. Неприметная женщина в буром платье, крест-накрест перехваченном белым платком с кистями, опустив глаза, молча поставила фаянсовое блюдо с куском холодного мяса, кувшином молока и хлебом. У Саныча слюнки потекли. Женщина направилась к двери, но вдруг обернулась, бросила на него лукавый взгляд и – была такова. Он даже приосанился – значит, как мужчина ещё копируется!

После того, как Смирнов, урча от наслаждения, обглодал кость, вломился хмурый, весь в курчавой бороде мужик, пробормотал «Якоб», бросил Санычу робу и башмаки, потом повёл на берег. Порывистый норд-ост трепал паруса баркаса, на котором их ждал Абрахам сотоварищи. На палубе лежали свёрнутые сети. Предстоял, очевидно, большой трудовой день. «Werk!», – крикнул Абрахам. «Ещё чего, – подумал Саныч, – чтобы я вкалывал? Гостей веркать не заставляют». Как только баркас закачало на волнах, он принялся часто дышать и делать вид, что его вот-вот вывернет наизнанку. Команда смотрела на прибулдного мужичонку не то с сочувствием, не то с осуждением. Абрахам покачал головой, жалостно вымоловил «idiot» и отвёл в каюту. Саныч болтался там в своё удовольствие до возвращения на берег.

За несколько дней Смирнова испытали как грузчика на мельнице, как вязальщика сетей, ставили на разделку «harring» – сельди, но он всячески демонстрировал, что его статусу физические нагрузки противопоказаны. Тогда его отрядили пасти стадо из девяти овец. Наверняка хоть чем-то решили занять idiota. Прямо скажем, werk была – не бей лежачего. Саныч действительно лежал под корявым дубом, только время от времени пересчитывал подопечных. К тому же, ему придали собаку неизвестной породы, белую с ржавыми пятнами, та не давала глупым овцам ни шагу шагнуть в лес. «Сбылась мечта идиота», – подумал Саныч и рассмеялся своей остроте.

Ничего неделанье, вид на море, щебетанье птиц располагали землеустроителя к философствованию. Но временами смутно бродил в мозгу вопрос: что же произошло? Он пытался нанизать события того дня на какую-то логическую нить, но она то и дело обрывалась. Летаргический сон водилы, враз севшие мобильники, отсутствие машин на людной трассе. И необъяснимое изменение реки. Похоже, под мостом произошёл какой-то тектонический сдвиг. Эта версия его устраивала. В оправдание себе он говорил, что лес не выпускает, что поделать? Но ему особо и не хотелось. Здесь хорошо. Прекрасно!

Саныч не знал, что может быть ещё лучше.

В одно нежнейшее голубое утро в его пристройке возникла процессия во главе с чёрным, как головешка, пастором. Слева от него переминался с ноги на ногу хмурый Якоб с блондинкой в белом платье. Пастор подвёл её к растерявшемуся Смирнову, надел обоим на пальцы оловянные кольца, связал их руки белой ленточкой, перекрестил и долго-долго упражнялся в красноречии, почему-то грозя брачующимся пальцем. Время от времени Саныч разбирал: «Idiot», «Anna». Как только пастор умолк, включила рыда-



ния мать невесты. А она сама взирала на суженого романтически зашоренным взглядом. Он же подумал: почему бы и нет? Двоежёнцем он тут не прославится!

Славную жену послал Господь Смирнову. Куда до неё командирше Валерии! Анна не то что исполняла – угадывала его желания. Как она ухитрилась подавать еду с пылу с жару? Как будто у неё микроволновка в кустах! А еда была сказочная для настоящего мужчины: мясо – копчёное, варёное, жареное, тушёное, запеченное, рыба – свежая, солёная, вяленая, копченая, фаршированная... А бодрящий кофе в постель! А уж про желания мужские и говорить не приходится. На церемонии Саньч невесту не разглядел, поскольку вблизи вообще ничего не видел, а ночью, наощупь... К тому же, тесть вскоре отдал ему свою кое-как отшлифованную линзу. Да, вознаградила его судьба за муки прежней жизни!

Анна понемногу учила Сани, как она его называла, своему языку. Кое-что было похоже на английский и даже на русский. «zee» – море, «бир» – пиво, «brood» – хлеб, «tështa» – тёща, «ship» – корабль, «water» – вода. Но другие слова он никак не мог произнести и запомнить.

В таком раю душа рвалась творить! Саньч знаками объяснил жене, что ему нужно. Она радостно замахала руками, убежала, вернулась с листами прекрасной рисовой бумаги и углем. Он усадил Анну в кофту с оборками возле окна, чтобы на неё лился мягкий свет, распустил её русые волосы и дал мельничку для кофе. Рисунок получился – хоть на выставку.

Анна гордилась своим удивительным, необыкновенным «echtgenoot» и каждый вечер вытаскивала его на прогулку вдоль каменистого берега – местный бродвей. Просила обязательно надеть клетчатую рубашку. На неё дивились все: ткань в клетку они ещё не придумали.

Смирнов потерял счёт дням. Он буквально купался в блаженстве.

Но однажды казус вышел.

Во сне пришла к нему собачка Тяпа. Тонкие, как веточки, лапки дрожат. Переднюю она согнула и вроде дать ему хочет, как её Вадик приучил. Саньч заставил себя проснуться, забыть сон. Далась ему эта собаченция!

Но что-то в нём надломилось.

Через несколько ночей Тяпа привела Вадика. Точнее, они бегали по завалам сухих кленовых листьев, такие радостные, что Саньч был раздосадован: отец пропал, а сын веселится. От досады и проснулся.

Потом уже не во сне, а посреди философских раздумий всплыла вдруг улыбка жены. На эту дразнящую улыбку и ямочку на подбородке он и клюнул в юности. В принципе, подумал он, Валерия не такая уж плохая. А что его впрягла – так она сама ещё тяжелей воз тянет. А Маринка, поди, уже замуж намылилась.

И началось! Всё мужику стало немило. От паршивых овец тянуло пылью. Фрау в одинаковых чепцах, как в капустных листьях, совсем достали манерным обхождением. Соседские близнецы Корнелиус и Хендрик заехали ему в лоб тряпичным мячом – это можно вытерпеть? И вообще – на фиг экологически чистую еду! До смерти захотелось экологически грязной – какой-нибудь уличной шаурмы.

Досаду он вымещал на ни в чём не повинной Анне. Однажды за обедом крикнул: «Осточертел твой окорок!», – и швырнул его в жену. Та взвизгнула, мышью юркнула за дверь. Саньчу стало стыдно. Он заготовил извинения, но вместо неё вкатилась, как на колёсах, tështa. Она молча нанесла зятю увесистым кулаком klar в солнечное сплетение и так же молча выкатилась.

И Смирнов заплакал. Не от боли. Не от обиды. А от того, каким идиотом в самом русском смысле этого слова он оказался. Конечно, семья – ещё тот груз, жена вечно бурчит, дети в противном переходном возрасте, денег всегда мало, но оно же своё, кровное, к сердцу прикипевшее. Ну кто, скажите, поведёт к венцу Маринку, безотцовщину?

Плакал Саньч долго, не вытирая слёз, раскачиваясь, по-бабьи завывая. А сердце колотилось мелко-мелко.

Анна вернулась за полночь. Его слёзы она приняла за раскаяние, что-то нежно шептала на ухо. Он пытался её приглубить, но: в голове стучало: бежать!

Говорят, стучи и откроется. Саньч додумался: привести его обратно в мир может река. Где-то она впадает в это проклятое zee!

Назавтра он бросил овец и, таясь, пошёл вдоль берега искать место впадения. Обнаружил и так обрадовался! Оказалось – довольно далеко, но это Саньча не смутило. Он придумал план побега. Отличная лодка – у его соседа Адама. Её надо конфисковать во имя благородной цели – свободы личности. Никто здесь лодки не приковывал к причалу, так что проблем не будет. Только бы руки выдержали, плыть-то



придётся долго – сначала по заливу, потом по реке против течения. Да, воды взять. Больше ничего.

Туманным утром, под крики оголтелых петухов Саныч околотками пробрался к приглянувшейся лодке. Отвязал её, толкнул и перевалился через борт. Нос лодки мягко разрезал спокойную гладь. Грести было нетрудно, даже приятно.

Беглец уже глотнул глоток свободы, как вдруг вздыбившаяся волна накрыла его, накатила ещё раз и утащила лодку в открытое море.

Когда Саныч всецело осознал своё положение, на него снизошла простая, как лопот хлеба, истина – цены, что имеешь. Не сумел – плати по счетам. Тогда он лёг на дно и уставился в безучастно спокойное небо. Плыли облака, как стада ленивых овец. Он принялся считать их. Досчитал до семнадцати и сбился.

ЛЮДМИЛА ШАРГА

КОРОЛЕВСТВО ВЫСОКОЙ ТРАВЫ

ОДУВАНЧИКОВЫЕ СНЫ

Сплевив пальцы рук на коленях так, что костяшки побелели, и маленькое пятнышко на указательном пальце стало незаметным, Лянка слушала сказку и косилась на длинноногую задаваку – минутную стрелку.

Стрелка качнулась вправо, поравнялась с римской цифрой «двенадцать», и тотчас же бабушка заложила страницу ленточкой-закладкой, и закрыла книгу.

– Спать пора, Лянка.

– Откуда вы знаете, что пора, вы же даже на часы не посмотрели?

– Вы же – да же... Жужжишь, как жук майский. У меня свои часы, внутренние.

– Как это, внутренние? А где же они у вас находятся... а слышно, как они тикают? Можно послушать?

– Они не тикают. И их нельзя увидеть, можно только почувствовать.

Лянка во все глаза смотрела на бабушку. Шутка ли – внутренние часы, да ещё и невидимые.

– А у меня такие часы есть?

– Они у всех есть. Но не все умеют их чувствовать. Научу, если хочешь. Но не сейчас.

– Бабушка, я забыла, как называется эта закладка-ленточка, *гласе*?

– Ляссе. *Гласе* – это кофе. Эссе – это сочинение. Плиссе – юбка. А ленточка-закладка – это ляссе.

Запомнила?

– Бабушка, а правда, что это маленького папы кроватка?

– Правда. И подушечка его. И одеяльце.

– Счастливый какой был папа, когда был маленьким. – Лянка погладила блестящие шарики на спинке кроватки. – Мне нужно вас ещё кое о чём спросить.

– Спрашивай, коли нужно.

Бабушка сняла очки, и перед тем как уложить их в бархатную уютность красного сафьянового очешника, стала протирать мягкой салфеткой. Лянка с замиранием сердца наблюдала за этим нехитрым ежевечерним ритуалом, который казался ей волшебным. Она хотела, чтобы у неё тоже были очки в тонкой золотой оправе, и такой же красный очешник, и салфеточка для протирания стёкол.

Бабушка внимательно посмотрела на притихшую Лянку.

– Что ж ты молчишь?

– А откуда у вас такое красивое имя: Фе-о-на?

– Маменька по святам выбрала, а батюшка нарёк при крещении.

– Понятно, – вздохнула Лянка. – Где бы мне батюшку с маменькой раздобыть?

– Раньше так называли родителей: маменька, папенька. А батюшка – это священник. И имя у тебя хорошее, не выдумывай.

– Правда? А я вот думала, придут к нам завтра гости, спросят: как тебя, девочка, зовут? А я им отвечу – Лянка. А они станут смеяться. А священник – это тот, кто в церкви?

– Почему же это они станут смеяться? – улыбнулась бабушка. – Они люди серьёзные. – А священник в храме служит. Помнишь, мы с тобой в прошлое воскресенье в храм ходили?

– Помню. Там красиво. А кому священник служит, он разве солдат?

– Службы разные служит. Лянка, у меня от твоих вопросов голова крутом, спи! – Бабушка открыла шкафчик с лекарствами и достала свои «сердечные» капли. По комнате поплыл запах валерианы и мяты.



– А душевные капли бывают? И что за имя у меня такое... Как в сказке – Ильяна-Косынзяна.

– Ты – Ульяна, Ульяночка. А Лянкой тебя папа стал называть. А потом уж и все остальные. А хоть бы и Ильяна-Косынзяна, что тут такого?

– И выйду я замуж за Кэлина-дурня.

– Зачем же непременно за Кэлина-дурня. В той сказке ещё и Фэт-Фрумос есть.

Лянка босиком, на цыпочках перебежала к бабушке – на кресло.

– Мне Иван-царевич больше нравится. Можно я завтра побуду Феоной? Ну хоть немножечко? *Покабутьке*. Гости придут и спросят: «А что это за девочка такая хорошенькая?». А вы им ответите: «Это Феоночка! Наша любимая внученька». И они все удивятся, все до одного.

– Нет. Этого никак нельзя. Во-первых – это враньё, а я вранья на дух не переношу. Как и врунишек. Я столько их перевидала на своём веку – шутка ли – больше сорока лет в школе. А там этих мелких врунишек пруд пруди. Во-вторых – у каждого человека есть своё имя, и стесняться его не надо. Не имя человека красит. А в-третьих... В-третьих – пора спать.

Лянка сделала вид, что не расслышала последних слов, и принялась разглядывать фотографию в белой овальной рамочке на стене так, будто видела её впервые.

– А это кто, ваш жених?

– Что ты, Ульяночка, это артист Александр Вертинский. Я в молодости бывала на его выступлениях, да и сейчас часто слушаю пластинки с его песнями.

– Это он поёт про Сероглазочку и розовое море, и картавит? Здесь он, как Пьеро из сказки про Буратино.

– Это и есть Пьеро, – пояснила бабушка. – Пьероша. Это его сценический образ. И вовсе он не картавит, а грассирует.

– Мне тоже нужен сценический образ. Вот только грассировать я не умею – мама отучила.

– Спать, Ульяша. Завтра договорим. Вон к тебе сон в правый глаз просится.

– Какой сон, бабушка? – Лянка заглянула в зеркало на комод, но никакого сна не увидела. – Где же он... Ничего не вижу. Скажите мне, что это за сон, пожалуйста! Он добрый? Цветной?

– Вот ложись спать скорее – всё и увидишь. А не то сон к другой девочке улетит.

– К Милочке Шадриной?

– К ней, – кивнула бабушка, пряча улыбку, – здесь же недалеко – за стенкой. Да и чем плоха Милочка? Глаза зелёные, коса длинная...

– А у меня глаза какие?

– Серые. Спать, Сероглазочка.

И Лянка поплелась в кровать, где по подушке-думке разлетался пух вышитых одуванчиков. Засыпая, она считала эти зонтики-пушинки, и всегда их оказывалось то десять, то одиннадцать. А сегодня ей удалось насчитать целых двенадцать!

Лянка представляла себе долгожданный завтрашний день – бабушкины именины. На именины всегда собирались гости. Хрустящая белая скатерть ещё вчера была выглажена, вилки, ложки, ложечки и ножи – начищены до блеска, на кухне в большой зелёной кастрюле шумно вздыхало тесто для яблочного пирога. А на стуле рядом с кроватью Лянки висело новое платье с воланами, синее – в белый горошек.

Бабушкино праздничное платье висело рядышком, на комод лежал белый кружевной воротник – с ним любое её платье становилось нарядным.

«Жаль всё-таки, что нельзя побыть Феоной, хоть немножко...».

Лянка ещё раз сосчитала одуванчиковые пушинки – все ли на месте. На этот раз их оказалось одиннадцать. «Надо бы ещё раз пересчитать...», – подумалось ей, но сон уже коснулся кончиков пушистых ресниц, они стали тяжёлыми...

...Лянка спала, и видела во сне себя – пушинкой, одной из тех, что летели с одуванчикового луга, где жёлтые солнышки одуванчиков превращались в серебристые шары. Их обдувал тёплый ветерок, от шаров отрывались пушинки-зонтики, и у каждой было своё имя.

«Интересно, куда это они все летят? Эй, слышите меня? Куда вы все летите? Хочу с вами... Возьмите меня с собой! И я уже лечу? Лечу...».

Неожиданно сильный порыв ветра подхватил пушинки, и они разлетелись в разные стороны, а пушинка по имени Лянка поднималась всё выше и выше, прямо к солнцу, которое казалось ей огромным цветком одуванчика.

КОРОЛЕВСТВО ВЫСОКОЙ ТРАВЫ

Автомобиль свернул с широкой асфальтовой дороги на узкую и пыльную – грунтовую, проехал метров сто и остановился у развилки. За деревянным забором, выкрашенным в синий цвет, виднелся небольшой бревенчатый дом.

– Приехали?

Лянка выпрыгнула из машины, подбежала к калитке и заглянула в щель между штaketинами.

Прямо от калитки – в траве – протоптана тропинка к дому. Даже и не протоптана, даже и не тропинка, просто трава примята – и всё. Дом смотрел на Лянку окнами в белых кружевных наличниках. Около невысокого крылечка пенился цветом куст белого шиповника.

– Какая красота! – восхитилась мама. – Будто маленькое королевство.

Папа открыл калитку, и Лянка сделала первый шаг. Трава оказалась такой высокой, что кончики травинок, тонкие и лёгкие, щекотали подбородок, и от этого щекотанья было тепло и приятно.

– Откуда здесь столько травы... А как называется это королевство? И есть ли здесь король с королевой?

Лянка не решалась идти дальше – кто знает, что там, в высокой траве.

– Эту траву скоро скосят, потом высушат – будет сено для школьной лошади на зиму, – объяснил папа. – А как бы ты назвала это королевство, если бы оно было твоим?

Лянка посмотрела вокруг и увидела колышущееся травяное море, стайку белых бабочек над полуоткрытым цветком колокольчика, трёх огромных стрекоз... и надо всем этим высокое синее небо в полупрозрачных кудряшках-облаках. Закрыв глаза, она сделала ещё один шаг, за ним ещё и ещё.

– Королевство Высокой Травы.

– Ваше величество, – мама склонилась в изящном реверансе.

– Мамочка, да разве я величество?

– А разве нет? – папа подхватил Лянку на руки. – Фрейлина Полина, ответьте сию секунду: девочка Лянка королевской крови?

– Наичистойшей. А мы – её подданные. – Мама разувшись, пошла по траве босиком, и Лянке немедленно захотелось снять сандалии и отправиться вслед за мамой.

– Что ж, королевщина Лянка, всё у вас есть: и королевство, и подданные. Пожалуйста смотреть палаты.

Папа поставил Лянку на крылечко и достал ключ.

– Всё-то ты папочка перепутала! Палаты бывают царскими, а королевскими бывают... замки. И нельзя так говорить: королевщина Лянка. Королева Ульяна – вот как правильно.

– Ах, извините, ваше королевское умнейшество, я больше не буду.

Он открыл дверь, и Лянка с мамой, пройдя через просторную веранду, очутились в доме.

– Смотри, сколько света... смотри, только в этой комнате пять окон, – мама распахнула одно, самое ближнее, и в дом хлынули запахи нагретой солнцем травы, отцветающего шиповника, поспевающих яблок и спелых вишен – запахи июльского полдня.

Солнечные «зайцы» дрожали на полу, на стенах, вперемешку с ажурными тенями листвы, и прыгали при каждом дуновении ветерка.

Лянка сняла, наконец, надоевшие сандалии, и пошла по светлым «восковым» половицам на цыпочках, стараясь не наступать на дрожащие солнечные пятнышки.

Она заглянула на кухню, на веранду, в симпатичный маленький чуланчик, где обнаружила лаз на чердак. От этого чуланчик показался ей ещё привлекательнее, но не найдя лестницы, Лянка вернулась в самую дальнюю, угловую комнату, одно окно которой выходило в яблоневый сад, а другое – в вишнёвый. Стены здесь были оклеены одуванчиковыми обоями.

«Совсем как во сне...».

– Можно я здесь буду жить?

– Два окна..., – растерялась мама. – Не замёрзнешь зимой? Я думала, что ты выберешь комнатку рядом с кухней. Она тёплая, туда выходит бочок печки, – и достаточно светлая.

Но Лянка слышать ничего не хотела о другой комнате.

– Ладно, будь по-твоему, – согласился папа. – Через неделю переезжаем. А сейчас – пора. У нас ещё столько дел сегодня, да и шофёр ждёт.

– Папочка, а можно я останусь здесь? Мне не нужна кровать, я и на полу могу спать, вон там – в уголке.

Мама с папой рассмеялись, а Лянке было не до смеха. Как же так? Не успела стать королевщиной, и как следует осмотреть свои владения, как уже пора из этих владений уезжать.

Неделя тянулась долго. Лянка и спать раньше ложилась, и листки на календаре обрывала заранее, и даже короткую стрелку на часах разок перевела. Потом, правда, был очень неприятный разговор с папой и бабушкой.

Каждый раз, засыпая, Лянка надеялась, что вот сейчас она закроет глаза и окажется среди высокой травы. Она пойдёт, ничего и никого не боясь, босиком, и там, где она пройдёт, трава останется чуть примятой, а значит, дорогу домой будет найти легко, и бояться нечего.

Если уходишь из дому, главное – не забыть дорогу обратно.

Кончики травинок будут касаться подбородка, вокруг будут стрекотать и прыгать кузнечики, а белая бабочка – самая красивая из стайки, вьющейся над цветком колокольчика, сядет на ладошку. Прилетят стрекозы, начнут рассматривать новый ромашковый сарафан, и улетят, чтобы рассказать о нём феям. Ведь если есть стрекозы в саду, наверняка и феи живут где-то поблизости. Бабушка так говорит, а уж она-то точно знает.

Лянка закрывала глаза, засыпала, но наутро ничего не могла вспомнить.

Наконец, наступила суббота. Папа принёс две большие плетёные корзины и картонную коробку.

– Сюда складываешь книжки, а сюда – игрушки.

Лянка быстро сложила всё, как велел папа, и даже успела помочь бабушке – она складывала вещи в такие же плетёные корзины. Через несколько часов две маленькие комнаты стали гулкими и чужими, и в них сразу поселилось эхо.

Из мебели оставалась только огромный книжный шкаф. Глядя на его пустые полки, Лянка вспомнила о зелёном кусочке пола. Деревянные полы в комнатах были выкрашены светло-коричневой краской, кроме одного кусочка, который прятался под шкафом.

– Там прячется зелёный кусочек пола, – шепнула Лянка маме.

– Не выдумывай. Откуда бы ему там взяться?

– Он там был, когда мы приехали.

– Ты была совсем маленькой, Лянка, ты не можешь этого помнить.

– А я помню. Вот сейчас отодвинут шкаф – и он покажется.

Шкаф, наконец, отодвинули, и оказался пыльный зелёный кусочек.

– Невероятно! – мама даже потрогала это место. – Как же ты могла запомнить, ведь тебе ещё и года не было?

– Я запомнила. И яблоньку под окном. Три больших зелёных яблока с красно-полосатыми бочками.

– Штрифель... – улыбнулась мама. – Той осенью они как будто для нас выросли. И как только ты ухитрилась всё запомнить? Слышишь, Павел?

Но папа уже сидел в кабине грузовика и маму не слышал.

Перед тем как забраться к нему, Лянка обернулась и махнула рукой старому школьному бараку, в котором их семья прожила целых шесть лет: «Я тебя не забуду...».

Грузовик покатила по широкой асфальтированной дороге, потом – по узкой грунтовой, с облачками пыли; наконец, показалась развилка, и уже хорошо знакомый синий забор и калитка, за которой началось Королевство Высокой Травы.

Поздно вечером Лянка, мама, папа и бабушка сидели на крылечке, смотрели на звёздное небо и молчали. То ли потому, что устали за целый день, то ли потому, что говорить ни о чём не хотелось. Достаточно было просто молчать, смотреть на небо и слушать. Где-то далеко кричала беспокойная ночная птица, стрекотали неутомонные кузнечики, кто-то шуршал и фыркал в высокой траве совсем рядом с крыльцом, и от всех этих звуков у Лянки сладко замирало сердце. Не то от восторга, не то от страха она крепко зажмурилась, взяла папу за руку и...

Открыв глаза, Лянка увидела, что одно солнечное пятнышко дремлет на полушке, а два других – спят на стене, как раз в том месте, где на обоях с одуванчикового луга летели пушинки-зонтики. Быстро одевшись, она тихонько выскользнула из дому, и пошла по примятой траве в сад. Шаг в сторону и... трава сомкнулась над её головой, и казалось, что если что-то и есть впереди, то только это зелёное бескрайнее море.

Лянка шла и шла, а трава всё не кончалась и не кончалась. Ни бабочек, ни стрекоз не было видно, только какое-то жужжание слышалось неподалёку да стрекотали неутомонные кузнечики. Ей стало страшновато, и она уже подумывала вернуться и разбудить папу или маму, но оглянувшись, увидела, что папа идёт следом. Лянка повеселела, махнула ему рукой, и остановилась – надо же было ещё и на завтра что-то оставить, и на послезавтра. А сейчас самое время отправиться на чердак. Оттуда, наверное, далеко видно.

– Лянка, давай завтракать!



Круглый стол на веранде был накрыт любимой синей скатертью, на ней красовались румяные оладьи, испечённые бабушкой, сметана, молоко в прозрачном кувшине, мёд, над которым вились две золотистые маленькие пчёлки.

Что-то воздушное поселилось этим утром в сердце Лянки, что-то такое, от чего она почувствовала себя легче одуванчиковых пушинок, только на этот раз не во сне, а наяву. Радость переполняла её, словно тысячи маленьких пузырьков воздуха в стакане с газированной сладкой водой.

– Как бульбашки в стакане с газировкой, – рассмеялась Лянка. – У меня внутри столько радости, что она, как бульбашки, поднимается кверху.

После завтрака они с папой отправились на чердак. Лянка боялась дышать – так здесь было таинственно и тихо, и танцующие пылинки в тонких дымящихся лучах света, пробивавшегося сквозь щели, только усиливали ощущение тайны.

– Смотри, – папа открыл маленькое окошко, – это твои владения.

Лянка увидела огромное зелёное травяное море, и плывущие в нём деревья, дома, тропинки и дороги.

– А это что за дом такой белый?

– Это школа. Мы с мамой будем там работать, а ты – учиться. Совсем скоро – в сентябре. За школой – школьный сад, потом поле, а за ним речка Берестянка, а дальше – лес хвойный, бор называется. А ещё дальше – лес лиственный. Представляешь, сколько открытий тебе ещё предстоит сделать? Ну, как там твои бульбашки внутри? Не исчезли?

– Нет, папочка. Они превратились в одуванчиковые пушинки.

Сердце Лянки стучало часто-часто. Она наяву ощущала себя невесомой одуванчиковой пушинкой поднимающейся всё выше и выше – к самому солнцу. Теперь она не боялась высоты. Да и смотреть вниз оказалось совсем не страшно, потому что там – внизу – было оно – Королевство высокой травы.

УЛЫБКА БЕЛОГО ПЬЕРО

Этой ночью Лянке приснилась тётя Юлия. Она ходила по комнате и размахивала руками, а на плече у неё сидел волнистый попугайчик.

– Завела б ты себе птицу, – говорила тётя, идя от окна к двери, – слыханное ли дело – в такие куклы играть. Ты же девочка... Это только попугаям говорят, что они хорошие. А ты своему Пьероше сто раз на дно повторяешь, что он хор-роший, хор-роший...

– А людям? Людям разве не нужно говорить, что они хорошие?

– А где ты их видела-то, хороших людей? – тётя шла от двери к окну и качала головой. – Хор-роший... хор-роший... хор-роший...

Лянка ещё крепче прижала к себе Белого Пьеро, и... проснулась.

На жестяной коробке из-под чая сидел печальный Белый Пьеро. Его Лянке подарила мама. В широкополой шляпе, в белой атласной мантии с чёрными пуговичками-помпонами, с грустными чёрными глазами – Пьеро был невероятно красив и невероятно печален. Лянка улыбнулась ему: «Пьероша хорроший... Доброе утро!».

Ей показалось, что глаза куклы повеселели.

Других кукол у Лянки не было. Они «не приживались». Её не прельщали золотоволосые красавицы в кружевных платьицах и шляпках, противные пластмассовые пупсы, которым все девочки в классе шили и вязали одежду, косолапые плюшевые мишки.

В жестяной коробке из-под чая хранились Лянкины игрушки: цветные стёклышки, обточенные морской волной, морские камешки со смешным названием – галька и маленькие ракушки. Ещё там было две больших раковины, которые Лянка часто прикладывала к уху и слушала далёкий шум морского прибоя. Так ей сказал продавец раковин. Он курил трубку, он был одет в тельняшку, и поэтому Лянка ему поверила.

К морю родители возили Лянку каждое лето. Море она очень любила, и мама часто вспоминала, как совсем маленькая Лянка пыталась поцеловать волну, или хотя бы погладить. Они останавливались у тёти Юлии, старшей папиной сестры, в большом доме, где было много-много комнат. В комнатах жили разные люди – тётя называла их дикарями. Объяснялось всё тем, что тётин дом находился рядом с морем.

А Лянка с мамой и папой отлично устроившись в полуподвальной комнатке, которую тётя Юлия называла «цоколь». Там было темно и прохладно даже в самые жаркие дни. Вот только запах не нравился Лянке, сладкий, приторный – до тошноты, запах любимых духов тёти.

Море тётя Юлия не любила, никогда в нём не купалась и даже не загорала.



Каждый год – в конце июня – она приезжала в гости к Лякиным родителям на десять дней, и ходила на речку Берестянку, и там купалась в любую погоду – даже в дождь.

Тётя привозила подарки: копчёное мясо, сало, домашнюю крестьянскую колбасу, растворимый кофе, чай...

Вот и эта жестяная коробка досталась Лянке, когда весь чай из неё был выпит. Коробка была большая, вместительная и очень красивая, на ней были нарисованы диковинные птицы с длинными клювами.

Ещё в жестянке было много сухих лепестков роз. Маленькая Лянка собирала их под цветущим розовым кустом в школьном саду и несла домой, в надежде, что они останутся такими же свежими и нежными. Наутро, когда лепестки превращались в сморщенные обрывки непонятного цвета, Лянка плача, выбрасывала их, приносила новые – и так было до того самого дня, когда она повзросела. Тем летом папа привёз ей из очередной поездки – а ему приходилось ездить часто и подолгу – альбом для гербария.

Альбом был восхитительный. В серебристом тканевом переплёте, с серыми плотными страницами, отделёнными друг от друга полупрозрачной калькой.

Теперь Лянка, собирая лепестки, аккуратно разглаживала их и укладывала между двумя листами картона, завинчивая деревянную раму: приспособление для сушки растений и цветов очень напоминало пяльцы для вышивания.

Высушенных лепестков собралось так много, что в альбом они уже не помещались, и Лянка стала хранить их в конверте – в той же жестяной коробке.

А потом появился Пьеро – подарок мамы ко дню рождения.

В конце июня приехала тётя Юлия, и Лянка сразу начала считать дни до её отъезда.

С её приездом Королевство превращалось в обычный пустырь за домом, заросший травой.

Тётя занимала Лянкину комнату, и ей приходилось спать на диванчике в кладовке.

Но мама с папой и слушать ничего не хотели. «Она гостя, раз выбрала твою комнату – значит, ты должна уступить. Нужно быть гостеприимной хозяйкой!».

– А почему же я не могу выбрать комнату в тётином доме? Я бы выбрала ту, которая в мансарде, с балкончиком.

– Это невежливо, – говорила мама. – И потом, все комнаты к нашему приезду бывают уже заняты, ведь сезон начинается в апреле. Постарайся полюбить тётю Юлию. Она столько хорошего сделала для нашей семьи.

И Лянка старалась. Изо всех сил старалась. Но пока выходило как-то не очень.

Дорожные новости были рассказаны, главные, как всегда, оставлены для ужина, чтобы и папа мог послушать. Мама стала накрывать на стол, а тётя принялась разбирать вещи. Лянка вызвалась помочь из вежливости. Но больше из-за того, что она не успела спрятать жестяную коробку и Белого Пьеро, а сделать это было необходимо.

Тётя открыла свой огромный чемодан и вытащила оттуда... куклу.

Платиновая блондинка-красавица, в красных туфельках, в кружевных носочках, в белом платьице в красный горошек, и с таким же бантом в причёске, противно пищала «ма-ма» и закатывала свои фиалковые круглые глаза в обрамлении пушистых чёрных ресниц.

Тётя протянула куклу Лянке:

– Возьми. Это тебе подарок. Меня на твоём дне рождения не было, поэтому я дарю тебе её сейчас. У тебя же ещё впереди знаменательное событие – ты идёшь в первый класс.

Кукла пахла копчёной колбасой и ещё чем-то знакомым и тошнотворным. Духами тёти Юлии. Этот нестерпимый запах преследовал Лянку в тётином доме всюду и исчезал только у моря.

Лянка посмотрела на Пьеро. Глаза его стали ещё печальнее, казалось, что он вот-вот заплачет. Она заложила руки за спину, но вспомнила, что мама говорила о вежливости, устала в пол и буркнула: «Спасибо, не надо».

– Что это значит? Как это «не надо»? – растерялась тётя. – Это кто тебя научил грубить старшим, а?

– Я не грублю, – изо всех сил замотала Лянка головой, – я же вас поблагодарила.

Тётя покраснела от злости, и неизвестно чем бы всё закончилось, если бы в комнату не вошла мама, а за ней и папа.

Мама сделала «страшные глаза», махнула Лянке несколько раз рукой, – уходи, мол, скорее.

И Лянка, воспользовавшись ситуацией, выскользнула за дверь, но вспомнила, что хотела забрать коробку и Белого Пьеро.

Пришлось вернуться. Она увидела тётю Юлию с коробкой в руках, и растерянных маму и папу. Белый Пьеро лежал на полу, и Лянке показалось, что он плачет.

Тётя посмотрела на Лянку уничтожающим взглядом, бесцеремонно открыла коробку и вытряхнула её содержимое на пол.

– Что это?! Что это такое?

По полу катились камешки, цветные стёклышки, несколько перламутровых бусинок, сухим дождем просыпались лепестки розы, тихо и печально шурша. Очевидно, конверт расклеился.

Тётя сгребла всё в охапку и поднесла к Лянкиному лицу.

– Что это за дрянь, я тебя спрашиваю!

– Это не дрянь, – пожалуйста, никогда ещё буква «р» не звучала у Лянки так твёрдо.

Тётя от удивления выронила «скровища» из рук, а Лянка присела и, как ни в чём не бывало, начала собирать их в кармашек платья.

– Нет, вы только на неё посмотрите! Павел, что ты молчишь? От Полины твоей ждать, конечно же, нечего. Как она воспитывает ребёнка?! Хотя... какое воспитание, о чём я? Её саму ещё воспитывать и воспитывать.

Папа виновато развёл руками, а мама, взяв со стола жестянку, присела на корточки и стала помогать Лянке.

– Полина, весь этот мусор надо выбросить. Ребёнок должен играть в нормальные игрушки. Девочки – в куклы, мальчики – в солдатиков. И в коллективные настольные игры, которые развивают логическое мышление и помогают становлению личности. А у неё что – один этот дурацкий тряпичный клоун, да коробка из-под чая полная какой-то дряни.

– Это не дрянь, – повторила Лянка, крепко-накрепко прижимая к груди жестяную коробку. – Это – игрушки. Мне других не надо.

– Да ты знаешь, сколько стоит эта кукла?!

– Спасибо.

Лянка закрыла дверь чуланчика на крючок, поставила коробку на полку с маминими старыми книгами, положила Белого Пьеро на маленькую подушку-думку, улеглась рядом и сразу уснула, и уже не слышала, как за дверью её комнаты, долго о чём-то говорили и спорили взрослые.

На следующее утро она проснулась от шума отъезжающей машины. Папа отвёз тётю на вокзал.

После этого случая тётя Юлия больше не приезжала, и Лянкины родители перестали ездить летом на море.

«Что это мы, всё море да море... Надо же и горы посмотреть, правда Лянка?», – слишком уж бодрым голосом говорил папа.

И она соглашалась, хотя прекрасно понимала причину, по которой поездки на море прекратились.

Папа чувствовал себя виноватым перед тетёй, всё-таки, она была его старшей сестрой. Она его растила, помогла выучиться. А во время войны она спасла маленького папу от голодной смерти – его и бабушку, их с папой маму.

Лянка выросла. Слыша дребезжащий голос тёти Юлии в телефонной трубке, она испытывает страшные угрызания совести, но всё равно передаёт трубку маме. Сначала, как обычно, тётя жалуется, что осталась совсем одна, потом зовёт их в гости, хоть на несколько дней, обещая, что Лянка будет жить в комнатке мансарды – с маленьким балкончиком, откуда виден краешек моря.

И Лянка изо всех сил старается согласиться.

Но как только она пытается сказать «да», где-то далеко, кажется – около сердца, поднимает голову маленькая девочка, с жестяной коробкой из-под чая и Белым Пьеро, и твёрдо выговаривая букву «р» произносит: «Это не дрянь. Это – игрушки».

И снова мама говорит: «Не можем, никак не можем. В следующем году, может быть. Следующим летом...», – и облегчённо вздыхает, и кладёт трубку. И Белый Пьеро улыбается им всем, сидя на старой жестяной коробке из-под чая.

СТАРЫЙ АЛЬБОМ

Старый альбом пропал после похорон бабушки. В скорбных хлопотах и суете никто не вспомнил о нём. А когда вспомнили – найти не смогли.



Вещи бабушки тётя Юлия сложила в большую коробку и посоветовала маме отправить на чердак.

– Зачем тащить в свою жизнь прошлое, Полина? Да ещё чужое. Со своим настоящим бы хватило сил и времени разобраться. Ведь так?

– Наверное... – пожала плечами мама. – Только Феона Георгиевна не была мне чужой, и вы хорошо это знаете. Я относилась к ней как к родному человеку.

– Да ладно тебе. Я-то знаю, сколько ты слёз пролила. Ведь не хотели мы, чтобы Павел женился на тебе.

– Зачем же теперь об этом... Мы жили одной семьёй, дружно, хорошо жили. И Лянку она вырастила. У меня сессии, у Павла командировки вечные. И школа... занятия в две смены, да ещё вечерняя... Хватит. Вы не нашли другой темы для разговора?

Тётя Юлия, недовольно поджав губы, вышла из комнаты и этим же вечером уехала, как ни просил папа её остаться ещё на пару дней.

Бабушкины вещи на чердак отправлять не стали, а бережно сложили в шкаф – на своё привычное место.

Для Лянки здесь каждая вещичка была сокровищем.

И альбом – тяжёлый толстый альбом, с золотым обрезом страниц, пахнувших горячим утренним какао, которое бабушка варила по воскресеньям, альбом с Медным Всадником на переплёте, с тугим пружинным замком, был едва ли не самым ценным из них.

Лянка вздохнула. Будто вчера здесь, в старом кресле сидела бабушка и добавляла в альбом фотографии, а она крутилась рядом, и всё тянулась потрогать всадника на тёмном бархате переплёта.

– Это кто, рыцарь?

– Это Медный Всадник – памятник Петру Первому в Ленинграде.

– В Ле-нин-гра-а-де... – нараспев тянула Лянка, и снова тянулась к всаднику. – Какой же он медный, если он золотой!

Бабушка отложила альбом и сняла с книжной полки том Пушкина.

– Так называется поэма. А памятник Петру Первому уже потом стали называть *Медный Всадник*. «*Люблю тебя, Петра творенье, люблю твой строгий, стройный вид...*».

– Почитайте ещё, ну пожалуйста. Про Светлану и Людмилу.

– А это баллады Жуковского... Ладно, слушай.

«*Раз в крещенский вечерок*

Девушки гадали,

За ворота башмачок,

Сняв с ноги, бросали...»

Была зима. Наступали морозные, бархатно-лиловые вечера. На зимних каникулах родители уезжали в Москву, погостить у маминной старшей сестры, а они с бабушкой оставались в доме одни. Зимний день короткий, но Лянка успевала съехать несколько раз с горки на санках, покормить синичек и воробышков, почистить снег около крылечка и проведать, крепко ли спит под сугробами высокая трава – её королевство. Потом они с бабушкой обедали, а вечером пили чай и мыли посуду. Волшебство возникало, едва начинало смеркаться. Лянка садилась на маленькую скамеечку у печки и ждала, когда бабушка станет читать вслух.

Пятничный же вечер был особенным – альбомным. Таинственно светился Медный Всадник, щёлкала тугая пружина замка, и в комнату проникал едва уловимый, тонкий запах какао.

Рассматривая фотографии, бабушка вспоминала свою жизнь, и оживало далёкое и замечательное время: *тогда*. Она могла говорить о нём долго-долго, и Лянка уже знала, что спать они улягутся далеко за полночь, но не уснут сразу, а будут лежать молча, и листать дни и вечера, свои и чужие жизни, встречи, разлуки, радости и печали. Им приснятся эти прекрасные лица, взгляды, улыбки, и голоса, и чей-то смех рассыплется серебряным эхом. Будет тоненько позванивать посуда, потрескивать и шипеть патефонная пластинка, и голос негромкий и печальный, грассируя, споёт о том, как *над розовым морем вставала луна...*

Телефон оживёт во сне и сразу же смолкнет: чья-то бледная рука в кольцах и серебряных браслетах на тонком запястье снимет трубку, браслеты скользнут на кисть и всхлипнут тихо и нежно. И уже под утро в сон прилетит шорох шёлкового платья по паркету, стук каблучков, и слабый, горьковатый аромат герленовских *Après l'Ondee* смешается с запахами хвои и горящих свечей.

И всё тотчас улетучится, стихнет, исчезнет.

Но утром глаза будут блестеть особенным блеском, и ощущение умиротворения и покоя наполнит пространство дома необъяснимым, беспричинным, лёгким, но вполне ощутимым присутствием счастья.

И вот альбома не стало. Странно, не иголка ведь...

Всё было на месте: подушечка для иголок, с вышитой золотой пчёлкой на цветке одуванчика, кружевной

воротник, фарфоровый пастушок с отбитой дудочкой, два пустых флакончика от французских духов, в которых жили джинны-воспоминания о волшебных ароматах безвозвратно ушедшего времени *тогда*.

На месте была и большая деревянная шкатулка, в которой бабушка хранила медали деда, несколько писем с фронта, и похоронку; открытки, патефонные пластинки с песнями Вертинского и Плевницкой, красный очешник, записную книжку с закладкой-ленточкой... ляссе.

Даже потрёпанная книга молдавских сказок, и та лежала себе тихонечко на полке, а вот альбома не было.

Лянка тосковала без альбома, без лиц и взглядов, которые жили на его страницах, без их удивительных и прекрасных воспоминаний, оживающих под прикосновением её руки.

Ей часто снилось, что альбом лежит на своём привычном месте – в комнате бабушки, будто и не пропал. Но как только она открывала его, все фотографии куда-то исчезали. Лянка перелистывала пустые страницы, плакала, закрывала альбом и просыпалась...

Весной мама попросила Лянку прибраться в маленьком сарайчике для дров. Выметая слежавшийся мусор из-под настила, она увидела краешек чего-то чёрного, и вытянула большой пакет. Пахло сыростью, плесенью... И ещё чем-то очень родным и хорошо знакомым. Какао!

В пакете лежал альбом. Без фотографий, с пустыми нежилыми страницами, с потемневшим Медным Всадником на вытертом бархате переплёта. От сердца немного отлегло, когда под альбомом оказался ещё один пакет – поменьше. Фотографии.

Лянка принесла находку в дом. Мама не могла поверить своим глазам.

– Только не говори мне, что она много перенесла, что она спасла папу и бабушку от голода после войны, что жизнь у неё была трудная... Хорошо? Просто она никого никогда не любила, кроме себя. Хотя... мне кажется, что она и себя не любит – просто она любить не умеет. Вот.

– Ульяша, так нельзя. И потом, зачем тёте Юлии прятать альбом? Она очень любила бабушку, и хотела, чтобы та переехала к ней. И бабушка была согласна. Но родилась ты, и она осталась с нами. А тётя Юлия осталась одна, и её казалось, что мы её бросили, забыли, и она никак не могла бабушке этого простить. И не только ей. Это всё от одиночества, Ульяша.

– От злости. И от зависти. Mam, я не хочу больше говорить об этом.

Пока альбом подсыхал, лёжа на кухонном шкафчике, с расправленными страницами-крылышками, Лянка перебирала фотографии.

До чего же красива была бабушка! И щеголиха какая – платье с талией «в рюмочку», шляпка с вуалеткой, кружевные перчатки до локтя, локоны... тувельки с пряжками-бантами на изящных каблучках и сумочка-ридиколь в тон платью и перчаткам – Лянка была уверена в том, что в тон, хоть фотографии были чёрно-белыми. Платье это она ещё застала в бабушкином шкафу, и сумочку к нему, синие кружевные перчатки, и пару синих замшевых тувель. По правде говоря, тувели были самые обычные. Просто бабушка обтянула их синей тканью «под замшу» – вот и весь секрет. Все наряды она шила себе сама – шить её научила мама, Лянкина прабабушка Гликерия. Пальто – длинное – в пол, мелко присборенное в талии, с воротником-шалькой из искусственного меха, бабушка сшила за три дня специально для поездки в Крым. От пальто осталась пуговица, которая хранилась в шкатулке для рукоделия, рядом с вязальными спицами, крючком, нитками для вышивания, маленьким золочёным напёрстком прабабушки Гликерии.

А незадолго до Лянкиного выпускного пуговица была извлечена на свет Божий: «Если сюда продеть чёрную бархатную ленту, получится оригинальное украшение – бархотка. Это старинная пуговица, из настоящего перламутра и серебра. Мне её подарила моя бабушка. Вот и посчитай, сколько лет ей, Ульяша!».

Лянка ахала от восторга, бежала к зеркалу, прикладывала пуговицу к шее, спускала платье на плечи, закатывала глаза и представляла себя дамой с бархоткой на шее – она в то время зачитывалась романами Дюма.

Украшение действительно получилось необыкновенным, а в сочетании с платьем, сшитым бабушкой, белым меховым болеро и белыми перчатками до локтя, смотрелось изысканно и роскошно.

Вот и фотография бабушки в этом самом пальто, в меховых ботиках и с муфтой.

И подпись: Крым, 1935.

А вот фотография девочки с косами, уложенными в «корзиночки». Тонкие черты лица, нежные губы, чуть припухшие... глаза светло-серые, родниковые. Тревога, страх в глазах. И тени. Что за тени, откуда? Не от ягодных кустов ли, что росли в изобилии в лесах на острове Сааремаа?

Лянке и теперь слышался лай собак, чужая речь – тягучая, густая, как мастика для пола. Этой мастикой сероглазая девочка натирала полы в добротном хозяйском доме, натирала до тех пор, пока не раздастся над головой хозяйское: «Nüüd püisab. Minema kööki». (Хватит. Иди на кухню.)

На кухне девочке дадут несколько тоненьких ломтиков чёрствого чёрного хлеба и три холодных варёных картофелины. Она выйдет через чёрный ход – для прислуги – и побежит к баракам – там мама с маленьким братиком, бабушка...

Это лагерь смерти. Это война. Эта девочка Полина – маленькая мама.

Но здесь, на фотографии, всё уже позади, война окончена, и можно ходить в школу, и впереди ждёт только хорошее. Вот только... тени.

И сейчас они проступают, когда мама болеет или устаёт.

А вот и она – Лянка, у папы на руках. Папа улыбается, а она насупилась – недовольна чем-то. На обороте надпись: Уляше четыре годика.

На заднем фоне – старый школьный дом-барак и вишня, от которой теперь даже и пенька не осталось, наверное. Лянка ощутила во рту терпкий вкус тёмно-красной смолки, сочащейся из растрескавшегося ствола вишни, – вкуснее этой смолки был только чай из вишнёвых веточек, заваренный папой. Научила его этому, конечно же, бабушка.

Каждую весну Лянка с папой отправлялись в сад и срезали молоденькие веточки вишни. Чай получался красивый, ароматный и вкусный – не нужно было ни сахара, ни мёда. Разве что ложечку вишнёвого варенья...

Лянка вздохнула. Нет, никак не получается привыкнуть к тому, что её нет. И никогда не получится.

Новый год, снежные сугробы во дворе.

Папа в новом белом свитере, мама в белом пуховом платке, наброшенном на плечи; в белой, вышитой синими снежинками дублёнке с длинной опушкой – она, Лянка. Подарки бабушки к Рождеству были всегда особенными, вот и в этот раз – она подарила им всё белое, и наутро выпал такой снег, которого давно здесь не видели. Прошлые зимы были сырыми, бесснежными.

Они вышли на крылечко, чтобы сфотографироваться, и папа предложил встречать новый год на улице, у ёлки, которая росла у самой калитки: развести костёр, смотреть на огонь и загадывать желания.

Бабушка пожала плечами и ушла накрывать праздничный стол. Но вечером не утерпела – вышла в сад. Лянка всё волновалась, новый год всё-таки, а они на улице. А там, наверное, уже «Голубой огонёк» идёт по телевизору, и совсем скоро часы на Спасской башне Кремля пробьют полночь, а они опоздают, и новый год наступит без них.

– Как же, как же мы узнаем, когда будет полночь?

– Ты почувствуешь, Лянка. Ты обязательно почувствуешь. Сначала ты потеряешь счёт времени – не будешь знать, сколько часов прошло, два или пять, или полчаса. Исчезнет прошлое и будущее, останется только настоящее. Потом ты услышишь тишину. Эта тишина – особенная. В ней тревога и волнения, в ней радость, восторг, грусть, печаль, ожидание, надежда на лучшее... Ты почувствуешь обновление и поймёшь, что новый год начался.

Глаза папы блестели, он был очень похож на мальчика вот с этой пожелтевшей фотографии.

– А как же те, кто встречает его за столом?

– Они слышат бой часов, звон бокалов, голоса, крики. И не слышат самих себя. Для того чтобы услышать себя, не нужно ничего говорить, тем более – кричать. Нужно только молчать и слушать.

Новый год, как и день рождения, начинается в нас самих.

Лянка перебирала фотографии, и ей казалось, что она слышит, как дышит на рассвете вишнёвый сад, о чём шепчет на закате сад яблоневого, о чём стрекочут кузнечики, жужжат пчёлы и поют птицы в её Королевстве Высокой Травы.

Через неделю альбом окончательно подсох. Лянка наполнила его фотографиями, закрыла тугой пружинный замок, коснулась начищенного до блеска Медного Всадника, и положила альбом на полку, рядом с жестяной коробкой из-под чая, на которой светло и печально улыбался Белый Пьеро.

КЛЮЧИ ОТ КОРОЛЕВСТВА, или ВОЗВРАЩЕНИЕ БЕЛОГО ПЬЕРО

Верхний зал небольшого кафе в центре старого города пустовал с самого обеда. Обычно от желающих выпить здесь чашечку кофе и сфотографироваться в изысканных ретро-интерьерах отбоя не было, – кафе отличалось оригинальным дизайном и неплохой кухней. Но утренний ливень разогнал даже самых отчаянных любителей старины.



До закрытия оставалось чуть менее часа, можно было сдавать выручку. Впереди ждала целая неделя выходных.

Лянка включила калькулятор и...

Откуда-то потянуло холодком, словно сквозняк пронёсся по залу. Девушка поёжилась от холодного воздуха, и в ту же секунду ей почудился звонок.

«Показалось...», – она снова углубилась в цифры. Нежный перезвон повторился. Так мог звонить лишь один колокольчик – с крайнего столика верхнего зала – у него был особенный голос, «малиновый». Колокольчики с других столиков звонили однообразно. А этот... Нежный звон раздался в третий раз. Это означало только одно: за столиком сидел посетитель и требовал меню.

– У нас кто-то есть?

– Просочились, – развёл руками бармен Никита.

Лянка отправилась наверх, захватив меню.

За столиком у окна сидел человек в чёрном плаще и в чёрной широкополой шляпе, похожий на огромную нахохлившуюся галку.

– Добрый вечер, – заученно улыбаясь, затараторила Лянка. – Спасибо, что выбрали наше кафе. Пожалуйста, возьмите меню. Вы можете снять верхнюю одежду, здесь в нише есть вешалка, стойка для зонтов и полочка для головных уборов. В нашем кафе можно подзарядить мобильный телефон, а также воспользоваться беспроводным интернетом.

– Помедленнее, пожалуйста.

Низкий, чуть хриловатый голос посетителя очень подходил к его внешнему облику. Говорил он неспешно, тихо.

– Два кофе. И два стакана воды со льдом.

Когда Лянка принесла заказ, посетитель стоял перед дверью, вернее, перед имитацией двери. Верхний зал располагался на бывшей лестничной площадке второго этажа, и дверь в одну из квартир оставили, но какую!

В обивку было вклеено множество ключей. Старинные и современные, огромные, отпирающие амбарные замки, и миниатюрные, для замков ломберных столиков, конторок и секретеров с потайными ящичками, просто маленькие ключики причудливой формы, изящные, невесомые...

Сохранились и ручка и замочная скважина, и цифра девять на потемневшей от времени медной табличке – номер квартиры, в которую когда-то вела эта дверь, и даже звонок.

Посетитель повернулся к Лянке.

– Выпейте со мной кофе, пожалуйста. Окажите любезность. Прошу.

Лянка хотела было отказаться – им было категорически запрещено садиться за столик с посетителями. Но до закрытия оставалось всего полчаса, в кафе никого, кроме бармена не было, да и...

Что-то такое было в голосе посетителя, в его облике, в том, как он говорил, смотрел, двигался.

Что-то неуловимое. Ему хотелось верить тайны, рассказывать о самом сокровенном.

Лянке такие люди давно не встречались, а все секреты она рассказывала Белому Пьеро, пока не потеряла его.

– Давно здесь служите? – Посетитель сделал глоток ледяной воды и глоток кофе. – Превосходно.

– Третий месяц. – Лянка даже растерялась, никто ещё не называл её работу службой.

– Нравится?

– Надо же как-то на жизнь зарабатывать. А вообще-то я учусь в педагогическом, на четвёртом курсе.

– Нет-нет, – успокоил её посетитель, – я имел в виду совершенно другое. Целый день перед глазами люди, лица, взгляды, голоса. Есть постоянные посетители – завсегдатаи, но большинство – новые, незнакомые люди, ведь так? Их можно читать, как книги, угадывая характер, поступки, а значит и судьбы.

– Никогда не думала об этом. Поначалу они меня раздражали. Но я привыкла. Здесь хорошо платят, а для меня сейчас именно это важно. Я снимаю жильё. Ушла от мужа.

Впоследствии, Лянка не могла понять, почему она выложила обычному посетителю то, что не рассказывала никогда и никому. Один только Белый Пьеро знал обо всём. Только ему она могла бы рассказать о том, что солнечное утро давно уже не вдохновляет, а вызывает непреодолимое желание задёрнуть шторы (если бы были ставни, она их закрыла бы наглухо), отключить звонки: дверной и телефонный, укрыться одеялом с головой. Потом будет ещё хуже, – она знала. Изоляция от внешнего мира приводит к тому, что мир становится ещё враждебнее и, как следствие – ещё ненавистнее. Дальше – по кругу. Что-то происходило в последнее время, необъяснимое, но весьма и весьма ошутимое, и оттого ещё больше пугающее.



Как выйти из этого состояния она не знала. Белого Пьеро рядом не было. Лянка часто видела во сне, что взгляд его становился всё печальнее и печальнее, а по щеке катилась чёрная слезинка, совсем как у Чёрного Пьеро на портрете, который когда-то давно висел в комнате бабушки.

– Расскажите, – тихо сказал посетитель. Просто сказал – и всё.

– Мы поругались с Иваном из-за какого-то пустяка. Иван – это муж... Бывший. В последнее время мы часто ругались. На кухню выбежала Ши. Она не выносила криков. Она даже музыки громкой не выносила, а тут...

Иван пнул её ногой. Ши отлетела, ударилась о стену и... Какое-то время она ещё дышала.

Помню её глаза полные слёз, непонимания, боли. Потом... Я опомнилась, когда Иван, отступая к двери, кричал: «Брось нож, идиотка! Брось нож и успокойся – это же просто кошка! Это животное, которое должно знать своё место! Брось нож, или я вызову скорую...».

Лянка расплакалась.

Посетитель придвинул ближе к ней чашечку с кофе.

– Что ж, причина для разрыва более чем весомая. При следующей ссоре он бы мог и вас ударить.

– А он и ударил меня. Понимаете? Он ударил мою кошку – значит, и меня.

– Прекрасно понимаю.

– Да? А меня никто не поддержал. Никто. Мама Ивана так и сказала: «Кошку жаль, конечно, но это не повод на человека с ножом бросаться. Ты ненормальная... И хорошо, что вы не успели детей завести».

Простить смерть маленькой Ши я не смогла бы никому. Даже Ивану. Тем более – Ивану. Своим родителям я ничего не рассказывала, не хотелось их огорчать. Они ни о чём не знают. Пока не знают.

– Всё в прошлом. – Голос посетителя звучал успокаивающе, хотелось закрыть глаза и слушать, слушать... – У вас есть работа. Вы независимы. У вас есть мечта. Ведь есть?

– Есть. Я мечтаю о Королевстве. Глупо, да? Я забыла, как это: быть счастливой. В детстве я была счастлива, я точно это знаю. Я жила в Королевстве. Да, именно так – в Королевстве Высокой Травы. Такой высокой, что когда идёшь, она щекочет подбородок. Там сад вишнёвый и сад яблоневый сплетаются в один. Там – в глубине сада – дом. А у дома – синяя скамейка. Тёплая, нагретая за день солнцем скамейка, на которой, свернувшись клубочком, спит маленькая кошка.

У скамейки цветёт огромный куст белого шиповника. Лепестки падают в траву.

Пчёлы, шмели, кузнечики, стрекозы... Середина лета. Июль.

На веранде круглый стол накрыт белой скатертью. Слышно, как открывается калитка... колокольчик поёт. Но я должна была уехать оттуда. Нельзя жить детскими привязанностями, так никогда не станешь взрослой. Так Иван сказал. Надо было перебираться в город, поступать в институт, искать работу. Конечно, я приезжаю туда часто, ведь там мои родители. Но мне кажется, что всё изменилось, и Королевства больше не существует.

Лянка умолкла, разглядывая странную дверь.

– Уютно там у вас, в вашем королевстве, – человек перехватил её взгляд. – Интересная дверь, правда? А вы не знаете, кто оформлял этот зал? И лестницы. Там ведь тоже везде ключи.

– Нет, не знаю. Мы как-то посчитали – здесь 1943 ключа. Чей-то год рождения, наверное...

– Это гениальная идея – в тысячу раз гениальнее той, которую Толстой воплотил в своей сказке.

– Сказка о Золотом ключике?

– Золотой ключик, отпирает дверь, ведущую в Страну Чудес...

– Которая скрыта за нарисованным очагом, в каморке бедного папы Карло, – вздохнула Лянка. – Найти бы этот ключик и эту дверь.

– Всё уже найдено. И дверь, и множество разных ключей из разных миров и времён.

– Но ведь подходит только один ключ. Вон их сколько! Жизни не хватит, чтобы найти нужный.

– Ошибаетесь! – Впервые за всё время беседы посетитель посмотрел на Лянку. Глаза у него были ясные, как у ребёнка. – Все эти ключи подходят. Только... Нужно найти свой. Понимаете? Свой – и только свой ключ. И тогда дверь откроется.

Лянка представила открывающуюся дверь, испуганных людей, живущих за дверью. – Нет. Это невозможно. Ведь там ничего нет. Скорее всего, этот дверной проём заложили. Кафе находится в угловой части огромного дома, и там – за дверью – чья-то квартира.

– Правильно, – согласился посетитель. – Если мы сейчас начнём ломать эту дверь, то скорее всего упрёмся в кирпичную кладку. А за ней – жилая квартира. Но если найти свой ключ, то дверь откроется в вашу реальность и в ваше пространство. В ваше Королевство. И никаких жильцов и заложенных дверей.



– Мы закрываемся, – Лянка услышала голос бармена снизу. – Я спущусь на минутку. Вы ведь не топшитесь?

– Да-да, конечно, – посетитель выложил на столик деньги. – Этого достаточно?

– Много. Я сейчас.

Она сбегала вниз по лестнице и, не обращая внимания на ворчание Никиты, быстро выбила чек в кассовом аппарате, и отсчитала сдачу.

– Долго ты ещё?

– Иди, я сама здесь всё закрою. Выручку забрали?

– Да.

– Ну и всё. Иди.

– Ты уверена? Давай я вернусь через полчаса – мне всё равно нужно купить кое-что здесь в торговом центре – неподалёку.

Никита ушёл, и Лянка, заперев дверь, помчалась наверх, но в маленьком зале никого не было.

«Странно, как он вышел? Дверь-то заперта. Не привиделось же мне...»

Она подошла к столику и увидела визитку с вензелем в виде ключа: «Пётр Иванишин. Ключник». Ни адреса, ни телефона...

Уходя, девушка на миг задержалась у двери. Ей показалось, что сквозит именно оттуда. Она поднесла ладонь к замочной скважине. «Нет. Никакого сквозняка. Куда он мог деться? У меня столько вопросов, а он – я уверена – знает ответ на любой из них...».

Всю следующую неделю лил дождь, только последние два дня выдались солнечными, и Лянке удалось выбраться из дому. Она бродила по набережной, кормила вездесущих голубей и думала о ключах, о дверях, а более всего о таинственном исчезновении человека в чёрном плаще.

Вернувшись, Лянка увидела, что почтовый ящик полон ярких и бесполезных рекламных проспектов. Она – по привычке – собралась отправить их в урну, но в глаза бросилась серебристая виньетка: «Пётр Иванишин. Дизайн интерьеров».

В отличие от визитки посетителя, здесь был указан не только телефон, но и адрес: «Театральная площадь, 7». Пётр Иванишин... Однофамилец?

Театральная площадь находилась недалеко, и Лянка, не заходя домой, отправилась по указанному адресу, а минут через десять уже стояла перед дверью с дверным молоточком в виде грифона. Она осторожно взялась за кованое кольцо и постучала. Дверь открыл человек средних лет в чёрном рабочем халате, испачканном чем-то белым.

– Проходите. Что у вас? Квартира, дача, ресторан?

Лянка протянула визитку, оставленную странным посетителем.

– У меня... вот.

– Это не моя визитка.

Он жестом указал Лянке на кресло, и когда она села, продолжил. – Это визитка моего отца. Он антиквар.

– А написано, что ключник.

– Правильно. Когда я был маленьким, отец часто рассказывал мне о своей мечте. А мечтал он... Вы не поверите – о счастье. Не о своём, не о всеобщем одинаковом счастье для всех, а о счастье для каждого. Он верил в то, что если каждый человек будет счастлив, то наступит Золотой век. Это только гриппом болеют сообща. Счастье – состояние субъективное. Там, где несчастен один – другой будет самым счастливым. Вот и возникла идея этакой входной двери. Вход один. Но ключ, разумеется, у каждого свой, поэтому дверь открывается в разные пространства. Да. Он знает о ключах и замках всё, и называет себя ключником.

Лянка рассказала Петру о таинственном появлении посетителя и о столь же таинственном его исчезновении.

– Не удивлён. Не волнуйтесь вы так, не призрак же к Вам на чашечку кофе зашёл. Уж кому-кому, а ему все ходы и выходы в старых домах известны. Я же говорю, он знает всё о замках и ключах. Особенно, о старинных замках – с секретами.

– А почему их там 1943?

– Версии? – улыбнулся Пётр.

– Возможно, это какая-то дата. Год рождения или...

– Это год рождения отца. Это его идею с дверью и ключами я использовал в дизайне вашего кафе. А его лавка находится в переулке напротив.



– Кажется, я знаю эту лавку. Конечно, знаю... Я пожалуй пойду. – Лянке вдруг очень захотелось увидеть странного посетителя.

Но антикварная лавка была закрыта. Лянка написала на его визитке номер телефона и засунула визитку под дверь.

Прошло две недели, а посетитель так и не появился. Лянка несколько раз набирала телефон студии его сына, ответом ей были лишь длинные гудки. Она перепробовала сотни ключей, которые висели на лестнице, на стенах, на гвоздиках. Ни один из них к двери не подошёл.

– Шутка... Скорее всего, он пошутил, – успокаивал её Никита, пододвигая ближе стакан с неизменным апельсиновым соком.

– Ты не понимаешь. Такими вещами не шутят.

Она потянулась за салфеткой, и из кармашка выпал ржавый ключ.

– Это от дома тёти Юлии, я его специально перед глазами держу, как напоминание, – пояснила она Валере. – Всё никак не соберусь. Незадолго до болезни, она продала свой «доходный» дом у моря, и купила домик недалеко от нас. Но жить в нём ей не довелось – из больницы она так и не вышла. Я обещала маме посмотреть, как там и что, но... если честно, мне совсем не хочется туда ехать.

– Не можешь простить?

– Мне её жаль, правда. Наверное, она завидовала нашей семье. И ревновала папу... к маме, ко мне. И бабушку ревновала. Нет, я её давно простила.

– Так давай съездим на выходные.

– Давай, – согласилась Лянка, вертя ключ в руках. Засыпав звонок из маленького зала, она заторопилась вверх.

В зале никого не было.

«Показалось... Странное, всё-таки, место...».

Возникло уже знакомое ощущение лёгкого сквозняка. Она поднесла старый ржавый ключ к изящно оформленной скважине, представила, как легко открывается замок, и... увидела себя, идущую по высокой траве – к дому. На синей скамейке, свернувшись клубочком, спал чёрный котёнок.

Лянка подошла, чтобы погладить котёнка, увидела трещинки в скамейке, и в них полно муравьёв, ну совсем как в тот день, когда потерялась бусинка с любимого платья.

В одной из этих трещинок лежала одинокая бирюзовая бусинка.

Лянка положила её в кармашек, села на скамейку и закрыла глаза, в полной уверенности, что теперь всё хорошо, всё на своих местах. Или встанет на свои места... в самое ближайшее время.

Можно было накрывать на стол к ужину, и не смотреть в окно, – если открывается калитка, поёт колокольчик. Такой же, как в верхнем зале кафе, с малиновым толосом.

В доме светло, просторно, на стенах, оклеенных одуванчиковыми обоями, чёрно-белые фотографии. Бабушка в шляпке с вуалью и меховых ботиках, и папа с мамой совсем юные, солнечные, и рыжеволосая женщина рядом с высоким военным улыбается. Очень красивая женщина. Тётя Юлия?!

– Получается?..

Лянка открыла глаза и увидела человека в чёрном плаще.

– Вы... куда же вы пропали?

– Вы меня не забыли, это радует. И есть ещё кое-то, о ком вы не забыли.

Он вытащил из сумки Белого Пьеро.

– Вот здорово! – Лянка всплеснула руками. – Где вы его нашли?

– В тот день у меня было много посетителей, но как только я увидел вас, то сразу понял, кто обронил этого несчастного.

Лянка вспомнила, как с год назад, она бродила по городу в поисках мастера – ей срочно был нужен второй ключ от только что снятой квартиры. Она заходила в магазины, мастерские и антикварные лавки. В одной из этих лавок было множество замков, современных и старинных. А за прилавком стоял... он – Пётр Иванишин. Ключник.

– Теперь и я вижу, что вспомнили. Нашли свой ключ?

– Это ключ от дома папиной сестры, тёти Юлии. Здесь недалеко, минут двадцать на автобусе. Никак не могу заставить себя поехать туда.

– Но ведь именно его вы видели, когда открылась дверь?

– Да... Я всё поняла. Глупо было бы надеяться, что откроется вот эта дверь, которая и дверью давно



быть перестала. Умение прощать – и есть настоящая дверь к счастью. А ключ – мечта, и у каждого она своя.

Через неделю Никита, как и обещал, отвёз Лянку в деревню.

За старым покосившимся забором цвели яблони. И синяя, тёплая от солнца скамейка, была здесь. На ней, свернувшись клубочком, спал чёрный котёнок.

Лянка подошла, чтобы погладить его и заметила трещинки в скамейке, и в них полно муравьёв, ну совсем как в тот день, когда потерялась бусинка с её любимого платья.

– Но ведь так не бывает, – растерянно прошептала она. – Всё очень похоже, только... Только шиповника нет.

– Хорошо здесь, правда? Как в детстве.

Никита подошёл совсем близко. Лянка увидела солнечную россыпь веснушек на его лице и улыбнулась – раньше она их не замечала.

– Да, как в детстве. Только шиповника нет. И трава не такая высокая, как в моём Королевстве. Но зато здесь есть молоденькая вишня. Видишь, она растёт из корней старого дерева. Помнишь, я тебе рассказывала о старой вишне, о вишнёвой смолке и о чае из вишнёвых веточек?

– Помню, – Никита сел рядышком. – Шиповник мы обязательно посадим. Высокая трава вырастет сама... Такая же высокая, как в твоём Королевстве. С возвращением домой, ваше величество...

«МЕГАФОН»

ТРУБАДУР ОДЕССКОГО ДВОРА

(интервью Евгения Голубовского с Аркадием Львовым)

Песенка Булата Окуджавы так легко переосмысливается в судьбе Аркадия Львова. Двор в Авчинниковском переулке, где прошли все его одесские годы, стал не только темой, но и смыслом его творчества. Роман и одесские рассказы, как бы воскресившие южнорусскую школу, ввели его в большую русскую литературу, в её «дворянский сан».

В середине 60-х годов Аркадий Львов был единственным в городе прозаиком, кто чувствовал Одессу, любил её, понимал одесский язык. И, естественно, его почти нигде в родном городе не печатали. Почти... Потому что была такая газета, как «Комсомольская искра», которая делала вид, что не понимает «какое, милые, у нас тысячелетие на дворе». И редакторы В. Николаев, Е. Григорьянц, И. Лисаковский, сменяясь, как эстафетную палочку, передавали газете прозу Аркадия Львовича Бинштейна, укрывшегося под псевдонимом «Аркадий Львов» от бдящего ока цензуры.

А потом Аркадия Львова полюбила Москва. Конечно, не вся Москва, но В. Катаев, Б. Полевой, А. Твардовский, К. Симонов. Этого уже было достаточно, чтобы печататься в Москве, в самой многотиражной газете «Неделя», быть принятым в московское отделение Союза писателей, но было недостаточно, чтобы получить «красную корочку Союза писателей», а это было обязательным в те времена: Одесса – Киев – Москва. Одесские прозаики не замечали своего коллегу, а когда он им слишком надоел пребыванием в столичной литературе, пошли доносы, один другого страшнее. Аркадий Львов, докладывая его коллеги, – главарь сионистского подполья в Одессе, представитель клуба «Бабель» в Варшаве. Много позже, разговаривая с польским литератором, Львов узнал, что клуб писателей в Варшаве размещался на Вавилонской улице, а от Вавилонской до Бабеля – взмах пера...

Позднее, после четвертой «беседы», генерал Куварзин, возглавлявший одесский КГБ, сквозь зубы скажет ему: «Не подтвердилось». И, тем не менее, его изгнали из родного города. Хорошо, что к тому времени его уже знали в Европе, была написана первая часть романа «Двор»...

Одно из самых страшных воспоминаний. Хоть рукописи ему разрешили вывезти, таможенник по листу разбрасывал книгу. К молодому офицеру подошёл сослуживец, ветеран, и тихо сказал: «Ты совсем очумел? Ведь ты человеческие мозги пускаешь по ветру!». Разные были люди. Это навсегда запомнил Аркадий. И его эмигрантские рассказы не желчные, а мудрые, как и велит Одесса.

В эмиграции был дописан роман «Двор», принёсший ему успех, славу, награды. Вот только два отзыва. Нина Берберова: «Аркадий Львов – явление уникальное в американском, да и не только американском русском зарубежье...». Айзек Башевис Зингер, лауреат Нобелевской премии: «“Двор” – наивысшее достижение Аркадия Львова и, одновременно, одно из самых фундаментальных произведений современной литературы».

В 1976 году Аркадий Львов покинул Одессу. Работал в Вильсоновском центре, Гарвардском центре, но, прежде всего, писал. С 30 ноября 1976 года его голос зазвучал на радио «Свобода». Он работал для русской и украинской редакции, так как знал и языки, и проблематику. И за эти годы, кроме создания рассказов, романов, писатель непрерывно работает на «Свободе». Он выпустил 8 000 программ – это 20 000 страниц текста!

В 1990 году, когда появилась возможность приехать в СССР, он прилетел в Москву, а затем в Одессу. Родной город притягивал его своей легендой, своей историей. Это была основа его литературы, здесь жили герои его «Двора».

Сколько раз он приезжал за эти годы в Одессу – не пересчитать. Посол мира. Посол экономических



отношений. Посол литературы. Когда-то секретарь обкома партии Лидия Всеволодовна Гладкая, иронически улыбаясь, говорила ему, что писатели жалуются – он «непристойно много пишет». Отшутился и Аркадий: «Жизнь не удалась, нужно работать на бессмертие».

И вот, в декабре 2002 года, он вновь побывал в Одессе. Решением жюри при горсовете стал одним из «Одесситов года». Это для него почётно. Ведь в основе – жизнь его двора, век его двора. «Двор» всё ещё не окончен. Но роман будет завершён. Это цель жизни. «Двор» возвёл его в литературное дворянство. Он оплатил ему тем же, прославив Одессу, Авчинниковский переулок, бабушку Малую на весь читающий мир.

В Одессе вышел шеститомник Аркадия Львова. Издательство Ивана Захарова в Москве выпустило отдельной книгой две части «Двора». Можно уже жить с гонораров, со славы. А писатель «непристойно много пишет». И звучит его голос на «Свободе», и знакома с ним каждая семья, новые поколения семейств его двора.

У Львова своя миссия: вернуть Одессе её образ, её славу.

– Аркадий, первый том в твоих собраниях сочинений начинается не ранними рассказами, а именно романом «Двор». Это очень значимое произведение – о жизни не только двора в Авчинниковском переулке, но о жизни страны, о каждом из нас... Что для тебя главное в романе?

– Главное – наша жизнь, какой она была на самом деле. Свои ранние рассказы я делал в форме исповедальной прозы. Но в 1968 году я поставил себе задачу: написать роман отстраненно – жизнь должна рассказывать самое себя. Я отчётливо помню, как возле метро «Аэропорт» я сказал Константину Симонову, человеку, который очень много для меня сделал, что хочу написать роман о жизни простых людей. Но вот название не могу придумать – «Мой двор», «Твой двор»... Он остановился (естественно, привлёк внимание множества людей – его узнавали) и так, слегка грассируя: «Какой “мой двор”, “ваш двор”? “Двор”? Просто “Двор”? Огромный, как вся империя». Я, честно говоря, остолбенел. Он стоит на Ленинградском проспекте и вещает: «Двор – огромный, как вся Империя». Ну, дальше я сказал о том, что, по моему видению, советская власть крепка тем, что в каждом дворе есть свой дворовый Сталин. Он подхватил мою мысль, да, мол, на каждом уровне есть свои активисты. Я не писал политическую вещь. Ведь все разговоры о политике привносились теми, кто занимался политикой. А люди простые жили заботами дня. Конечно, были политические интересы: «А вы сегодня читали в газете?.. А вы слышали?..». Помню, ребёнком я как-то услышал:

– Вы знаете, итальянцы бомбили Аддис-Абебу.

– Как?

– Слушайте, Аддис – это же почти Одесса, а Беба – это Беба, что там ещё объяснять!

Так я ещё ребёнком узнал, что все страны находятся рядом с Одессой. У нас даже было соревнование: мальчишки залазили на крышу дома и смотрели, кто первый увидит Турцию.

– Ваш дом – это Авчинниковский переулок, номер...?

– Четырнадцать – угловой дом, а по Троицкой это был пятьдесят четвёртый номер. Это знаменитый дом Котляревского, где ещё были одесские биндюжники. Среди этих биндюжников был такой Шломо Баренгауз. Мне было шесть лет, когда он посадил меня на свою подводку и повёз в порт. Меня поразило, что со своими лошадьми он разговаривал на идиш. Я спросил:

– Дядя Баренгауз, а они что, не понимают русского языка?

– О, если бы ты знал русский язык, как они, то ты был бы второй Карл Маркс. Но второго Карла Маркса быть не может.

Вот такие были разговоры. Можно сказать, с политическими мотивами.

– Ты мне как-то сказал, что, когда ты уже был там, тебе приснился страшный сон, что на таможене открывают твой багаж, а оттуда разлетаются по всему аэропорту листики рукописи романа, и ты не можешь их собрать. И всё – труд нескольких лет погиб. Тебе удалось вывезти роман. Его издали на многих языках. Ну что говорить, если сам Зингер сказал, что это один из лучших романов XX-го века. У некоторых получилось устроиться на Западе, у других нет. Как

это получилось у тебя? Только ли из-за того, что ты великолепный журналист и работаешь для «Радио Свобода»? Или потому, что у тебя была твоя проза, которая издавалась? Или встречи, встречи с людьми, их поддержка?

– Ну, я бы сказал, что встречи с людьми – это результат моего писательства. Должен сказать, что журналистом я был не совсем по доброй воле – надо было зарабатывать на жизнь. На «Радио Свобода» я сдал за эти годы двадцать тысяч машинописных страниц, сделал восемь тысяч программ, из них более тысячи страниц – на украинском языке. Я был единственным автором на «Радио», который писал на двух языках. Но мой писательский язык, естественно, русский. Хотя я прекрасно понимаю идиш и могу провести разговор на идише – как все одесские мальчики тех лет, хотя я не разговаривал на идише, как лошади Баренгауза по-русски. Что касается встреч... Дело в том, что я совершенно точно поставил себе задачу (ну, не в том смысле, что вот, я сейчас налажу верстачок, построю стол... Ты же знаешь, столярное дело было моим хобби). Как бы душа настраивалась. Мне, казалось бы, надо было продолжить начатое здесь. Но, как ни странно, начал я с американских рассказов. Всё-таки они давили. Когда я опубликовал «Инструктаж в Риме», был буквально скандал, потому что я точно описал, как это было – как в Риме принимали евреев. Это всё резко отличалось от того, что писали в газетах и от того, что люди себе представляли. Жизнь была гораздо суровее. В первые шесть месяцев нас поддерживали, а потом надо было самому обеспечивать себя. Первые пару лет для меня было проблемой поехать на метро. Я должен был точно рассчитать, сколько кварталов надо пройти – если десять-двадцать, то, конечно, пешком. А попробуй в Одессе сказать «двадцать кварталов пешком» – это можно весь город обойти. И, конечно, была встреча. Это была встреча с моим кумиром в области научной фантастики – Айзеким Азимовым. Мне дали его домашний номер, я позвонил и представился. Оказалось, что он знал моё имя.

– Ну, это совершенно нормально, ведь Стругацкие писали предисловие к твоим книгам.

– Нет, здесь была более определённая вещь. Дело в том, что был издан на английском языке сборник советской фантастики. А рецензировал советскую фантастику Айзек Азимов. Там был мой рассказ о школе будущего, где мальчик общается не с учителями, а с машинами, с электронным учителем. Мой товарищ в Москве Давид Полторак работал тогда в Институте общеполитехнического обучения Академии педагогических наук, и он сказал, что это абсурд – учителя-машины. А потом написал мне спустя тридцать лет: «Как ты мог тогда предвидеть?». Вот Азимов и написал тогда эссе «Новые учителя». Он пригласил меня на всеамериканскую конференцию фантастов. Это было для меня колоссальное событие. Там было три с половиной тысячи фантастов! Они заполнили весь отель «Хилтон»! Все были в разных костюмах – костюмах вторгшихся пришельцев и т.п. Я один был без всяких знаков и напоролся на неприятность: они меня окружили и говорят, что сейчас меня изничтожат. Хорошо, что появился Азимов... Он ввёл меня в это общество с необыкновенной теплотой и заботой.

В это же время я обратился в журнал «Минстрим» – журнал еврейского института Веркер, и главный его редактор, писатель Джоэль Кармайкл, тоже принял во мне деятельное участие. Рассказы начали переводить на английский язык. Я пытался опубликовать «Двор», но ничего не получалось. Первое издание «Двора» было не на русском языке, а на французском – он вышел в Париже. Я получил оттуда письмо. К этому, кстати, был причастен покойный Виктор Некрасов: он меня рекомендовал. Потом, когда уже в Америке переводили роман, то Айзек Башевис-Зингер помог мне и согласился написать специально текст к этой вещи. Как видишь, я не могу жаловаться на то, что оказывался вне поля внимания.

В 1985 году я получил, благодаря французским изданиям, место в институте Международного Вильсоновского центра. Моим тогдашним директором был Джим Биллингтон – ныне директор библиотеки Конгресса. Как-то мы сидели с ним допоздна. До двух часов ночи, пили кофе из автоматов. Он мне рассказывал, что над комнатой, которую мне выделили, был наблюдательный пункт Линкольна во время Гражданской войны. И вдруг он бросает фразу, которая меня поразила: «Аркадий, Одесса – это же не город, это же страна».

Они очень чётко выделяли Одессу. Когда Украина получила независимость, меня некоторые не очень образованные американцы спрашивали:

– А где это – Украина?

Я говорю:

– Ну, Чёрное море... ну, что ещё... Одесса.



– А, Украина – это там, где Одесса! – всем становилось все ясно.

То есть я представлял культурный центр, часть Ойкумены, которая была им известна.

– Ты сумел сразу попасть в круг крупных американских, а не только русских, писателей. Но нас тут, как раз, больше интересуют наши писатели. Довлатов, Бродский... Тебе посчастливилось общаться и с тем, и с другим. Хоть пару слов о твоих встречах с ними.

– Я буквально через две недели после приезда стал печататься в газете «Новое русское слово». Надо очень хорошо понимать, что это был центр. Редактором был Андрей Седых – Яков Моисеевич Цвибах. Многие упоминают его как секретаря Бунина, но он был его секретарём только на Нобелевской процедуре. Что касается Довлатова, то мы десять лет с ним работали бок о бок. Довлатов печатал там, в основном, вещи, написанные в Союзе, новых вещей он очень мало сделал. Он написал там «Иностранку» и ещё несколько вещей... Он был занят на «Радио Свобода». Это каторжный труд. Это работа галерника! Тем, что его стали печатать в Нью-Йорке, он был абсолютно обязан Бродскому.

Бродский был очень популярен. У меня с Бродским не было особо близких отношений, но я его хорошо знал. И когда я предложил ему написать очерк о нём... Это была книга о еврейской ментальности. Мандельштам, Пастернак, Бабель, в первую очередь... Багрицкий, Гроссман, Эренбург, Светлов, Шварц... хотя Шварц – это особая статья. Бродский мне сказал: «А какое отношение я имею к еврейству?». Он, кстати, ни разу не был в Израиле. Однако я был готов написать этот очерк. Но случилось так, что его смерть опередила мои намерения. И уже после его смерти я написал большой очерк на страниц семьдесят. Называется он «Александрийский многочлен» – звучит несколько странно. Многочлен имеется в виду алгебраический. Дело в том, что среди моих друзей в Штатах был выдающийся математик, он трагически погиб – Боря Мойшензон. Он вошёл в математику XX-го века термином «пространство Мойшензона». Боря рассказал мне, что ещё в древние времена появился тип иудео-эллина. Это связано с Александрией, в которой были знаменитая школа и библиотека. Я заинтересовался эллинистическими корнями творчества Бродского и его римскими мотивами. У Мандельштама мне было понятно: в старых еврейских семьях, а одной из таких была семья Мандельштама, так или иначе, был жив интерес к эллинистическому периоду. Но откуда у Бродского? Сын советского служащего...

– Ну, он сам себя сделал.

– Конечно, но он шёл от Мандельштама. И я могу рассказать пикантный случай. Когда я работал в Русском институте в Гарварде, Бродский получил Нобелевскую премию и приехал к нам. Я публично задал ему вопрос: «кому вы больше всего обязаны своей поэзией, если говорить об истоках?». Он сказал: «Да, Мандельштаму. Мандельштам самый большой поэт XX-го века. Да, самый большой...». Потом, через некоторое время ему опять задали этот вопрос, он говорит:

– Нет, я поправлюсь: самый большой поэт XX-го века – Марина Цветаева.

– Но вы же только что сказали...

– Да? Я говорил? Может быть...

И такая история была с ним всегда. У меня была достаточно сложная задача – рассказать о Бродском как можно более объективно и при этом как можно более полно. Чтобы понять Бродского, надо знать Горация, Вергилия, Овидия. Допустим, он пишет о Долабелле, публика не знает, кто это. Оказывается, был такой консул. Он увидел где-то его мраморный бюст с полотенцем через плечо. И он обращается к нему, к тем временам.

– Аркадий. Ты в Одессе для того, чтобы собрать, уточнить некоторые детали для романа. Можешь ли ты в сегодняшней Одессе найти людей, которые помогут тебе оживить и расширить круг памяти?

– Женья, ты меня этим вопросом поставил в несколько неловкое положение. Потому как ты сам уже адресовал меня к таким людям. Конечно, это прошлое, воспоминания, но осталось ещё нечто от того времени. Моё правило такое: роман – это художественное произведение, но там, где речь идёт о конкретных событиях, которые имели место в истории, надо быть абсолютно точным. Если я не уверен в точности, то мне придётся отказаться от данного эпизода.

Вот тебе пример. Если ты помнишь, была такая знаменитая история Соляника, который был Героем труда, бил китов. И вдруг в 65-м году стали бить самого Соляника. В «Комсомольской правде» появился фельетон Аркадия Сахнина о том, что, мол, нет порядка, так сказать, в Датском королевстве, что люди там поставлены в очень жесткие, чтобы не сказать, жестокие условия. Я недостаточно знаю эту историю, но есть люди, которые оказывают мне содействие, и я надеюсь в ближайшие два-три дня получить эти материалы. Ещё я ищу материалы о холере в Одессе. Третий том заканчивается свержением Хрущева, 1964 год. И, естественно, во дворе это событие обсуждают.

– Как сегодня тебя воспринимают в твоём дворе? Тебя ещё кто-нибудь узнает?

– Несколько лет назад, когда я приезжал, ещё было с кем поговорить, ещё были люди, которые делали мне «еврейский комплимент»: «Слушайте, а вы не изменились», – я понимал, что постарел. Сейчас я могу зайти в любой другой двор в Одессе почти так же. Да и двор сам тоже изменился – его застроили. Но, так или иначе, это всё-таки родное место. У меня происходит некоторое раздвоение: с одной стороны – Одесса, которая живёт во мне, а с другой стороны – Одесса, которая открывается моим глазам. Я пришёл на Греческую площадь и увидел это новое здание – там «Таврия» и т.д. Мне приятно, что нижняя часть здания, восстановлена по историческим эскизам, но эта надстройка, она меня коробит, хотя я понимаю, что надо, чтобы и коммерческие интересы удовлетворялись. Но хочется, чтобы сохранились и архитектурные приметы XIX-го века.

– Ты с 90-х годов в Одессе бывал многократно, активно помогал в создании свободной экономической зоны, хотя сейчас она, кажется, будет разрушена. Каково твоё впечатление от Одессы сегодня и Одессы в 90-м году – за годы перестройки?

– Для меня Одесса – это средиземноморский город, город со средиземноморской культурой. Я это и до отъезда понимал, а после того, как побывал в Барселоне, в Неаполе, Генуе, Марселе, убедился в этом совершенно отчётливо. Не потому, что Одесса похожа на эти города, хотя есть определённые места, напоминающие Одессу. Но атмосфера очень близка. Это совершенно особое дружеское расположение ко всякому человеку – они всегда разговаривают как бы с близким человеком. Даже скандальные сценки отмечены таким семейным началом: я вас знаю, вы меня знаете, так что вы тут мне не рассказывайте... Это характерная черта природы человека Средиземноморья.

– Я удивляюсь, почему в Одессе до сих пор нет «Коза ностръ»?

– Потому, что людей, пригодных для этого дела, ликвидировали. Помнишь, у Бабеля – Фроим Грач.

– Кстати, о Фроиме Граче. Мне всегда казалось, что ты вырос на советской литературе, на Катаеве, Симонове и т. д. Но я понимаю, что без Бабеля не было бы писателя Аркадия Львова. Например, «Горячее солнце Одессы»... Бабель говорил, что в русскую литературу вливается вот этот солнцепёк Одессы, и он даст свои плоды. Ты прочувствовал это сам или книги Бабеля легли в основу твоего мироощущения?

– Они не то чтобы легли в основу моего мироощущения – они отвечали моему мироощущению. Но если говорить о художественной ткани, то действительно заставлял вибрировать струны моей души не «Белеет парус одинокий», при моих самых близких отношениях с Катаевым – я с ним очень тесно общался. Это, конечно же, бабелевские рассказы. Хотя я прекрасно понимаю, что «Одесские рассказы» – это стилизация, а гениальна, с моей точки зрения, «Конармия». «Одесские рассказы» – это миф.

– И твой «Двор» – это тоже миф. Мифотворцам слава!

АЛЕКСАНДР ПЕТРУШКИН

СРЕДИ НЕПЛОДОРОДНЫХ СЛОВ ТВОИХ

Течение птиц, которым речь суха,
как книга в золотом сеченье вдоха
и бритва тишины разделена
постскриптумом из сурдоперевода,

растёт проколом в зобе [изнутри]
венозных птах, скрученных в жгут крови
падением в фотографию, в разводе
бензиновом локтя её хрустит
тьма гальки, возвращённая природе.

И тяжестью соломенной легка
её река в иной реке, с другими,
не уберечь от участи меня
она идёт, но чтобы опрокинуть,

чтоб утратить от уст моих ключи,
переливаясь то зерном, то страхом
... всё говоришь себе: молчи, молчи
свинцоголовых птиц,
чей клюв из праха.

ТОТАЛИТАРНЫЙ ДИКТАНТ

Медь сосны шлифует сторож.
Ты кого узнал здесь? – спросишь.
Тёмный профиль скомкан, сброшен
в угол зренья, как экзамен, и пловец бликует в Каме,
обращая лик и душу
в чайки кованный гекзаметр.

Тот, что внутрь, а не наружу,
катакомбами народа пробирается на стужу,
в поиск вбив тоску к искусству,
дождь голодный разговора,
где на грунта корж дешёвый
гвоздь крошится словно рёва.



Рыжий или конопатый
ангел пятку в полвторого
чесет водосток: справа
кровь и слякоть наизнанку
сочиняют свету тело
и укладывают в мамку.

Только стук дождя сферичен,
и огромный снег в усталом
насекоме накренился в два мгновенья, как овала,
где тотально, но вторично
смерть, как свет, в лицо ложится
и шуршит ребёнком справа.

Доеденный лисой собачий лай,
подобраный – где лыжник леденцовый,
на палки продавающий снежок –
летит как тень с оторванной спиной,

летит, сужаясь в эхо, тянет R,
в дагерротипы встав на половину –
когда пойму и эту чертовщину –
ты зашифруй меня скорей, скорей

чем эта необъятная страна
на клетку влезть почти по-черепаши
успеет, путая следы сякой судьбой –
что, если вдуматься – вопрос почти вчерашний,

Что слухом видишь? – пса с собакой гул
неразличимы тёмной тишиною –
и если лыжник только что заснул,
лыжня его становится норую

широкой – как бывает снегопад
растёт над людом местным и неместным,
когда его какой-нибудь бомжак
в окошке наблюдает слишком честно.

Рассыпавшись, вернутся, как фонтан,
два тополя, запутавшись в кафтанах
детишек, что скребутся в рукавах
у воздуха морозного. Как ранка

не заживает голос тощий мой –
доеденный, как время, ненадолго –
бежит лисой с оторванной спиной
и лыжник спит пока ещё негромко:

когда – открывшись сбоку – ему бог
то в морду, то за спину мёртво дышит –
не приведи, Господь, так долго жить,
чтоб довелось – и вымолить, и выжить.

42. АПОЛОГИЯ ВДОХА

В мыльный пузырь своего живота
осень древесный взрывает скелет
выдоха [в смысле – окружность плода
режет [на две тёмных сущности] свет]

и начиная молчанье [как дождь]
входит в дом женщина – мягкий её
[дудочкой названный шелестом] сон
в лодке из слуха по днищу скребёт.

Рвётся ли ткань или это вода
в жажды воронке закручена внутрь?
так в сентябре и шестого числа –
сорок два года пытаюсь вздохнуть.

Нас завершает математика и пёс
реки, сложивший руки на коленях,
горит то наизнанку, то внахлёт
и смотрит, как в нём тонет поколение.

Он по колено надо мной стоит,
бормочет сумасшедших, как старухи,
то насекомых, чьё лицо из бритв,
то алкашей, которые не в духе

следят за ним – ослепшие, и я
плыву в его окаменевшей коже
и понимаю: следующий я –
с одним из сумасшедших этих схожий.

БАРАБАН ИММАНУИЛА

Вадиму Месяцу

С утра лежал в нас дождь, потом бежал
вослед костям наполеонов местных.
И свет пейзаж безлюдный освещал
и резкость наводил в лорнет раскосый.

Им путь был в Томск – дорога высока,
и рядом, как пила визжал, четыре
эпохи Чкалов из нутра моста,
которому всё это вдоль, по вые,

по морю Кёнигсбергскому читай,
кури гашиш, глазей в сухие ветки.
Смотри, как этот ржавый мистер Шмидт
становится вальтером, и не метким,



ленивым [словно ночь глушил бензин],
крылом исправил всю береговую.
По канту ходим мы среди могил
и каждую целуем, как живую.

Я перейду в любой иной язык,
в латиницы – коль станется – вериги,
и баржами в Тыдым свой отпльву,
где нас могилы ждут [и все живые

с утра лежим в дожде, в дыму, в плену,
в угаре – будто слово мимолётном],
где сухомятку бог плавёт во рту,
вскрывая нас за коньяком неплотным.

То склонится вода вертикально,
разбедая земли леденец,
то окажется воздух летальным
и оставит на жабрах рубец

у меня, выходящего долго
из собрания плотных колец
годовых, перечёркнутых кроной
и детьми, что купаются ей.

И останется только природа
недопонятой этой воды,
что насквозь вытекает из лёгких
разрывных, что от счастья легки.

Порезанный на длинный дождь Орфей
спускается обратно, понимая,
что одиночество нигде не настаёт,
что он живёт, себя не разливая

когда ещё и мир неразделим
и неразмечена до тьмы архитектура,
и дно, что меж рогов холма горит,
напоминает воды те, что утром

по маякам разметит инженер
чтоб их замолвить в численник столетья,
порезавшись о бритвы этих вод,
те, из которых сделан он, бессмертье

своё предчувствует, как наказание, он
и видит пчёл, что свили сон из служки
его, и проливной козлиный стон
стоит [как столб огня] всегда снаружи...

Но если он внутри – то эхо, что
блуждает в сотах, лепленных из жажды,
которой он – как время – растворён
хоть будущего нет, куда однажды

он взглянет из своей пустыни, из
пути, который не приводит к воле,
где дождь прекрасный, как лицо, лежит
и звук его насквозь, как кедр, колет.

В.К.

Не путешествуй с Гоголем, и не
стирай, как летаргический иней, с глаз
изображенье мёртвое бровей
деревьев – тех, что точно не для нас.

Поворотившись сынками в гробах,
мы повторим заученный отказ
от мира, что – как взрослых – нас надул,
и от того, конечно же, не спас.

И потому в урановых руках
идёшь, как гоголь, чтобы спать, как псих,
и стрелочник летает между гланд,
среди неплодородных слов твоих.

И потому – на Каме заводной
всплывает осень из пластов земли,
расчѣсывая плоти твоей пятна
до хохота, что спит в комках золы.

К кому не подойди – во всяком путь:
болото спит без дна, взглядевшись в жуть
опущенного, что Москва, абрека,
который входит в образ человека.

К кому не входись – всякий был на ключ
с рожденья заперт – стыден и горяч –
просматривает слайды, или – рая
границы, точно зренье, расплетая

финальная декада декабря
на земли смотрит: ни фи́га. Скорбя
проснувшись, входит в образ человека
бутылка снега – обрезает веко.



Кем вписан мир в зрачок своей же смерти [?]
и рассечён, как тополя живот,
что в стаде липовом идёт, от края третьим,
на водопой. Из всех своих свобод
он выбрал человека, что за берет
взглянуть поспел и вслед плотве пропал,
и там, внутри себя, он крутит голос –
как ключ к часам, которые сломал.

На протяжённой кровавой ладони
спит отблеск Брайля в костяном сверчке:
кого своим касанием он тронет –
воронкой скальпеля в соломенном зрачке

тот отплывёт на лодке серединой,
что побережьем поросла, как мгла,
и в нём течёт по стае воробьиной,
которую с собою принесла.

И слева-вправо речь перебирая,
перевираю мир, как будто он –
припоминанье и граница рая,
и защищён качелью, как сверчком.

ЛАДА ПУЗЫРЕВСКАЯ

ВЕК ЭПИЛОГА

ЗДРАВСТВУЙ, БОГ

Ну, здравствуй, Бог. Молиться не проси,
скажу, как есть – к чему мне эта осень?
Таких, как я, немало на Руси,
не нужных вовсе,

не годных ни на бал, ни на убой,
себе не близких и чужих друг другу.
Смотри, смотри – с закушенной губой
бредём по кругу.

Рассвет теперь страшнее, чем закат,
за сумерки готовы разориться,
пока ты наблюдаешь свысока,
чем в этот раз закончится «зарница»,

пока рисуют пули вензеля
и плачут дети: Боженька, помилуй...
Их страх устала впитывать земля,
а смерть, смеясь, вальсирует по миру.

Что ж мы? Покорно глядя в монитор,
считаем дни и ждём дурные вести –
не то скамейка запасных, не то
груз двести.

Пока сплошной отделены двойной
от плачущих теней на пепелище,
предчувствие войны грозит войной.
Мы потерялись, нас никто не ищет.

Без плащ-палаток, ружей и сапог,
идём на свет в опшётках ржавой пыли,
чтобы успеть сказать – спасибо, Бог.
За то, что – были.

ЗВЕРЬ

выходя из подъезда, старательно держим дверь – не боясь, что прихлопнет, а чтобы он тоже вышел, жарко дышащий в спину, топочущий сзади зверь, горько плачущий ближе к вечеру. смотрим выше за верхушки деревьев, дома, провода – туда, где лыжня самолёта к подъёмному жмётся крану, словно здесь его горе, а дальше – совсем беда, где саднит горизонт, в котором мы видим рану.

глянь, по-прежнему бьётся, пульсирует и болит столбовая дорога в смертельно любимый город. где, не знавшие страха, мы верили в монолит восковых наших крыльев, дети... а зверь упорот и рычит, и хохочет, и хочешь, не хочешь – верь, что однажды, восстав, будто феникс, в окрестном спае, тьму тасующий между закатами, нежный зверь нас добьёт, улыбнувшись ласково. наша память.

ТЁМНЫЙ ЛЕС

Она говорит: я выращу для него лес.
А он говорит: зачем тебе этот волк?..
Не волчья ты ягода и, не сочти за лесть,
ему не чета. Он никак не возьмёт в толк,
что сослепу просто в сказку чужую влез.

Смотри, говорит: вон я-то – совсем ручной,
а этот рычит недобро, как взвоят – жель.
И что с него проку? И жемчуг его – речной,
и в доме – опасность, слёзы и волчья шерсть.

Она говорит: но росшие взаперти –
мне жалость и грусть, как пленные шурави.
И кто мне, такой, придумывать запретит
то небо, в котором – чайки. И журавли...

А он говорит: но волк-то совсем не в масть,
он хищник, не знавший сказочных берегов,
и что будешь делать, когда он откроет пасть,
ведь ты не умеешь, кто будет стрелять в него?

Она говорит: а я стану его любить,
взьерошенным – что ни слово, то поперёк,
больным и усталым, и старым, и злым, любим.
А он говорит: а волк твой – тебя берёт?..

Как в «верю – не верю» играют на интерес,
ничейная жизнь трепещет, как чистый лист.
Но сколько осилишь ведь,
столько и пишешь пьес,
ищи свою сказку, их всяких здесь – завались.
А волк всё глядит и глядит в свой далёкий лес.



НЕ ТА ИГРА

уйму недобрый холодок по вене я,
а ты мне на прощанье расскажи,
что смерть уже давно не откровение,
скорее – жизнь.

сама на ровном месте спотыкается,
а всё ответов просит, где ж их брать.
грешить легко, куда труднее каяться.
в чем сила, брат?

не в этой правда осени, горюющей
о карте мира, что не так легла
на золото, а только говорю – ещё
не та игра.

не те знамена и знаменья плавила,
не тех бойцов сгоняла на парад,
пора менять доску, фигуры, правила,
и нам пора.

в чём сила, если не хватает дерзости
построить дом стеклянный без стропил,
а камень, что за пазухою держите –
всё, что скопил.

ВОРОНЫ

Странно, но кажется крепко затянутой рана
а просыпаешься снова ничком, дрожа
словно по памяти, что не слабей тарана,
под старые песни о главном. Эффект ножа
имеют старые письма, не дай Бог вскроешь,
старые фотографии и стихи.
Бог-то даёт, ты веришь, что он твой кореш,
а не создатель этих лихих стихий,
где ты не первый год, опустив забрало,
молча стоишь, как памятник всем святым,
вынесенным со свистом – но их собрало
что-то другое всех вместе – не я, не ты.

Вспомнишь, как мы отчаянно загорали,
словно и не было долгих промозглых лет,
словно война, как тогда была, за горами,
и ничего в этом ветреном мире нет
первого слова дороже, честней и чище,
верно, искать второе – напрасный труд,
в наших подъездах не вывести табачище,
как их чужие леди теперь не трут.
В наших головушках не извести ни лета,
ни февраля, где с горя танцуют все,
кто без чернил. И спорил бы кто – нелепо
жить, словно всё ещё бегаешь по росе,



словно нас всё же вывезла вверх кривая,
словно не стёрт с горячечных губ кармин,
лучшие сны наши словно бы не склевали
вороны – те, которых ты, брат, кормил.

ПОХОДНАЯ ХОРОВОДНАЯ

где же вы, богатыри, братцы, где же вы
вдоволь небо откровит, станет бежевым
заржавеют речки все – станут мёртвыми
да как вдарит по росе ливней мётлами

лишку сказочных страниц наклепали вам
от скрежещущих границ тянет палевом
жёстко спитесь в мураве, мягко стелется
зря гадает, кто правей, красна девица

будет на ночь обнимать кто теперь её
не вернуть отца и мать, где терпение
досмотреть, как горизонт, будто порами
дышит, да какой резон, сгинем скоро мы

лишь иван наш, ну дела, беса пас пасти
закусил вдруг удила безопасности
ишь, привыкли за «банзай» хороводиться
а чуть что – давай, спасай, Богородица

с огоньком, гляди, палят, с пантомимами
жнут нечистые поля, падут минные
да с таким, скажу я вам, бредят грохотом
по невинным головам, братцы, плохо там

пусть хоть некуда бежать человекам – у
ненасытной бездны жать больше некому
лучше странствие, чем плен, руки заняты
словно умер в конопле со слезами ты

да очнулся – нет, как нет, ясна солнышка
вот нам видно и ответ – Отче зол наш как
на верёвочке луна всё качается
знать бы раньше, что война не кончается

БРАТУ

Мы вышли из города, полного смутной печали
и ясных надежд,
застревающих в божьем горниле,
но мы говорили слова и за них отвечали,
и ветер, качающий землю, с ладоней кормил.



На стыке веков солнце вечно стояло в зените,
дымящийся купол полжизни держать тяжелее.
А помнишь, как верили – хоть на бегу осените,
и счастливы станем, совсем ни о чём не жалея.

Но ангел-хранитель то занят, то выше таксует,
а наших, как жемчуг, таскает небесный нырлящик.
Привычка грешить так всерьёз, а молиться – так все,
любую судьбу превращает в пустой чёрный ящик.

Не плачь же со мною про эту бесхозную пустошь,
где редкая радость букет из подножных колючек.
Мы пленные дети – случайно на волю отпустишь,
бесстрашно теряем от города новенький ключик.

ЭТО ВРЕМЯ

это время вышедших из себя
ожидать любые метаморфозы –
посмотри, как летят, обречённо сипя
опоздавшие паровозы.

это время выплывших из сети,
все земные китежи покорившей,
оглянуться на свист и услышать: сиди!
замереть измождённым рикшей.

это время снова считать цыплят,
и бахвалиться слепотой куриной,
а кудахчущих рядом настырно цеплять
перспективную статью периной.

это время выпавших из гнезда
караулить вспышку, как вор малину,
и следить как, дымясь, догорает звезда
в поле, сдобренном формалином.

это время вверх перестать расти
и, вернувшись с грацией каннибала,
только плакать и петь, повторяя: «прости,
впереди-то ни судна, наверняка, ни бала».

ДЕРЕВЬЯ БУДУТ БОЛЬШИМИ

ты один в этой осени ветреной, оспяной,
закрывая лицо, бредёшь, обнимая сосны,
понимая уже, что молодость за спиной
не крылом прирастёт, а странным
горбом несносным.

как его не затягивай, этот живой рюкзак,
что туда не толкай на идише и латыни,
но в истёртую кожу вшивается снов горза,
вот и стынет.



умереть соберёшься – окажутся ночи длинными
и глаза не закрыть, и от звёзд никуда не деться,
а деревья в окно смотрят грозными исполинами –
как в детстве.

твой же съёжился мир почти до размеров спаленки,
за порогом хрустит и свищет – вот-вот октябрь,
где ты всё ещё слабый, ненужный,
больной и маленький...
так не трусь хотя бы.

INTER ARMA SILENT MUSAE¹

уж осень дымным шлейфом волочится,
а музы измождённые молчат.
из страшных снов угрюмая волчица
выводит обезумевших волчат –

скулящий ужас с ледяным прищуром
из смрадной опостылевшей норы.
как будто под небесным абажуром
вскрывается жестокости нарыв.

зверёнышей рычащая пехота –
и шаг всё твёрже, и оскал лютей,
и всё всерьёз, раз началась охота,
раз началась охота на людей.

и не с кем спорить о стыде и сраме,
покуда плач детей для них – ноктюрн.
живыми зачарованы кострами,
они навалят дамб, нароют тюрьм

и снова возвращаются. как тянет
их в это царство павших желудей
дороги расцарапывать когтями
охота. здесь охота – на людей.

¹ Inter arma silent Musae (*лат.*) – когда говорят пушки, музы молчат.

ЗАВТРА

Скользят по стенам листьев тень резная,
простывший город покидают птицы.
Мы остаёмся здесь и вряд ли знаем –
у Бога не бывает репетиций.

Так зёрна и не отделив от плевел,
бледнеем на глазах, да кто утешит.
Опальный возраст года, третий левел,
война войной, а призраки всё те же.



И что скрывать, ведь нас не волновало,
где правда будет в масть, а где – караться.
Заложники чужого карнавала,
предательски безмолвных декораций.

В упор не видя измождённых градом,
потешными прикинувшись полками,
мы смотрим, как вокруг растёт ограда,
пока вода лежащий точит камень.

Прожив чужую жизнь не без азарта,
надеюсь, что кто-нибудь разбудит.
Знать не желая, что же будет завтра,
наивно верим в то, что завтра – будет.

ВЕК ЭПИЛОГА

все эпилоги – попытка сказать «прости»,
иногда – поздороваться,
чаще – красиво выйти
из той самой воды, в которую – не врати
дважды – пробовал?

и ведь будешь сидеть и выть, и
ждать, когда проплывёт хотя бы не труп врага,
так его томагавк, а лучше – вязанка писем
о тебе и о ваших шансах копыта сбить и рога
самопальному богу, что так теперь независим
и уже не нуждается в ваших задорных «кү»,
но по-прежнему почитаем, чреват, приколен
и всё так же гордится дырою в левом боку,
но боится девочек в белом и колоколен.

отбинтуй ему неба, похожего на плакат –
пусть гордится участием, коли не смог участием,
доит розовым градом набухшие облака
и чужие итаки делит с братвой на части.
затаись, будто не было – верь, но не смей просить.
если знахарь – лечи, но ни-ни, не давай поверить,
потому что обманешь, не время кричать «позрит»,
это время больное, мечется и грозит,
это время последней охоты на тени зверя.
если плакальщик – плачь: живые же, если воём,
если клоун – смешни, закутай в цветные шали
всех бездомных и нелюбимых –
не тех еще воскрешали
а если воин –
не надейся, мол, после нужных слов ещё насорю,
а пока обойдусь штыковой лопатой, лассо и миной.

я умру на рассвете, позарившись на зарю,
у тебя же есть выбор – век эпилога длинный.

МИХАИЛ ЮДОВСКИЙ

КАЖДАЯ РОЩА СВЯЩЕННА

В каком-то тысячелетии – я не припомню в каком,
когда этот мир был голым и шествовал босиком
по диким высоким травам, по солнечному песку,
любовь принимая за голод и жаждой сочтя тоску –
тоску по чему-то большему, нежели был он сам,
земле поклоняясь трепетно и преданно небесам,
и строил зелёные храмы из шелестящих лесов,
связуя в одну молитву множество голосов,
когда в поднебесье радуга семью лугами цвела,
и по коре сосновой медом текла смола,
и в сотах пчелиных плавали золото и янтарь,
и лунный фонарщик в сумерках свой зажигал фонарь,

тогда я проснулся, кажется, тогда я глаза открыл,
почувствовав прикосновение тяжелых совиных крыл.
И виделось небо звёздное, и слышались голоса.
И чьи-то глаза пронзительно смотрели в мои глаза.

Зелень глубин всплывает песчаной мелью.
Воды топорчатся, сети полны улова.
Воздух пропитан солнцем, как карамелью –
губы слипаются, если промолвишь слово.

Выскользнув в небо, падает рыба оземь.
Солнце рисует на чешуе руны.
Я не пойму – вроде должна осень
тонкими пальцами рвать на дожде струны.

Рыжий багет, зелень, бутылка кьянти,
над головой сонно плывут души.
Ты шевелишь губами, сказав «отстаньте»
мыслям внутри и голосам снаружи.

Строен камыш, мелкий песок светел,
на поцелуй ловят стрекоз жабы.
Лишь иногда мир покачнёт ветер –
видимо, Бог в небе раздул жабры.



На переломе суток
царственно, как елей,
тёмно-вишнёвый сумрак
капает из щелей.

Тонким наплывом пятен,
списком чужих имён
буду с тобой закаты,
словно конец времён.

До синевы обрита,
в небе луна стогит.
Тихо плыви, Таврида,
стаей ночных ставрид.

Вынырну из расселин,
выползу на порог –
твой светоносный эллин,
твой иудейский бог.

Волны твои и скалы
переберу в горсти
и прошепчу устало
сдавленное «прости».

Я с одной стороны, ты с другой стороны.
Выпирающий угол кирпичной стены,
задевая края невысоких небес,
на крошащемся воздухе сделал надрез.

Ты с одной стороны, я с другой стороны.
Это страшно и странно – быть старше страны,
породившей тебя, отпустившей тебя,
то ли дверцей скрипя, то ли сердце скрепя.

Наши стороны врозь, словно стаи ворон –
я с одной, ты с другой, только нету сторон.
И почудится мне, повывавшему свет,
что тебя уже нет и меня уже нет.

Я по краю иду босиком, босиком,
то с зажжённой свечой, то с ночным светляком.
И случайной молитвой смутив тишину,
я тобой помянусь. И тебя помяну.



Мера воздастся за меру и мена за мену,
жатва воздастся за жатву и битва за битву.
Если прислушаться – каждая роща священна.
Каждое слово и даже беззвучье – молитва.

Я прихожу в этот солнечный храм как язычник,
я растекаюсь янтарно по стенам и сводам,
голосом крови, солёным, багровым и зычным,
сердце озвучивший горным и дольным породам.

Тьму прожигая светящимся оком окурка,
татуирован зелёными иглами хвои,
странствую капищем рощ, полубог-полуурка,
в поисках древнего смысла и девственной Хлои.

И прорицаньям с божественной слепостью веря,
скалясь ответно небесных созвездий гримасам,
я открываю в себе первобытного зверя
и вдохновенно кормлю его собственным мясом.

Я видел сны – причудливые сны.
Негаданны, непрошенны, нелюбы,
они наружу лезли, словно зубы
из розовой младенческой десны,

и бредили, и мучили меня,
и лиственно шуршала простыня,
как будто под ветрами осыпаясь.
И сны мои, густея, как белок,
жевали одеяла уголок,
изнемогая, но не просыпаясь.

Молилась ночь, не раскрывая рта,
и забродившей массой темнота
в бочонке спальни, как вино, крепчала.
И только отдалённая стена,
оскалившись отверстием окна,
беззвучно и отчаянно кричала.

И отзывался цокот каблуков
на медленно светлеющей брусчатке,
и утро из-под тёплых облаков
высовывало розовые пятки.



Запах прелости и прелести.
Старый клён Иван Иванович
листья, как вставные челюсти,
оставляет в луже на ночь.

И глазами высокосными
созерцает небо в звёздах,
обнажившимися деснами
пережёвывая воздух.

Я высился фабричною трубой,
из вечной мерзлоты вылезал бивнем,
когда серело небо над тобой,
с утра опохмелившееся ливнем.

И чувствуя на сердце листопад,
я становился влажен, гол и чёрен,
разбрасывая камни невпопад
и отделяя плевелы от зёрен.

Разламывались искры о кремень,
чадили войны, пастыри кадили –
от красного асфальта Теньаньмэнь
до тихого кафе на Пикадилли.

И подступала чуждая тоска,
и распозалась родственная смута –
как будто я от сердца до виска,
забыв себя, принадлежал кому-то.

...а мир состоял из сотен
подъездов и подворотен
(в которые я был вхож)
и, взбалмашно авантюрен,
распахивал двери тюрем,
дворцов и масонских лож,

меня приглашая внутрь,
где розовый перламутр
на стенах слоями рос,
стояли колонны строго,
и спиртом единорога
морочил единорос.



Сочтя на пути ступеньки,
со звоном катились деньги
по ломким хребтам держав,
и хмурый с похмелья сумрак
монеты бросал в подсумок,
с патронами их смешав.

Не выпив с утра ни грамма,
городивый спал у храма,
ресницами шевеля.
И было темно и сыро.
И Бог отдыхал от мира –
как вахтенный от руля.

Вечерний город глотает коктейль неона,
играет мышцами улиц, строений глыбы
взвалив на плечи. Я странствую, как Иона,
по чреву этой огромной кирпичной рыбы.

Густеет небо в почти незаметных звёздах,
латунный месяц до боли в глазах надраен.
Вдыхает тело холодный осенний воздух,
раздвинув жабры глухих городских окраин.

Зима уже близко. Пока мы не околели
внутри этой туши – без света, тепла и Бога –
я для тебя сыграю на укулеле
и приготовлю пару стаканов грога.

Выпей немного, зубами стуча о грани.
Мир здесь, конечно, тёмн и углекисел,
но погоди – я выращу куст герани
из алфавита и умноженья чисел.

Зыбкое время вербует секунды в челядь,
сонно зевает, смотрит тоскливо в лужу.
Кажется, рыба скоро раздвинет челюсть
и апатично выплюнет нас наружу.

Там – те же осени, те же, наверно, зимы.
Только мгновения тянутся там веками
и проплывают, как древние рыбы, мимо,
чуть шевеля тяжёлыми плавниками.

Темнеет так, что даже шторму
непоздорову. Чаек рать
клюет корму, грустит по корму
и улетает умирать.



Вечерний свет, чернильно-синий,
течёт по кромке ватерлиний,
плывёт кругами по воде
и ощущает отторжение.
Дробясь на части, отражение
звезды потворствует звезде.
Залив ворочается хмуро
у побережья взаперти,
втянув ноздрей через кушюру
дорожку Млечного Пути.
Простор зеваёт пустотою,
перекрестив зиянье рта
за той последнею чертою,
где нет, похоже, ни черта.
Ты подбираешься к порогу,
приблизив дальний огонёк,
как одинокий ближе к Богу –
который так же одинок.

Когда мой дом покинет человек,
страдая от осеннего похмелья,
когда щетину тридцатьземелья
покроет пеной бритвенною снег

и чётко отпечатает следы
покинувшего дом мой человека,
и жизнь перетечёт из века в веко
чахоточным мерцанием слюды,

тогда в почти кромешной темноте
взорвётся время, прожитое даром,
и чайник, задыхающийся паром,
меланхолично свистнет на плите,

и выскользнет из пальцев оберег,
смутив миры и потревожив войны.
И станет в доме пусто и спокойно –
когда мой дом покинет человек.

И собственные сущности дробя
в хмельном угаре самоотторженья,
я мельком посмотрю на отражение
и не увижу самого себя.

Я стерегу последний мой редут,
прошелестев рукой по всем октавам.
И сумерки мохнатым волкодавом
мне на колени голову кладут.

НИКА БАТХЕН

ЧЁТКИ ЧУЖИХ ГОРОДОВ

ИГРА В ГЛЯДЕЛКИ

Чтобы увидеть себя – не смотри в зеркала.
Врёт серебро, неверна амальгама потерь.
Каждому кажутся крылья, корона, стрела,
Каждому видится только пятно в пустоте.

Чтобы увидеть себя – не ходи к роднику.
Рябью вода искажает любые черты.
Выпей до дна, улыбнись своему двойнику,
Каплю сотри со щеки – это будешь не ты.

Чтобы увидеть себя – не спеши в облака.
Не полагайся на чётки чужих городов.
След самолёта – кудрявая роспись мелка.
Тронулся поезд, а ты уходить не готов.

Бремя людей – не радеть о чужих чудесах,
Таять в толпе, трижды в день отречься любя.
Если сумеешь хоть раз отразиться в глазах –
Станешь живым. Вот тогда и увидишь себя.

ШТОРМОВОЕ

На пороге осени – обернись,
Солнце надрывается задарма,
На границе Ниццы тускнеет синь,
А навстречу Крыму спешат шторма.

Шторки законные – в клочья, влёт.
Сучья тополиные – в треск и хруст.
На стене барометр снова врёт,
В этой части суши усталых уст

Не целуют жадные рыбаки,
Им важнее, скоро ль придёт кефаль.
Рыбаки работают на долги.
Перетрут в кафе, кто кого *каха!*



И опять за сети – богат улов.
Если шторм отправит свечой на дно,
Шапку пустят в море без лишних слов –
Так у них от греков заведено.

И опять – Петруха, крути мотор,
На охвостье мыса веди баркас!
А вокруг кипящий земной простор,
Злые скалы скалятся напоказ,

Бьёт дождём по рожам, по седине,
Хлещет вдоль по борту, срывая снасть,
Эта жизнь, бродяга, – она по мне.
Эта смерть, приятель – она для нас!

Кто отведал моря солёный сок,
Тот в Крыму не пасынок, не чужой.
Бескозырку выбросит не в песок –
На колючий яшмовый пляж Орджо.

...Ты себя, хороший, не береги,
Разве много счастья на берегу?
Видишь – возвращаются рыбаки.
Я навстречу с пристани побегу.

ПРОШЛОСТЬ

Моя печальная любовь – открытка с ангелом курчавым,
Сафьянный пыльный переплёт, страница в росчерках пера,
Неторопливый пакетбот, не покидающий причала,
Путеводителей на юг неодолимая пора.

Нет смысла спрашивать куда, искать сочувствия и жара –
Саднит прохладцей поцелуй, бесценный, но не дорогой,
Беда не стоила труда. Привычки старого клошара –
Следы сворачивать петлёй и земаю пробовать ногой.

Синицы осени в стекло ретиво клювами стучатся,
Сестрицы бедные – зима утешит, но не пощадит.
Мой нежный друг, пока светло, возьми себе кусочек счастья.
Стучи по клавишам, внимай, о чём нашёптывал петит.

Билеты прячутся в пальто, тоска смывается дождями
Квартал фонарщиков кружит амуров в профиль и анфас.
Я – атипичное не то. Ты пятый туз к бубённой даме.
Но злая смерть, как вечный жид, пройдёт путём, не тронув нас.



БЫЧЬЯ ПЕСНЯ

Тавро Тавриды вбито под ребро,
 Оно неразличимо чужаками.
 Следы быков заполнены жуками,
 Следы полков царапает перо.
 На летописи глины и воды,
 На каменной ухмылке византийца
 История смолкает – не проститься,
 Лишь посмотреть – кто новый поводыррь.
 Сюда приходят тысячей путей –
 Небесный шёлк, турецкая галера,
 Ухмылка площадного кавалера,
 Хаммам для хама – прибыл так потей.
 Без пота не взойдёт ни виноград,
 Ни минарет, ни стены мавзолея.
 Чумной закат румянится, аляя.
 Дрожи, космополит и технократ!
 Когда музон беснуется в кафе,
 На плоскость охреневшего танцпола
 Выходит босоножка тавропола
 Зовёт быков на аутодафе.
 Гора рогов, протяжный злобный рёв,
 Один удар священного кинжала...
 Бил человек. Земля воображала.
 Такого не видал и рабби Лёв.
 Такого не слышал и караим,
 Припав к прохладной вечности Завета.
 Все были приплецями. И за это
 Мы сним о Нём. И в разноеверье – с Ним.
 Не тавры мы. Не азиаты. Не
 Понтийцы с подведёнными глазами.
 Не толмачи. Но каждый сдал экзамен
 И расписался шагом на стране.
 Таро ворот. Тавро для дураков,
 Для бывших – чей, оставшихся ничьими.
 Возьму себе таврическое имя.
 Нарву руками
 Зелень
 Для быков.

РОЗНИЦА

Чёрный дуб. Корявый корень
 Непреклонен, непокорен.
 Речка – чёрная волна.
 Лён и пламя. Пей до дна
 Дух полынный, дух тимьянный –
 Стихнет ветер, станешь пьяный,
 Скажешь правду – что в Крыму
 Неуместно одному.
 Виноград, кизил, черешня –
 Каждый парный, каждый грешный,



Даже яблоки – смотри –
 На ветвях по два, по три.
 Даже горы встали рядом
 В белых облачных нарядах
 Даже маки всей земли
 В одночасье зацвели.

...Карадаг чернеет грозно –
 Только люди ходят розно.

ОРЁЛ И РЕШКА

Покидая навеки отцовский кров,
 Оставляешь реки, следы коров,
 Талый снег обочин, гутьбу грачей,
 Горечь хлебных корок, печаль печей.

Покидая навеки отцовский кров,
 Рассыпаешь перец и соль ветров,
 Ни мешка в дорогу, ни посошка,
 Только мокрый куриный овал божка.

Покидая навеки отцовский кров,
 Видишь – хорохорится град Петров.
 От каре Сенатской пинком в Кресты.
 Проживу без рыжих бродяг – а ты?

Покидая навеки отцовский кров,
 Забываешь стулья, узор ковров,
 Детский вкус компота и пирога,
 Сладкий холод царского пятака.

Покидаешь – кинут. Пройдут года.
 Выстроят парковку на дне пруда.
 Улицу Труда назовут бульвар,
 Поменяет цену любой товар.

Полиняют смыслы знакомых слов,
 Горнолыж подвинет подлёдный лов.
 У соседей дети, коты, зятя
 И кутя на блюде... Сиди, судья!

Как зовут – Арье, Никола, Мишель?
 Думал – кинул в мусор. Попал в мишень
 И попал на кладбище кораблей,
 Красных флагов, жёлтых смешных рублей.

Ностальгия – самый паскудный грех,
 Ты сжимаешь прошлое, как орех –
 Мол, вернусь богатый, лнхой, бухой...
 А внутри труха и червяк сухой.



Покидай – навеки. Хоть в Крым, хоть в храм.
Паруса привыкнут к любым ветрам.
Оставайся – честно. Крепи кровать,
Чтоб потом о прошлом не тосковать.

САМОЛЁТНАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Когда ещё случится встретиться?
Дожди бегут, часы спешат.
Большая звёздная медведица
Пасёт на небе медвежат.

Ведом неверными приметам,
Покинь перрон, взойди на трап!
А медвежата за кометами
Спешат со всех неловких лап.

Земля дорогами расчерчена
Из Рима в мир, из сердца вон.
Луна тяжёлая, как женщина,
Садится в облачный вагон.

Прямой полёт – прямая выгода,
Салон заполненный на треть.
На небе нет иного выхода –
Свети, когда не можешь греть.

Терпи причуды гололедицы,
Пиши по белому мелком.
Глянь – малыши Большой медведицы
Спешат за звёздным молоком.

...И ничего уже не сложится,
Ни суеты, ни багажа.
Лишь перемазанная рожца
И негасимая душа.

ЮЛИЯ БАТКИЛИНА

ЖИЛА-БЫЛА

Фрагмент большого цикла рассказов «Жила-была»

Жила-была девушка, которая хотела быть моделью. На завтрак она ела фитнес, на обед – маковую росинку, а на ночь есть уже вредно. Каждый раз, когда она приходила на какой-нибудь кастинг, ей говорили, что надо худеть.

Девушка, которая хотела стать моделью, худела. Потому что красота требует жертв, а особенно если ты собираешься увидеть Париж и умереть. Девушка иногда так хотела есть, что, в общем, как-то так свою поездку в Париж и видела. Она поднимается на подиум, принимает аплодисменты – и умирает. От голода. Маловато маковой росинки, если в тебе метр девяносто росту.

Каждый день она думала о том, хороша ли она для подиума, что о ней скажут да как посмотрят. И следила за стрелкой весов.

Однажды случилось счастье: девушка наконец дохудела до того, что Самый Великий Дизайнер Всех Времен и Народов пригласил её участвовать в своём показе. В Париже, конечно, на золотом подиуме, на серебряных шпильках. Гордая и счастливая, девушка, которая хотела быть моделью, собрала в чемодан маленькое чёрное платье и много средств по уходу за лицом, телом, мочками ушей и кончиками ногтей. Даже скраб для краешка левой пятки на основе ионов серебра, осинового кола и святой воды не забыла. Всю дорогу она нервничала, точно ли она правильно похудела, мазалась кремом и смотрела на часы.

И вот звёздный час настал. Девушка, которая хотела быть моделью, легко вспорхнула на подиум под свет софитов. И тут повеял ветерок, подхватил девушку – и она полетела. Легко, как пушинка.

– С бельём вы как-то не доработали, – сказал модный критик.

– Чёрт! Платье! – закричал дизайнер.

– Это конкуренты! – записали журналисты.

А Девушка, которая хотела быть моделью, увидела Париж. Крыши. Церкви. Клумбы. Кофейни Монмартра. Восхищенные взгляды, среди которых не было ни взглядов журналистов, строчивших статьи, ни взглядов дизайнера, переживавшего за платье, ни взглядов модных критиков, которые смотрели на бельё. Наконец по-настоящему увидела. И не умерла. А что с ней дальше было – об этом знает только она да ветер на берегах Сены.

Жила-была бабушка, которая думала, что она девочка. Носила жёлтый сарафан и веночек из ромашек. Шила кукол. Смотрела мультфильмы. И каждое утро, поливая на балконе цветы, пела песню Крошки Енота. У бабушки, которая думала, что она девочка, был полный шкаф нарядов и полный подоконник домиков из спичек. Иногда к ней приходили внуки, и вместе им было интересно, пока они не выросли. Потом внуки, как и положено, стали навещать бабушку все реже и реже, а она завела пятого кота и редкий вид фикуса. Однажды бабушка, которая думала, что она девочка, решила состязаться на конкурсе кукольных домиков. Домик у неё был самый что ни на есть интересный – с садом из маленьких бонсаев, с бассейном в довоенной пудренице, с крышей из крошечных черепиц, почти как настоящих – их делал



для бабушки младший внук, потому что видела она уже плоховато. И вот когда бабушка, счастливая и гордая, поднялась, опираясь на палочку, чтобы получить свой приз на ярко освещенной сцене, какие-то молодые люди в зале сказали: «Смотрите, старуха с куколками!», – и заржали. Это был скандал. Спонсор подавился вафелькой собственного производства, дети заплакали, пенсионеры потянулись за валидолом. А к возмутителям общественного спокойствия просочился участковый милиционер. Возмутители сразу заявили, что они нечаянно. «Ну должна же быть какая-то мораль у этой истории. Вредно считать себя девочкой, когда ты бабушка», – сказали они. «Пройдёмте», – сказал участковый. Он был внуком бабушки. А бабушка, которая думала, что она девочка, сказала только: «Какие странные люди. Парам-пам-пам». Потому что у этой истории нет морали.

Жила-была женщина без комплексов. Она была весёлая, храбрая и хотела всё попробовать. Прыгала с парашютом, загорала топлес, поднялась в Гималаи и спустилась в Марианскую впадину, создала мегахолдинг и продала его потом, потому что надоел. Пила, курила, бросала курить, каталась на лыжах и лежала перед телевизором, ходила по красной ковровой дорожке и по дырявым половикам. Ну, всё попробовать же надо.

Однажды ей встретился султан. Султан уже имел трёх жён, но тройной красоты ему было мало, поэтому он хотел четвертую жену. «Иди ко мне в гарем», – сказал султан и подарил ей широким жестом тихоокеанский остров и вертолёт. «А что там надо делать?», – спросила женщина без комплексов. «Ну, очень просто. Такой женщине, которая попробовала всё, это раз плюнуть. Ты будешь закрывать лицо, чесать мне пятки, слушаться мою старшую жену и бросишь все эти свои глупости. Хватит с тебя Марианских впадин, напрыгалась». «Бери вертолёт, – сказала женщина, – и полетай отсюда. На остров». А просто у неё не было комплексов, и поэтому она не боялась, что вдруг попробует не всё.

Жила-была дама с лишним весом.

Жили они дружно. Куда она, туда и он. Их часто видели вместе, и поэтому всегда обсуждали. Откуда он у неё, что она в нём нашла, как ей не стыдно появляться вместе с ним в общественных местах, откуда у неё в таком возрасте такие знакомства. Некоторые даже недоумевали, куда она смотрит, неужели она не видит, что он такой, сякой и портит ей жизнь. Она несколько раз пыталась расстаться с ним, но он находил её снова и снова, умолял, проникал тайком и ночью через незапертую дверь холодильника. И в конце концов она принимала его обратно, потому что ну что поделаешь.

А потом однажды она сняла фильм. Триллер о ней, о нём, о пустом доме и туманах в лесу. Это было так неожиданно, что все сперва забыли обсудить, похудела ли она предварительно. Потом-то, конечно, опять обсуждали. Такая талантливая женщина – и он...

Жила-была женщина, которая знала, как надо. Она родилась сразу в очках, потому что была очень умной. Акушерки эту байку потом передавали из поколения в поколение. Рождались на их памяти детки в рубашках, и в тельняшках, и один даже сразу после рождения фигу показал. Но чтоб вот появиться на свет в очках – так это никто. И когда спустя много лет эта дама рожала уже свою собственную дочку, то она так возмутилась услышанным, что даже об основном, так сказать, процессе позабыла.

«Кто так рассказывает! – кричала она. – Кто так рассказывает! Бессвязный бред какой-то». Дочка родилась и обиженно мявкнула. И счастливая мать подумала, что если немного поработать над голосом, то из ребенка когда-нибудь выйдет толк.

Самой большой печалью этой женщины было то, что её почти никто не слушал, кроме очень слабонервных, а из слабонервных, как известно, даже тяжёлым трудом сложно вылепить что-то приличное. Каждый день она сражалась. Давала советы, ругала, поясняла и даже рисовала диаграммы и схемы – лопаточкой, позаимствованной у дочки на время прогулок. Всё равно ребенок маленький, лепить пасочки, как следует, учить да учить ещё. А потом возвращалась домой, падала без сил на диван, требовала принести мокрое полотенце – на лоб. И говорила дочке: «Эти люди совершенно бестолковые, вот как жить, когда



вокруг такой бардак!». «Мама бя», – отвечала дочка. Акцент у неё был ужасный. Женщина, которая знала, как надо, стонала, глотала таблетку темпалгина и принималась звонить логопеду.

Жила-была дама с тонкой натурой. Она была такой утончённой, что, наверное, как принцесса из сказки, почувствовала бы горошину через пятнадцать тюфяков и одну перину. Только вот беда: принца у неё не было, потому что она жила в поселке городского типа Индюковка. Там было очень много такого, что может уязвить даму с тонкой натурой. Сосед-алкоголик Яков Михалыч громко и фальшиво исполнял гимн Советского союза, подростки под окном матерились и пьянствовали, бабуля-соседка Степанида Петровна называла секунд-хенд хенде-хохом. Вдобавок, из культурной жизни в Индюковке наличествовала только библиотека имени Ленина, где давали почитать Большую советскую энциклопедию и журнал «Лиза» за 1999 год. По вечерам дама с тонкой натурой вязала крючком и слушала Шопена на старом проигрывателе. Пластинка немного шипела, но дама с тонкой натурой не любила новомодных изобретений.

А каждое утро дама с тонкой натурой втискивалась в переполненную электричку и ехала в большой город. Работать. Её толкали в грудь и спину, ей втохивали средства от тараканов и книжечки про конец света, над ухом противно пели слепой с гармошкой и толстая тётка с гитарой. Всё это было так безрадостно, так ранило её тонкую натуру. И она закрывала глаза и мысленно слушала Шопена, Шопена, Шопена, чтобы только не сбежать обратно домой. А потом электричка, как объезжая слепых с гармошками зелёная гусеница, втягивалась в город. Дама с тонкой натурой доезжала на раннем троллейбусе до рынка. Натягивала нитяные перчатки. Брезгливо смотрела на грузчиков, которые были пьяницы все как один. Открывала тетрадку для записей, исписанную отвратительным почерком сменщицы. И с нескрываемым раздражением говорила первому покупателю: «Я не поняла, вы брать будете или нет?».

Жила-была девочка-припевочка, которая хотела выйти замуж. Она перечитала всё самое важное по этому вопросу. Как выйти замуж за олигарха, как выйти замуж в три этапа, как выйти замуж по китайскому гороскопу и поваренную книгу.

«Я не какая-то там, – говорила девочка. – Я за какого-то там не пойду. Я достойна лучшего», – с этими словами она оборачивалась к зеркалу и поправляла причёску.

Ну и женихи, конечно, девочкой-припевочкой интересовались. Сватались к ней макаронный магнат и алкоголик Сеня с пятого. Алкоголик Сеня принёс букет алых роз, выданных с клумбы перед роддомом. Макаронный магнат принёс себя и улыбку на тридцать два зуба. Алкоголик Сеня долго икал и пытался найти слова, чтобы посвататься к такой королеве. Он был готов предложить всё, что имел – комнату с видом на гастроном, спинку от стула и даже чекушку. Макаронный магнат выложил на стол брачный контракт, по которому девочка-припевочка отказывалась от каких бы то ни было претензий на нажитое в браке имущество, обязывалась родить богатыря к исходу сентября и сделать пластическую операцию на мочках ушей. Потом макаронный магнат тихонько приложился к фляжке, и девочке-припевочке показалось, что в его лице сквозь налет солярия, крема после бритья и мезотерапии проступают какие-то черты алкоголика Сени. Понятия не имею, за кого она в итоге вышла замуж в три этапа – но точно не за этих двоих.

«Эх, – сказал олигарх, руля от дома девочки-припевочки со своими миллионами, – испортили семейные ценности... бабы замуж уже не хотят». «Эх...», – сказал алкоголик Сеня и в следующую минуту запил с горя. А девочка-припевочка молча открыла книгу «Как привлечь лучшего жениха» и принялась вносить исправления на полях. Розовым карандашом для губ.

Жила-была женщина, вокруг которой совершенно не водилось достойных мужчин. Она была хороша, со статью герцогини с портрета, с толстой косою, с тонкой талией. Она вышивала гладью, читала умные книги, работала много лет на одной и той же работе, где на неё молились, аккуратно навещала свою престарелую тётушку и умела одним движением брови развести тучи над парком культуры. Вот только мужа у неё не было, потому что где же взять достойного мужчину? С недостойным эта прекрасная женщина связать свою жизнь, конечно, не могла.



Сватались к ней разные. Достойных только не было. Были бедные, глупые, пьяницы, хамы и многогранные личности, которые совмещали все это в себе. Был начальник Иван Михалыч, недалёкий самолюбивый тиран, был дворник Петрович, который трезвел только за день до получки, был молодой актёр-наркоман, имени которого история не сохранила. Как-то даже писатель и поэт Степанушкин сватался – с астрами и томиком Лермонтова. Но писатель и поэт пил спирт с дворником, поскольку его муза любила спиртовые пары. А вот женщина, возле которой не было достойных мужчин – совсем не любила.

Ходить на танцы и в филармонию было женщине, возле которой не водилось достойных мужчин, не с руки, да и там сквонзники и алкоголики. Но однажды в дверь её пятой квартирки на втором этаже постучался принц. Самый натуральный принц – в белом фраке и белых перчатках, в аромате тонкого одеколона и изысканности, с чёрными, как вороново крыло, кудрями. «Здравствуйте, – сказал он. – Мне так хвалили ваши музыкальные вкусы и тонкое понимание импрессионизма. Я так давно искал вас, я так счастлив. Позвольте пригласить вас в театр».

«Помилуйте, – произнесла женщина, возле которой не водилось достойных мужчин. – Но на кого я оставаю кота?».

Жила-была женщина, которая любила постить котиков в интернете. Собственного кота у неё не было: аллергия не давала завести пушистого, а лысых она боялась. Зато наша дама завела миллион папок с котиками. Породистыми и беспородными, в шапочках и с бантиками, в огороде и на креслах, маленьких котят, валяжных взрослых котов, на подоконниках и на диванах, котов мультяшных, паривших под облаками, котов настоящих, печально вззирающих на недоступную колбасу... Не хватит трёх томов, чтобы описать всё богатство, которое хранилось у любительницы котиков. Чтобы не запутаться, она систематизировала котиков по папкам и поддиректориям – и постила, постила. Небольшой запас котиковых картинок хранился у женщины, которая любила постить котиков, на работе. На случай, если какую-нибудь сотрудницу бросит мужчина или обхают в трамвае. Тогда они немедленно бежали к коллеге и просили котика. И каждой находила она такого, глядя на которого нельзя было не заулыбаться. И слёзы высыхали.

Старые уборщицы и тетки из вконтакта судачили, что это она просто не замужем, иначе откуда столько времени на котиков. Но не будем верить уборщицам: у женщины, которая любила постить котиков, наличествовал муж, стройный блондин с чёрной иномаркой, и двое детей, мальчик и девочка. Мальчик был двоечник, а девочка – слабого здоровья, вдобавок иногда они дрались. По вечерам женщина, которая любила постить котиков, проверяла тетрадки мальчика, а её муж – давал лекарства девочке по часам. Потом они собирались всей семьей перед компьютером, женщина обнимала своих неидеальных детей, и вместе они репсали, где в сети не хватает котиков, и каких именно. Котиков ведь всегда где-нибудь да не хватает. «Вечно ты со своими котиками», – говорил стройный блондин, целовал женщину, которая любила постить котиков, в макушку. «А ты со своей машиной», – отвечала она. И нажимала «сохранить».

Жила-была женщина, которая не хотела иметь детей. Она любила кошек, дельфинов и крем-брюле, а вот с детьми у неё не сложилось. Может быть, потому, что дети надоели нашей героине в детстве: она была из многодетной и многородственной семьи, на неё вечно сваливали заботы о младших братьях и племянниках, которые вырывали волосы, плакали и ломали любимые игрушки. Так вот и получилось, что женщина с первого класса отлично умела пеленать, укачивать, утешать и мазать зелёной, но ненавидела это делать. При мысли о собственных детях ей становилось страшно. А тем временем родственники не дремали: как известно, нет более интересного занятия, чем наблюдать, как размножаются другие, и давать им советы. Чем старше становилась женщина, которая не хотела иметь детей, тем чаще её призывали на богатые семейные застолья, чтоб она там поперхнулась рыбкой фаршированной и куриной грудкой. «Когда уже замуж? Ты посмотри, сколько лет, а рожать когда? А может, ты за Серёжу бы пошла? А ты не бесплодна? У нас есть чудесный доктор». Потом добавляли ещё, что она занимается разной ерундой, а потом пожалеет, но будет поздно. Иногда родственники меняли тактику. Кто-нибудь залихватски желал женщине, которая не хотела иметь детей, побольше деток или родить богатыря к исходу сентября. И подмигивал, как инфарктный андроид. Иногда, если женщина, которая не хотела иметь детей, приходила с кавалером, кавалера тоже вовлекали в происходящее, многозначительно подмигивая ему и вопрошая,



скоро ли дарить одеяльце, и розовое или голубое. Случалось, что кавалеры не выдерживали и на всякий случай убежали. Один даже в обморок упал. «А часики-то тикают!», – стонала мама женщины, которая не хотела иметь детей, и начинала пить валерьянку – большой стакан. Однажды женщину, которая не хотела иметь детей, накрыл жестокий невроз. Ей начали сниться дети, дети, дети, которые вываливались из шкафа, лезли из окон, из-под кровати, и всё тянули к ней ручонки, вцеплялись мёртвой хваткой. А над водопадом детей стояла мама с большим стаканом валерьянки, папа с портретом прадедушки, и тетя Ирина Макаровна с томом доктора Спока. Том основательно погрыз любимый тетириин Тузик, но это никого не смущало. Родичи кивали, обсуждали, как теперь женщина, которая не хотела иметь детей, должна жить, как тяжело ей будет не спать ночами, и как прекрасно, что её жизнь теперь упорядочена. Вон сколько детишек надо выкормить грудью и научить уму-разуму, не останется времени на глупости! Проснувшись в холодном поту, женщина, которая не хотела иметь детей, долго пыталась отдышаться. А потом лихорадочно принялась звонить в аэропорт и паковать чемоданы. И уехала в тёплые страны, сменив мобильный телефон. Родственникам она слала с тех пор только электронные письма – аккуратно раз в месяц, всё же она их в глубине души любила. Я не знаю точно, что было с этой дамой в тёплых краях. Наверное, она дышала бризом, ходила в горы, писала статьи в глянцевоы журналы, носила шёлковый шарфик и завела роман с южанином, который инструктировал альпинистов. Сперва ей снились кошмарные сны, потом постепенно перестали: в тёплых странах они тают, как мороженое. Некоторые знакомые поговаривали, что через несколько лет она внезапно усыновила симпатичного китайского мальчика лет пяти. Слышала я даже, что женщина, которая не хотела иметь детей, иногда прилетала на родину, привозила родителям подарки и виделась только с самыми близкими друзьями. Но я точно знаю одно: никогда больше она не ходила на семейные торжества.

Жила-была женщина, которая не любила хлюпиков. По поводу и без повода она цитировала Фаину Раневскую – мол, случись что, стоит он такой, слёзки в глазах, ручки из ну вы знаете, откуда... Впрочем, может быть, это сказала и не Раневская, а вовсе Маргарет Тэтчер или тетя Маша – кто разберёт в эпоху фотожаб. Но наша героиня верила. И никогда не встречалась с мужчиной, если у того не было ярко выраженных мускулов, ну или хотя бы разряда по карате.

В конце концов, деньги можно заработать, цветов купить самой, а вот если на тебя напали... На тяжёлом пути нашей дамы встречались разные проблемы и трагедии. Например, в наше время некоторые парни едят всякую химию, от которой мускулы растут, как на дрожжах. Но вот боеспособен ли такой – в этом наша героиня сомневалась. Так что на первом свидании она старалась ненавязчиво поинтересоваться, каким спортом занимается её кавалер, не боится ли темноты и собак. В общем, держала ухо остро.

Наконец она завела себе отборного спутника жизни. Говорил он мало, ел с аппетитом, был внушительен и красив, как Сильвестр Сталлоне, скрещённый с Арнольдом Шварценеггером. Да не сейчас, а в те славные времена, когда женщина, не любившая хлюпиков, ещё ходила пепком под стол и отвергала ухаживания задохлика Яши из подготовительной группы. По вечерам герой её романа смотрел боевики, съедал килограмм сосисок и разбрасывал носки по дому.

Чтобы защитник не перетрутился в ожидании решительного момента, наша дама сама носила тяжёлые сумки и забивала гвозди. А говорить они не говорили – это ни к чему, для этого у неё были подруги.

Женщину, которая не любила хлюпиков, напрягало только то, что хулиганы всё не торопились нападать. Это не удивительно: район, где жила сладкая парочка, был таким спокойным, что самой страшной трагедией за последние десять лет там считалось тяжёлое ранение кошки, покусанной эрдель-терьером из пятой квартиры в доме номер шестнадцать. А самым буйным люмпеном был тихий одинокий алкоголик Иван Петрович, который не мог найти себе ещё двоих в компанию, и поэтому выпивал за трюмо. Впрочем, женщина, которая не любила хлюпиков, читала в газете, что неподалёку какие-то гоппики сняли с продавщицы мороженого золотые серёжки. Это вселяло в неё надежду. Она даже дерзко надевала перед выходом кольцо с бриллиантами и золотую цепочку, но ничего не происходило.

Однажды женщина, которая не любила хлюпиков, вышла прогуляться с подругой, муж которой был хлюпик. В очках, вечно с книжкой, тихий какой-то и сложения совсем не героического. Ещё у него был хронический насморк. Смех, а не мужчина.

Погуляли, обсудили всех знакомых – и когда уже двинулись в обратный путь, свершилось. За подругами шли хулиганы, а то и маньяки. Орали непристойное, свистели, показывали пальцами и никак не



отставали. В ужасе забежали наши дамы в подъезд и укрылись в квартире счастливой супруги хлюпика.

Хлюпик тихо выпиливал лобзиком резные полочки для кухни. «Капбар!», – коротко сказал он, услышав жалобы женщин, поставил чайник и углубился снова в своё занятие. Кое-как отдышавшись и напившись чаю с валерьянкой, женщина, которая не любила хлюпиков, выглянула из кухонного окна и убедилась, что хулиганы, а то и маньяки всё ещё никуда не ушли. Они сидели у подъезда в кружок и обсуждали свои коварные планы. Понятны из обсуждения были только междометия и союзы, но женщине, которая не любила хлюпиков, было ясно: ждут именно её.

Дрожащими от страха и надежды руками она набрала номер любимого, пусть придёт и проведит домой! «Я с парнями в качалке, – отозвался тот, даже не дослушав, – просил же мне не звонить». Женщина, которая не любила хлюпиков, так опешила, что не успела ничего сказать, прежде чем в телефоне раздались короткие гудки.

«Кошмар», – простонала она, падая в кресло. «Капбар», – согласился муж-хлюпик, вставая и отряхивая колени от стружки. Он аккуратно подмёл пол, свернул шнур от электролобзика, потом ушёл в другую комнату и вернулся с охотничьим ружьём. Ошарашенная женщина, которая не любила хлюпиков, ничего не успела сказать, когда хлопнула сперва входная дверь, потом подъездная, а потом со двора донёсся насморочный голос хлюпика: «А ду валите адсюда». Потом во дворе нехорошо заругались, причем хлюпик отвечал не хуже, по крайней мере, не короче и не менее изобретательно. И всё стихло.

«Кошмар», – всхлинула женщина, которая не любила хлюпиков, и закрыла лицо руками.

Жила-была женщина, которая выращивала кактусы. Весь её дом был в колючих растениях – полки в кухне, полки в спальне, и даже в ванной и туалете жило несколько колючих маленьких кактусов. Это была специальная порода влагостойких кактусов, которую вывел для нашей героини знакомый ботаник. Ботаник был безнадежно влюблён, но женщина, которая выращивала кактусы, не замечала его пылких чувств. Она только просила ещё парочку новых кактусов – время от времени. И вознаграждала улыбкой.

«Какие руки, – шептал ботаник, – как, о как она пересаживает!». Но женщина, которая выращивала кактусы, не слышала его стенаний. Она вообще не слишком любила прислушиваться к тому, что не растёт в горшке и лишено колючек. Даже телевизора у неё не было.

Женщина, которая выращивала кактусы, была одинока. Она говорила, что, кроме ботаника, никто в целом мире не понимает её, а так хотелось бы встретить свою судьбу. Иногда, беря с собой крохотный кактус в горшке, она выходила на какую-нибудь вечеринку, чтобы познакомиться. Кактус торчал в специальном гнезде её маленького клатча и успокаивал нервы. Носят же люди с собой собачек в сумочке!

Однако претенденты на руку и сердце не находились. Ни один не выдерживал беседы на первом свидании, а ведь чем больше нравился нашей героине мужчина, тем скорей и щедрей она хотела приоткрыть перед ним завесу, показать ему мир кактусов во всей красе. Обычно на десятой минуте кавалеры вспоминали, что им срочно надо на работу.

Женщина, которая выращивала кактусы, прибегала в опытную теплицу ботаника, срывала с шеи шифоновый шарф с кактусовым принтом и рыдала в него. Она говорила, что мир жесток и полон одиночества. Ботаник понимал и разливал по мензуркам специально припрятанное мартино.

Жила-была дама, которая боялась, что ей не достанется. Всем известно: хороших мужчин очень быстро разбирают, на работу можно устроиться только по знакомству, самые свежие продукты бывают в пять утра, а всё, что выбрасывают соседи, ещё может пригодиться. К тридцати годам у женщины, которая боялась, что ей не достанется, была полная всякого хама квартира, в которой до потолка громоздились ящики купленного по дешёвке и взятого задаром. Находились среди её сокровищ и прикупленные по случаю довольно дорогие вещи, которых потом не будет вот совсем, поэтому пришлось взять в кредит.

Где-то среди вещей обретался муж, за которого наша героиня срочно вышла замуж, чтобы была. И ещё иногда появлялись на горизонте на всякий случай приобретённые три-четыре любовника. А то ведь молодость пройдёт, где потом возьмёшь? И муж, и любовники женщину, которая боялась, что ей не достанется, крупно раздражали. До них ли, когда с приобретений надо все время пыль вытирать, да у тебя четыре работы, врут денег не хватит, а кредиты платить надо. В общем, она не очень помнила,



зачем ей эти странные мужчины со своими глупостями. То звонят, то обниматься лезут, то борща наливай.

Женщина, которая боялась, что ей не достанется, едва успевала здороваться с людьми, давно ни с кем не говорила и часто простужалась.

Иногда наша героиня очень хотела бросить всё и убежать на тропический остров с клатчем и в босоножках. Но всякий раз её останавливал страх лишиться всего приобретённого.

Однажды добрый волшебник, пролетавший мимо унылого и пыльного жилища женщины, которая боялась, что ей не достанется, оставил на коврике под дверью развёрнутый глянцевого журнала. Статья называлась «Генеральная уборка», заглавие было написано розовым. Но вот прочла ли её испуганная дама – этого я не знаю.

Жила-была женщина, которая боялась любви. Потому что известно как оно бывает – сперва влюбишься, потом замуж выйдешь, не успеешь оглянуться, как он уже разбрасывает всюду свои носки и изменяет тебе с рыжей секретаршей. Ух, стерва, да и уродина к тому же, что он в ней нашёл только!

Да не на ту попали они все, изменщики. Женщина, которая боялась любви, выбирала себе мужчин, полюбить которых было нельзя никак. Она принимала приглашение на ужин, только если убеждалась, что ухажер обладает каким-то значимым недостатком – глуп, хамоват или, в крайнем случае, не читал Мураками. Тогда она была уверена, что не влюбится, и весело проводила время.

Правда, случались осечки. Иногда она ловила себя на том, что не так уж отвратительно он храпит, а глупые шутки отпускает очень мило. И так уморительно кладёт локти на стол! А Мураками, в конце концов, попса, а зато этот парень клеит модели кораблей и знает все созвездия южного неба...

Тотчас после таких мыслей женщина, которая боялась любви, устраивала ужасный скандал, била посуду и прогоняла любовника прочь. Некоторое время она смотрела мелодрамы, немного плакала и съедала примерно килограмм шоколада с апельсиновой цедрой и орешками. Другого наша героиня не признавала, особенно во время душевного разлада. А потом, когда скомканная фольга заполняла мусорное ведро, женщина, которая боялась любви, чистила перышки и выходила на работу, как ни в чём не бывало.

Однажды погожим летним вечером, когда в парках запели соловьи, а центр города встал в пробках, женщина, которая боялась любви, встретила Его. Казалось бы, ничто не предвещало. Она ела итальянское мороженое в вафельном рожке и помахивала сиреневым клатчем. На душе её был мир и покой. И тут их глаза встретились. Он был не слишком высок, не слишком красив, в его руках не было книги, а за спиной в чехле болталась теннисная ракетка. Вдобавок Он где-то испачкал джинсы и порвал футболку. Зато у него были невероятно синие глаза.

«Простите, – сказал он после вечности молчания, в которой замолкли соловьи и клаксоны. – Я снимал с дерева кошку. Так неудобно».

«Я не буду стирать тебе носки», – ответила она, не в силах швырнуть мороженое и уйти.

«Конечно, нет, – ответил Он, – мы недостаточно знакомы. Я вообще никому не даю пользоваться своей стиральной машиной».

РОМАН КАЗИМИРСКИЙ

ХИМЕРЫ

повесть

Раз на раз не приходится – только что вот цапля проглотила лягушку без труда (*они их жуют или просто глотают? – а если просто глотают, то лягушка заживо, что ли, переваривается?*), а в следующий раз лягушке взбредёт в голову расставить лапки. И расставит ведь. И сдохнет цапля к чертям. И останутся цаплятки без мамки. Вот такая трагедийность бытия, кхе... Где заканчивается справедливость и начинается реальность? Примерно с такими мыслями я подошёл к рубежу, когда начинаешь задумываться о возможности бессмертия для себя родимого. Хочу ли я? Безусловно. Кто отказался бы от шанса избежать участи быть оплаканным и благополучно забытым? Ведь никто не может со стопроцентной вероятностью сказать, есть ли жизнь после смерти. А если её нет, то было бы крайне неприятно провалиться в чёрную дыру, которую и чёрной-то назвать затруднительно – ведь у пустоты нет цвета. Впрочем, и неприятно от этой бесцветности не будет, потому что ничего уже не будет. И даже разозлиться по этому поводу не получится. Ведь злиться будет некому и нечем. Да, я бы хотел жить вечно.

Но только с тем условием, чтобы моя семья жила вечно вместе со мной. Чтобы мои дети достигли расцвета и остались бы такими навсегда. И чтобы я не превратился в бородавочного Вечного Старика с перманентно седыми волосами, торчащими из ушей и носа. И чтобы жена не бряцала вставной челюстью.

Друзья – без них никак. Сложно пережить вечность исключительно в семейном кругу. Правда, родственниками друзей и друзьями родственников придётся пожертвовать – тут уже и до перенаселения недалеко. Да и как быть с детьми? Ведь они должны унаследовать дар своих родителей – жить всегда и вопреки всему. Или не должны? Всё это очень сложно. Наверное, в процесс должна вмешаться природа. Вполне, на мой взгляд, приемлемый вариант.

Родственники друзей и друзья родственников проживут отпущенный им срок и отправятся выяснять, есть ли жизнь за чертой. А мы пожелаем им удачи в этом нелёгком деле. Конечно, оплачем, помянем, установим надгробные плиты – некоторые из нас будут долго хранить семейные реликвии. Но скоро всё пройдет и забудется. Жизнь захлестнёт нас новыми ощущениями. И самым свежим и острым станет чувство свободы – от потребности торопиться и постоянно оглядываться в вечных поисках того, что мы могли бы пропустить. Пропустили – да и чёрт с ним. Пусть подбирает тот, кому это нужно.

Через некоторое время избранные расплзутся по миру. Многие из нас вовсе затеряются – и мы никогда не узнаем о том, что с ними стало. Хотя «никогда» в нашем случае – слишком сильное слово.

ЭПИЛОГ ПЕРВЫЙ

– Как тебя там? Иаков? Помоги мне! Как запускается эта чёртова машина?.. В мои времена люди стирали все свои вещи вручную – все было просто и понятно.

– Бабушка, в твои времена люди с копиями за мамонтами гонялись, и в стиральных машинах необходимости в принципе не было. На кнопку нажми.

– На какую именно?

– На красненькую. На которой написано: для бабушки...

И смеется, подлец. Вот уже несколько лет изо дня в день я наблюдаю одну и ту же сцену. Никто не в обиде. Каждый играет свою роль.



Я уже давно не думаю о том, сколько лет прошло с того момента, как я стал бессмертным. Иногда мне кажется, будто я был всегда. Не спрашивайте меня, как именно это произошло, – я и сам толком в этом не разобрался. Просто однажды я задумался об этом – крепко задумался, и всё в моём мире и в мире близких мне людей перевернулось с ног на голову. Не стовариваясь, мы собрались в одно и то же время на территории заброшенной каменоломни. Нам не нужно было объясняться – все и так были в курсе положения дел. Нам просто нужно было увидеть друг друга и обсудить то, что тогда казалось таким важным. Наверяд ли кто-то сегодня захотел бы вспоминать об этом, даже если бы смог.

- Курам на смех. Ты чего пришла-то? Вчера ещё обещала долг вернуть. Когда вернёшь? Опять завтра?
- Кто-нибудь знает, к слову, от чего куры уже второй месяц дохнут? Мрут по пять штук в неделю.
- Сынок, ты бы не шел так часто, помнишь, как отца-то твоего? Беспокойно мне. Жена на сносях.
- Помнишь, я тебе рисунок подарил? Он всё ещё у тебя? Ты не теряй его, он тебе нужен.
- Не мели чепуху, бабка, отстань, сам себе хозяин я!

А потом я совершенно неожиданно для самого себя стал главой общины неумирающих. Вначале это было необременительно – достаточно было вести дневник, некий аналог летописи времён, да следить за тем, чтобы никто не догадался о нашем новом, привилегированном положении. В течение первых лет мы нередко оказывались в неприятных ситуациях, когда кто-либо раскрывал наш маленький секрет, – подруге, например, или собутыльнику. Но всё обошлось – к счастью, никто не воспринимал всерьёз самого факта бессмертия.

Лишь однажды одна девушка не только поверила, но и решила во что бы то ни стало стать одной из нас. Тогда я допустил слабость – изо всех сил старался вернуться в состояние, когда впервые захотел стать бессмертным. Я искренне старался захотеть. Но у меня ничего не вышло – она состарилась и умерла в клинике для душевнобольных, куда попала за несколько лет до смерти. Груз понимания оказался для нее неподъёмным. Мы постарались сделать всё возможное, чтобы обеспечить ей достойное существование, поскольку чувствовали за собой вину, – это чувство преследует каждого из нас в той или иной степени. Она умерла, проклиная нас за то, кем мы были, и себя – за то, что не смогла стать такой, как мы.

Я давно понял, что оптимальная форма существования нашего общества – это постоянное перемещение по земному шару небольшими группами. Такая своеобразная адаптивная миграция, связанная с прохождением цикла развития, замкнутого в рамках спиралевидной цикличности, пожирающей саму себя подобно Уроборосу. Путём проб и ошибок мы научились разрабатывать маршруты и определять время пребывания общины на одном месте. Как странно звучит это слово – время – для человека, который использует его, не понимая глубины его значения. Это похоже на то, как слепой от рождения воспринимает слово «красный». Когда ему говорят, что он покраснел, он понимает, что его кровеносная система выдала окружающим его волнение вопреки воле хозяина. Он понимает причину и следствие, но не способен постичь сути. Но нужно ли постигать эту суть? Просветлённые сходят с ума от открывшейся им истины. Нет смысла быть исполином, если всю жизнь приходится притворяться карликом. В наших рядах давно появились великие философы, с учениями которых никто не знаком, гениальные физики и математики, чьи революционные трактаты пылятся на полках десятилетиями, поэты, продающие за бесценок свои рукописи первому попавшемуся проходивцу – только для того, чтобы их творения увидели свет, пусть даже под чужим именем. У нас есть всё, но мы не в силах применить это во благо себе и чуждому нам обществу. Мы самореферентны. Бесконечное количество раз проживаем жизни незнакомых нам людей. По поддельным свидетельствам о рождении и смерти восстанавливаем несуществующие документы, порой путаясь в именах и датах, потому что ни те, ни другие к нам не имеют никакого отношения. Кто я сейчас? Какое это имеет значение? Абсолютно никакого. Как только ты это понимаешь, время для тебя останавливается.



– Где эта красная кнопка, будь она неладна?

Все прекрасно понимают, что таким образом бабушка пытается привлечь к себе внимание, чтобы не чувствовать одиночества. Вообще, наша бабушка – это феномен, объяснения которому никто из нас до сих пор не может найти. С самого начала в число бессмертных входили только молодые, полные сил люди и дети, которым ещё только предстояло пополнить собой ряды избранных. И на каменоломне собрались только они. Бабушки не было среди нас тогда. Однако когда ни через двадцать, ни через пятьдесят лет она не только не умерла, но оставалась такой же подвижной и на удивление живой, всем стало ясно, что произошёл сбой в системе.

Мне было жаль её – на фоне замороженных в тридцатилетнем возрасте людей она выглядела ещё более старой. Поэтому я несколько раз водил её в косметологические клиники, где ей делали пластические операции по устранению морщин и подтяжке кожи лица. Но всё было бесполезно – уже на следующий день она обрела свой прежний вид. Ну вот, опять.

– Добро пожаловать во вчера!

– Что, всё то же?..

– А ты ожидала другого? Ничего, через пару недель ещё раз сделаем тебя красавицей, ты вечером найдёшь себе муженька, мы вас быстренько окольцуем, а когда он тебя утром увидит, уже поздно будет.

– Да ну тебя с твоими шуточками, паршивец!

В конечном итоге мы поняли, что быть Вечной Старушкой – её судьба. Впрочем, её это несколько не беспокоило. Она просто наслаждалась каждым днём, проведённым с родными ей людьми, и, казалось, не замечала тех изменений, которые происходили с ними.

Вообще, у меня есть своя теория проникновения старушки в ряды вечно молодых. Стать одной из нас ей помогла любовь. Любовь к нам, любовь к солнцу, небу и фиалкам на подоконнике. Она на интуитивном уровне почувствовала изменения, произошедшие в окружающем её пространстве, и перестроила себя в соответствии с новыми условиями. И я ей за это безумно благодарен. За все эти века она оказалась единственной, кто напоминал мне о том, что все мы когда-то были людьми.

– Вот здесь нужно нажать, – я подошёл к ней и указал на нужную кнопку. Она благодарно взглянула на меня, запустила стирку и, презрительно повернувшись к Иакову спиной, удалилась в гостиную пить чай. Никто ни на кого не обижался – все участвовали в игре, все были знакомы с правилами.

– Зачем ты показал ей? Она и так прекрасно всё знает.

– Потому, что мне это нравится, сынок.

На самом деле – не могу же я признаться в том, что таким образом я напоминаю о вежливости, с которой нужно относиться к пожилым людям. Хотя само слово «пожилой» в нашей компании со временем приобрело оттенок ироничной скромности. Кого можно считать пожилыми людьми в прямом смысле – так это всех нас.

– И всё равно – зря ты ей сказал.

Сын выглядел разочарованным – потеха не удалась. Мне всегда казалось, что он родился уже испорченным и развращённым. А ведь мы с его матерью так долго ждали своей очереди! Никогда я не видел такого счастья на её лице. Она даже пыталась во время беременности вышивать крестиком, но вместо крестиков у неё выходили нолики, и в конечном итоге она уколола себе палец. В общем, ничего из этого не вышло, но сам факт попытки поразил меня до глубины души.

Когда родился мальчик, мы уже знали, что его нужно назвать Иаковом. Дав ребёнку имя, мы стали с нетерпением ждать первых слов, первых шагов и первых проявлений характера. Первыми словами стали «дай» и «уйди». Первый шаг был по направлению к зеркалу. Первым проявлением характера стал стакан воды, выплеснутый мне в лицо.

Конечно, я любил своего сына, если вообще можно в моей ситуации говорить о таком понятии как любовь. В то же время я понимал, что не вызываю в нём ответных чувств. Скорее, наоборот: казалось, будто Иаков ненавидит этот замкнутый мирок, на существование в котором мы его обрекли. И ненависть эту не могли перекрыть ни вечность, ни счета во всех банках мира, ни многочисленные подарки. И я ничего не мог с этим поделать. Ситуация была сколочена из досок вечного дерева и прихвачена нержавеющей скобами. И единственным существом, которое удерживало нас от жизни по принципам волчьей стаи, была бабушка. Она была тем предохранителем, который гарантировал нам возможность остаться больше людьми, чем животными.



– Веня... Венечка... Мне плохо...

Я не сразу сообразил, к кому обращалась бабушка. Меня этим забытым именем уже лет двести никто не называл. Тем не менее, я не спеша поднялся и прошёл в комнату, успев по пути отхлебнуть немного виски (*бессмертный напиток!*) из своего бокала. То, что я увидел в гостиной, в течение нескольких секунд старательно пыталось уместиться в моем сознании – безрезультатно. Бабушка лежала на полу, её рот искривился, пальцы рук будто что-то быстро-быстро перебирали, а её глаза жалобно смотрели то на меня, то мимо меня.

– Что случилось? Иаков!.. Помоги мне!

Сын вошёл в комнату и с непониманием уставился на лежащую на полу Вечную Старушку.

– Она притворяется... – начал он, но осёкся и прислонился к стене.

Я схватил с кресла подушку и подложил её под голову бабушки. Что могло случиться? Как это могло произойти? Может, Иаков решил пошутить и всыпал ей в чай лошадиную дозу снотворного?.. Нет – он на такое не способен. Да и не действует на нас снотворное. Значит?.. И к страху за жизнь самого близкого мне существа примешалось чувство ужаса – страха за самого себя. Я не хотел умирать!

– Звони доктору! Марку звони! Быстро!

Марк – это наш семейный врач. Он нас обслуживает с тех пор, как мы поселились в этом доме. Жаль, что через несколько лет нам придётся расстаться. Вряд ли мы сможем найти такого же немногословного и профессионального человека. Иаков вышел из ступора и бросился к телефону. Всё-таки он любит бабушку, – подумал я. Или он так торопится и нервничает, потому что, как и я, боится за свою собственную жизнь? Мне стало противно.

– Веня... Как же вы без меня?

– Молчи! Всё будет хорошо. Правильно, Иаков? Сейчас приедет доктор и скажет тебе, что всё в порядке. Ты навсегда останешься с нами.

– Навсегда – это долго...

Вошёл Марк. Мгновенно оценив ситуацию, он прощупал пульс, измерил давление, заглянул в зрачки, приглушённым голосом задал нам несколько вопросов, после чего скомандовал:

– Вашей бабушке срочно нужно в больницу – если не поторопимся, она может умереть.

– Но это невозможно! – мы с Иаковым закричали почти одновременно.

Доктор с удивлением посмотрел на нас и пожал плечами:

– Ну, почему невозможно? Все мы люди...

Что я мог возразить на это? Конечно, все мы люди, просто кое-кто чуть более человек, чем все остальные... Ну, или наоборот.

Я поехал вместе с бабушкой. В машине ей будто стало легче, и она заснула. А я сидел с ней рядом и держал за руку. Я вдруг вспомнил, как она играла со мной в шахматы, когда мне было лет шесть – не больше. С тех пор я значительно усовершенствовался в плане перемещения фигур, но тогда не мог составить ей хоть сколько-нибудь ощутимой конкуренции. Тем не менее, своим настоящим мастерством я в большей мере обязан ей, нежели своим врожденным данным.

Я вспомнил, с каким вульгарным и отвратительным равнодушием рассматривал вариант смерти близких своих друзей – тех, кого планировал взять с собой в бесконечность. Меня начало мутить. Будь я на их месте, я бы убил такую скотину, как я. К счастью, они не подозревали, по чьей именно прихоти они лишились своих отцов и матерей. К счастью для меня, конечно.

В больнице мне сказали, что «пациент находится вне опасности, состояние стабильно», однако добавили: если бы мы приехали на полчаса позже, они ничего не смогли бы сделать. Спасибо, Марк...

Обычно я предпочитаю сам управлять транспортом – это вносит некоторое разнообразие в мои отупленные будни. Но сейчас было мне не до того. Я активировал автоматическое управление и закрыл глаза. Меня зовут Вениамин. Веня – так меня когда-то называла моя жена. Первая Жена... В самом начале нашего пути мне бы и в голову не пришло называть её таким нелепым именем. У неё было прекрасное имя – Амелия. Я вдруг вспомнил день нашего знакомства – как давно это было.



Девушки стоят полукругом – одна красивее другой. Вот они поворачиваются спинами к собравшимся холостым мужчинам и... Амелия бросила ожерелье из цветов и попала в меня.

– Зовут тебя как? Вена? Красивое имя. Хочешь быть со мной? Правда? Не передумаешь? Ты красивый. Ты не подумай – я сюда пришла забавы ради. Могу и уйти. Не уходить? Замуж что ли берёшь? Вот так сразу? А если я не захочу? Какой быстрый. Люблю таких решительных. Ну, пойдём. Как куда, к отцу моему пойдём. Или ты без его благословения решил всё проверить? Он у меня кузнец, шутить не любит. Да я шучу, что ты... Пойдём, ты ему понравишься.

Мне вдруг стало так тоскливо, что захотелось высунуться в окно по пояс и закричать во весь голос. Но вряд ли меня поймут правильно – иные времена, иные нравы. Когда мы виделись в последний раз? Год или два назад? Встретился случайно на каком-то приёме:

– Привет.

– Привет.

И всё.

Я открыл глаза и перенастроил данные пункта назначения. Я не могу сейчас ехать домой – мне нужно её увидеть. Остановившись возле стоящего на отшибе особняка, я вздохнул с облегчением: освещенной была только одна комната – и это была точно не спальня. С трудом объяснил себе, почему мне стало легче от сознания того, что Амелия дома одна. Мне казалось, что такое чувство как ревность осталось где-то позади в давно забытом прошлом, что оно было окончательно утрачено лет триста назад. Оказалось, что я ошибался. Для осмысления этого факта мне понадобилось некоторое время – а ведь всего неделю назад я бы отмёл даже вероятность такого поворота событий как полную чушь. Кроме того, я не чувствовал никакого дискомфорта от сознания своей человечности. Мне это даже понравилось.

Я поднялся по ступенькам: раз, два, три... Раньше мне казалось, что их было больше. Может, так оно и было? Провёл рукой по сенсорной панели – интересно, есть ли мои данные среди желанных гостей в этом доме? Дверь бесшумно открылась – и я вошёл в полутёмную прихожую. Не разуваясь, я прошёл в гостиную.

Амелия вышла мне навстречу. Хотя нет – мне навстречу вышла Первая Жена. Равнодушный взгляд, предупредительная улыбка.

– Здравствуй, Главный. Давно не виделись.

Нужно срочно что-нибудь сказать. А я не знаю, как выразить то, что я чувствую. Да и поймёт ли она меня?

– Здравствуй...

Мы стоим и смотрим друг на друга. Она не предлагает мне сесть. А я никак не могу решиться сказать ей, зачем приехал. Да я и сам не знаю, честно говоря. Может, нужно просто развернуться и уйти, ничего не объясняя, чтобы никогда больше не возвращаться? Но мне не хочется уходить. Я хочу остаться.

– Бабушке сегодня стало плохо. Она в больнице. Врачи говорят: инсульт.

Вот так – в лоб. И как она отреагирует на такие новости? Неужели опять придётся наблюдать тот страх за собственную шкуру, который я уже сегодня видел в глазах Иакова? Но нет – она спокойна.

– Да, я знаю. Мне звонили из больницы. Сказали, что я должна завтра захватить – нужно подписать какие-то бумаги. Хотя я не совсем понимаю, что им от меня нужно... Как это произошло?

– Не знаю. Я сам ничего понять не могу. Может, магнитные бури.

И опять это невыносимое молчание. Она смотрит мне прямо в глаза и будто спрашивает: а дальше что? Я решаюсь. Точнее, не могу не больше молчать и сдерживаться.

– Я скучал по тебе. Очень скучал.

Я вижу, что она не ожидала услышать такие слова от меня. Она даже оглядывается по сторонам, будто хочет удостовериться, что в комнате кроме нас никого нет. Первой Жены больше нет – есть только девушка, которую я знал когда-то и которую я полюбил неисчислимым количеством лет назад.

Я не поехал домой в ту ночь. Я вообще больше туда не возвращался. Мне больше нечего было там делать – за Иаковым есть кому присмотреть, услуги комфортного проживания оплачены на десять лет вперёд, существование доведено до автоматизма. Глава общины – больше внешний атрибут, нежели навязанная необходимостью единица. Главный покинул свой пост – и никто этого даже не заметил.

В ту ночь я не спал. Я говорил. Оказывается, во мне накопилось столько информации, что рассказать обо всех своих переживаниях я не смог бы и за тысячу лет. Поэтому я говорил и говорил, а бывшая Первая Жена – моя Амелия – слушала меня. Когда я уставал от собственного голоса, она рассказывала мне о



том, что я пропустил. Чувствуя себя несоизмеримо выше увлечений и слабостей обычных смертных, я в своём бессмертии оказался за пределами истории. Возникновение и распад крупных корпораций, мировые кризисы, природные катаклизмы, клонирование Шекспира, разоблачение Шекспира, безуспешные попытки сохранить белых медведей как вид и тоскливо жалобные глаза последнего его представителя. Я пропустил жизнь, променяв её на вечное существование. Позабыл о том, что значит быть человеком, став существом. Пафосные слова.

Я чувствовал, что она смотрит на меня с жалостью. Да и я сам понимал, что выгляжу жалко. Этакий маркиз де Сад на грядке. Кроме того, я ведь всё это время относился к ней именно как к Первой Жене – отнюдь не последней и далеко не единственной. Я боялся спрашивать её о том, каким я окажусь по счёту. Она не стала уточнять.

– Как ты жил-то все это время? Чем занимался?

Это простые вопросы поставили меня в тупик. Я начал перечислять проблемы общины, в решении которых и принимал участие. Внутренние распри. Каталогизация общего имущества, рассмотрение заявок на продолжение рода. Какого рода? Смитов? Ли? Ивановых? Как можно продолжить род, корни которого затерялись где-то между временем и стремлением стереть себя из архивных баз данных? Чем обусловлены эти внутренние распри, если не попыткой хоть как-то разнообразить монотонное течение веков? Если бы была возможность скрасить дни дуэлями или устроить пляски вокруг подвешенных на крюках врагов, мы бы пошли на это. Но политика закапывания голов в землю вынудила нас довольствоваться взаимными придирками и редкими попытками суицида, которые, впрочем, ни к чему не приводили и потому, в конце концов, перестали привлекать внимание общины. Как я жил? Чем занимался все это время? Я не смог ответить ни на один из этих вопросов и только пробормотал опять:

– По тебе скучал...

Она улыбнулась и поцеловала меня. Мне стало тепло.

Утром нас разбудил телефонный звонок. По привычке я первым взял трубку и услышал мужской голос. Где-то в животе ухнуло, и миниатюрная трубка стала тяжёлой, как если бы была сделана из свинца.

– Вам необязательно отвечать на этот телефонный звонок. Данные перенаправлены на ваш номер автоматически. Мы рады проинформировать вас о том, что вы стали счастливой обладательницей...

Коммивояжеры. Нигде от них не скрыться. Я попытался проанализировать свою реакцию на мужской голос в трубке и довольно быстро разобрался в себе – годы самоконтроля полетели к чёрту, и я опять испытал чувство собственнического отношения к объекту любви. Как немного нужно для того, чтобы разрушить башню, выстроенную бестолковым архитектором!

– Кто звонил?

Амелия смотрела на меня напряжённо. Я понял её взгляд: она боялась, что моё вчерашнее состояние было следствием перенесённого стресса. Честно говоря, я боялся того же, но, увидев её глаза, вздохнул с облегчением.

– Коммивояжеры. Ты что-то выиграла.

И мы оба рассмеялись. Это полузабытое чувство беспричинной радости вернуло нас в те времена, когда мы только начинали планировать свою жизнь: у нас обязательно будет свой дом, участок, четверо детей и собака. Или даже две собаки и пятеро детей. И жить мы будем у моря. Утром будем просыпаться от крика чаек, а вечером будем обязательно выходить на прогулку по берегу. И умрём в сто двадцать лет, обнявшись, в одной постели. Всё это ещё можно осуществить. Кроме возраста, конечно. С этим уже ничего не поделаешь.

– О чём ты думаешь?

Она пристально смотрела на меня и ждала ответа.

– Я думал о нас – о том, какими мы были. О том, чего мы хотели от этой жизни. И о том, не поздно ли начать всё сначала?

– Никогда не бывает поздно. Но в нашем случае мы можем опоздать.

Заметив на моем лице недоумение, она рассмеялась и уточнила:

– Мы можем опоздать в больницу – к бабушке.

Внутренне я обругал себя последними словами. Как я мог забыть! Ещё вчера я чуть не потерял самого родного и дорогого мне человека, а сегодня уже и не помню об этом.



Поняв мои чувства, Амелия сказала:

– Не волнуйся. У нас больше часа на дорогу.

В дорогостоящей клинике невозможно увидеть хмурого доктора или неприветливую медсестру. Каждый будто стремится выставить напоказ весь шикарный набор суперстойкого и самоочищающегося орапластика, и поэтому улыбается так, что порой и глаз не видно.

– Здравствуйте! Мы безмерно рады приветствовать вас на территории ультрасовременной клиники повышенного комфорта №512. Чем могу быть вам полезным? – мужчина за стойкой всем своим видом выражал готовность как минимум умереть при первом нашем желании.

Как только мы объяснили цель нашего визита, нам всё с той же неизменной улыбкой предложили воспользоваться кабиной №2, которая «моментально доставит уважаемого господина и его очаровательную спутницу по указанному адресу». Интересно – он с таким же выражением лица сообщает своим клиентам о смерти их близких? Или здесь не умирают? Хотелось бы.

Бабушка приподнялась на постели от удивления, когда увидела нас, держащихся за руки. Я подошёл к ней:

– Лежи-лежи, доктор сказал, что тебе пока рано вставать. И беспокоиться нельзя сильно. Извини, что мы вот так к тебе вломились.

– Наоборот – мне очень приятно видеть вас вместе. Я уже успела забыть о том, какая вы красивая пара. Мы с Амелией переглянулись. Заручившись её поддержкой, я начал:

– Мы как раз об этом и хотели поговорить. Видишь ли, мы решили жить вместе. Навсегда. Я понимаю, что «навсегда» – это очень сильное слово, но мы будем стараться. И ещё – нам было бы очень приятно, если бы ты согласилась жить с нами. Как ты к этому относишься?

Бабушка всегда была очень сильным человеком. Единственный случай, когда я видел, как она плачет, произошёл около ста пятидесяти лет назад. Тогда бабушка уронила на пол и разбила старинную фамильную статуэтку, единственную вещь, которую она хранила как святыню. Сейчас же я увидел, как моя бабушка плачет во второй раз. Может быть, во второй раз за всю свою жизнь. Я уже собрался вызвать врача, но она сказала:

– Да вы что... Я же от счастья. От радости за вас. Мне даже лучше стало. Вы это серьёзно? Не ради меня придумали?

– Нет, мы это придумали ради себя. И совершенно серьёзно. А ты поправляйся и переезжай к нам – мы будем рады.

– А Иаков?

– О нём есть кому позаботиться.

ЭПИЛОГ ВТОРОЙ

Мне часто кажется, будто я доживаю чужую жизнь. Додумываю чью-то недодуманную мысль. Заканчиваю начатое кем-то предложение. Доедаю чей-то завтрак. И люди, окружающие меня, – лишь образы существовавших когда-то существ. Существ, оставивших своим будущим отражениям свою внешность – и только. Жалкие подобия.

Я родился в колбе – так у нас называют место, где продолжатели рода избранных проводят первые пять лет своей жизни. Воспитатели и учителя с первых дней – сначала при помощи незамысловатых манипуляций, а потом и не без участия штатных гипнотизеров – внушают таким, как я, мысль о нашей уникальности. В результате к десяти годам мы получаем недоразвитую особь, убеждённую в своей божественной неповторимости. Это потом – годам к четырнадцати, когда человек начинает задавать вопросы по существу, он понимает, что его избранность имеет чёткие рамки и границы. Мы называем это ломкой. Если индивид достаточно умен для того чтобы на всё наплевать, он со временем занимает своё законное место в иерархии общины. Если же его не устраивает настоящее положение вещей, он ломается и, как правило, через некоторое время исчезает из нашего поля зрения в неизвестном направлении. Где находится это «неизвестное направление», никому неизвестно. Да мы и не пытаемся этого выяснить. Всем наплевать. Никому ни до чего нет дела.

– Ты сестру свою не видел?



- Нет, а что?
- Ее уже больше года нет, куда она подевалась?
- Не знаю, какая разница?
- Ну, она у меня книгу старинную взяла почитать и не вернула.
- Вернёт, она всегда всё возвращает, что берёт.
- А родители твои не знают, где она?
- Не знаю, спроси у них.
- А где они?
- Куда-то уехали пару месяцев назад, должны скоро вернуться, наверное.

К радости моих родителей, я оказался в числе лучших учеников. Я научился мастерски имитировать радость, печаль, страх и ненависть. Особенно мне нравилось изображать презрительное отношение к моим экзаменаторам – наверное, потому, что отчасти это чувство было искренним. Я настолько преуспел в этом, что пару раз заметил на лицах достигших совершенства особей некое подобие раздражения. Меня даже хотели выдвинуть на должность провокатора чувств, что позволило бы мне войти в число избранных среди избранных. Но что-то пошло не так, и я был в конечном итоге предоставлен самому себе. Это означало то, меня поместили внутрь не самого приятного общества, состоящего из отца, матери, бабки и ещё нескольких родственников, имён которых я не помню и в степени родства которых путаюсь. Первые несколько месяцев этого было вполне достаточно для неустойчивой и ищущей детской психики, но постепенно меня стали раздражать бесконечные ссоры родителей и монотонное бабкино бормотание одних и тех же сказок на ночь. К тому моменту, когда мне исполнилось шестнадцать, я был готов броситься под колёса скоростного поезда – лишь бы изменить что-нибудь в своей жизни. И бросился бы, если бы мне не объяснили всю бессмысленность такой выходки.

– Ничего у тебя не выйдет! – это звучало, как приговор.

Я пробовал работать вне общины. Устроился в таксомоторный парк и три года вполне успешно крутил баранку, наслаждаясь общением с пассажирами: визгливыми девушками, страдающими от нехватки времени на личную жизнь, стариками, счастливыми от того, что нашли свободные уши, уставшими офисными служащими, получившими накануне выволочку от начальства... Так продолжалось, пока однажды я не попал в жуткую аварию. Влюблённую парочку, целовавшуюся на заднем сидении, хоронили в закрытых гробах, а меня – целого и невредимого – с огромными усилиями удалось кремировать. То есть кремировали, конечно, не меня, а какого-то бедолагу, которого в день аварии доставили в морг с многочисленными повреждениями, «несовместимыми с жизнью». Мне же просто запретили заниматься самодеятельностью и настоятельно рекомендовали найти себе дело, полезное для общины. Другими словами, меня опять заперли внутри семьи. К счастью, к тому времени мои родители успели разбежаться, а бабушка окончательно спятила. Так что жизнь, если и не была сладкой, то кое-что сладенькое мне всё-таки перепадало.

– Где эта красная кнопка, будь она неладна?!

Это была наша игра – моя и бабкина. Она прекрасно знала, что и как работает в нашем доме, но любила делать вид, будто не успевает за жизнью. Да она была и есть самая живая из нас всех!.. Всё шло прекрасно, пока отец не влез со своей помощью.

- Вот здесь нужно нажать.
- Зачем ты показал ей? Она и так прекрасно всё знает.
- Потому, что мне это нравится, сынок.

Ну, надо же – сынок. Идиот.

А потом случилось что-то странное. Бабке стало плохо. То ли инфаркт, то ли инсульт – я не доктор. Я тогда вроде как в ступор впал – это факт. Знаю: мой отец решил, будто я испугался того, что могло бы случиться со всеми нами. Но он ошибался. Если бы у меня была кнопка, нажав на которую я мог бы стереть с лица земли весь этот выводок пиявок, я бы ни секунды не раздумывал.

В тот момент я вспомнил все сказки, которые мне в детстве рассказывала бабушка, и понял, что больше мне их никто не расскажет. Ещё я понял, что хочу их услышать ещё хотя бы один раз, чтобы запомнить все до единого слова.

– Когда-то, когда твой отец был таким же маленьким, как ты, мы с ним забрались высоко-высоко в горы и увидели там двух сидящих людей. Мужчину и женщину. Они сидели рядом и были покрыты толстым слоем льда. Мы было подумали, что они мёртвые уже много лет, но тут лёд на мужчине треснул – и он пошевелился. Мы, конечно, испугались и убежали. А когда я дома спросила у мышей, кто это был, они



мне сказали, что я его знаю, и больше ничего говорить не захотели.

– Бабушка, ты это сейчас придумала, да?

– Нет, конечно, я тебе только правду рассказываю.

В одном прав был отец – я был безумно, до красного тумана в глазах, напутан. Наверное, меня страшила неизвестность. Чего мне ещё было бояться?

Бабушка выжила. Отец растрогался, заехал к матери, с которой они к тому моменту не виделись уже больше года, поплакал у неё на плече и остался на ночь. Семья воссоединилась – так же пошло и вульгарно, как и распалась много десятилетий тому назад. Бабушка осталась жить с ними – уж не знаю, по своей ли воле или по воле отца. А вот мне в реанимированной семье места не нашлось. И сказок я так и не дождался.

Иногда – раз в пять лет примерно – родители вспоминают о моём дне рождения. В такие моменты раздаётся телефонный звонок, голос отца желает мне «вечно отдыхать в тени древа жизни». Я благодарю. Родительский долг выполнен, но все чувствуют себя не в своей тарелке. Прощаемся. До следующей знаменательной даты.

В нашей общине есть несколько правил, нарушители которых если и не наказываются, то приковывают к себе всеобщее внимание и долго ещё становятся предметом осуждения для всех сородичей. Одно из таких правил гласит: никто из бессмертных не имеет морального права вступать в брак с представителями рода смертных. Никто из моих родственников не знает, что именно это правило я и нарушил. Ее звали Нина. Она мне сразу понравилась – невысокая смуглая девушка с шикарной фигурой. Мне не пришлось её завоевывать – она сразу ответила мне взаимностью. Я купил домик в пригороде, мы даже собаку завели – мелкую дворнягу, которая по утрам так оглушительно лаяла на проезжающие машины, что к обеду её голосовые связки не выдерживали, и она полностью лишалась возможности издавать какие-либо звуки. Но уже на следующее утро всё повторялось. Моей жене тогда было тридцать лет, мне – шестьдесят восемь.

– Какой ты у меня красивый! Ты совсем не изменился, будто только вчера с тобой познакомилась. Как это у тебя получается? Наверное, всё оттого, что я тебя так сильно люблю. Ты заметил, как на тебя все наши соседки заглядываются?

Я сбегал от неё в день двадцатилетнего юбилея нашей свадьбы, когда заметил у неё на голове седой волос. В тот вечер я выпил лошадиную дозу крысиного яда, перерезал себе вены в трёх местах, повесился и сбросился с крыши первой попавшейся высотки. А наутро выехал в поле и орал до рвоты.

Впрочем, и в моей жизни иногда происходит то, что способно меня удивить и даже заинтересовать. Однажды в дверь нашего дома постучался бродяга и в довольно наглой и развязной манере почти потребовал, чтобы его накормили. Я хотел его прогнать, но тут появилась бабка – это произошло до её болезни и чудесного воссоединения моих родителей – и с радостным курльканьем бросилась обнимать гостя. Оказалось, что к нам пожаловал один из прародителей – так мы называем тех, кто присутствовал на памятной встрече в заброшенной каменоломне.

– Йоська! – представился «прародитель» и водрузил свой не слишком чистый зад на стул эпохи Людовика XIII. Впрочем, меня это не слишком огорчило и даже в некоторой степени позабавило. Вновь прибывший обладал примечательной внешностью, а его наряд только подчёркивал яркую индивидуальность натуры.

Всё его долговязое тело создавало ощущение разладившегося часового механизма, из которого выскочила пружина. Или даже несколько пружин. Когда он двигался, создавалось впечатление, будто каждая часть его тела живёт отдельно от остальных. Для полноты картины хотелось бы сказать, что и глаза его смотрели в разные стороны, но нет – у незнакомца были чёткие и тревожные глаза. Будто два колодца.

Йоська носил чёрные сапоги выше колена, неопределённого цвета и года изготовления брюки и ярко-красный, заляпанный жирными пятнами камзол, из-под которого торчала голая костлявая грудь. Всю эту красоту завершала на удивление аккуратно постриженная эспаньолка.

– Дон Кихот вернулся, – решил я про себя.

Пока я рассматривал это чудо в перьях, бабка успела получить от него тот минимум информации, который был ей необходим, и ушла заваривать чай.

– Ванна ему больше нужна, чем твой чай, – подумал я про себя.



– Да, ванна не помешала бы.

Наверное, я подпрыгнул от неожиданности. Чёрные глаза гостя сверлили меня и будто прожигали насквозь.

– Тебя зовут Иаков. Тебе n-ное количество лет, и ты давно перестал придавать этому какое-либо значение. Когда тебе было шесть лет, ты задушил котёнка, чтобы потом наблюдать за тем, как он оживает. Да, ты был очень расстроен, когда тебе объяснили, что котёнок никогда не оживёт и что он умер окончательно и бесповоротно. У тебя в томике Артюра Рембо хранится фотография, на которой вы с бабушкой обнимаетесь. Но ты не бойся – я никому не расскажу... Ну, я пошёл. Передавай бабушке привет.

И ушёл. Я его больше никогда не видел и не слышал, чтобы он снова появился в нашей общине. Зачем он приходил? Я не знаю.

– А где Йоська?.. – бабка стояла с подносом и оглядывалась вокруг.

Как-то меня пригласили на званый вечер в честь чего-то или кого-то. Идти совершенно не хотелось, но складывать карточные домики хотелось ещё меньше. Пёстрая компания лысых и волосатых, в бальных платьях и бикини, с кольцами в ушах и розочками в тройках, с золотыми зубами и вилами в карманах.

Совершенно неожиданно я встретил своих родителей. Последнее время до меня доходили самые разные слухи о том, как и где они проводят время.

– Вы слышали, что они удалились в глухую деревушку? Говорят, подальше от мирской суеты.

– Это от нас с вами, что ли? Где они здесь мирскую суету нашли? А когда вернутся? Меня в прошлом году мерзавец Борис на дуэль вызвал, мне нужно согласие Главного.

– Да они сгинули где-то в районе Ганга. Там анаконды на каждом шагу. Сойдёшь с тропы – и всё кишмя кишит анакондами.

– Да что вы такое говорите – они только вчера устроили скандал в ресторане из-за грязной тарелки. Им десерт-то принесли, а на тарелке – пятно, представляете?

– Вы в приюте для животных поищите, они недавно там презентацию новых препаратов проводили.

– Нет, там их уже нет, они полгода назад на Эвересте застряли. Там оттепель сильная была, они заснули, а ночью опять похолодало. Вот они и вмерзли.

– Привет, пап! Привет, мам! – как-то само собой вырвалось у меня. Я удивился – раздражения, которое они обычно у меня вызывали, не было. То ли я на самом деле скучал всё это время, то ли мы выросли из наших прежних отношений, и нам теперь впору был костюм добрых знакомых. В общем, дальше как-то сам собой организовался семейный ужин, на котором родители шутили и вели себя так, будто мы не виделись всего несколько дней. Отец выглядел чересчур возбуждённым, мать, напротив, заторможенной и какой-то вымученно милой. Мы обсудили дела общины, мои планы на будущее. Отец сказал, что рано или поздно он уйдёт на покой и мне, возможно, придётся занять его место. Похлопывал меня по плечу, подмигивал. Всё было, как у всех, но что-то было не так. Я автоматически пережёвывал пищу, но вместо вкуса мяса ощущал привкус плесени. Вино было затхлым и больше походило на воду из лужи, которую я однажды попробовал, когда был совсем маленьким. Когда отец в очередной раз громко засмеялся, довольный своей шуткой, из его рта вылетела муха. Я понял, что не было ни Эвереста, ни приюта, ни ресторана. Был этот дом, и была бесконечность.

Когда мать с отцом вышли из гостиной на балкон, я тихо поднялся и, хватаясь за стены, почти выбежал вон.

После неудачной попытки воскресить добрую старую традицию потребления пищи в семейном кругу я впервые задумался о сущности той жизни, которая всем нам досталась. Был ли это дар, которым мы распорядились по своему усмотрению – то есть как идиоты? Или вечная жизнь – наше проклятье? Тогда поведенческие рефлекссы вполне логичны – если нас обрекли жить в кисельном аду и барахтаться в нём, подобно мухам, то мы полностью соответствуем ожиданиям неизвестно кого. Мы даже достигли определенных успехов в этом деле. Ещё немного – и начнём выбирать лучших.



Но ведь любое наказание подразумевает возможность заслужить или вымолить прощение. В нашем же случае проблема заключалась в отсутствии адресата: не у кого было просить прощения и некому было служить.

Впрочем, сама идея покаяния всегда казалась мне привлекательной. Однажды я даже пришёл в церковь на исповедь, но когда подошла моя очередь, я не знал, с чего начать. Да и начинать-то было не с чего. Я в своей жизни не сделал ничего дурного. Правда, и из хорошего я ничего значимого не смог вспомнить. Поэтому решил зайти как-нибудь в другой раз – лет через пятьсот, – когда нам с Богом будет, о чем поговорить.

За свои десятилетия, перетекающие в века, я ознакомился едва ли не со всеми религиями, верованиями и учениями. Общался с представителями всех существующих конфессий. Но никто не смог мне сказать ничего путного не только о смысле, но даже о причине нашего существования. Я слушал пространные рассуждения, и перед моими глазами вставали страницы древних манускриптов и дешёвых брошюр, многотомных энциклопедических изданий и приглашений на «вечера верь», написанные от руки... Всё, что мне могли сказать о Боге, я уже давно прочитал. А всё, что не вошло в книги, сводилось к однозначному «верь». Как топором.

Только один старенький мулла в ответ на мой вопрос сдвинул очки на кончик носа, внимательно посмотрел на меня и спросил:

- А разве ты сам не знаешь, зачем живёшь?
 - Нет, уважаемый, не знаю, – смиренно ответил я.
 - Выходит, ты дурак?
- Выходит, дурак.

Так я и проводил свою жизнь – день ото дня, из года в год. Хочется продолжить: пока не случилось что-нибудь эдакое. Землетрясение, извержение вулкана, метеоритный дождь, нашествие бешеных сусликов или бабкины блины (она отвратительно готовит блины – вечность не помогла ей освоить это искусство). Но нет – ничего не происходило, и время текло мутной рекой, то и дело прибывая к берегу обломки чьей-то жизни и грязные ботинки.

В детстве я мечтал скорее повзрослеть. Повзрослев, я возмнил себя божеством и захотел свободы. Достигнув зрелости, я понял, что свобода – это миф, и возжелал мудрости, но мудрость так и не пришла, так как после зрелости наступила зрелость. Бесконечный процесс переливания из пустого в порожнее. Дорог было множество, но каждая заканчивалась тупиком. Мне не оставалось ничего, кроме как стать философом – все мои знакомые рано или поздно приходили к тому же. Сначала мы запирались изнутри в самых дальних комнатах своих апартаментов и окуривали себя дымом благовоний, купленных в индийских лавках, которые неизменно оказывались рядом с общиной.

Если в этом мире есть что-то вечное и неизменное, то это именно такие лавки. Их хозяева будто и не слышали о мировых экономических тенденциях, рыночной экономике, спросе и предложении, свободной конкуренции. В этих обособленных мирках всё было так же, как и несколько столетий назад – уж я-то это знаю. Всё идёт своим чередом. Всё происходит именно так, как и должно происходить, – и никак иначе.

Но благовония приедались. Медитация уже не приносила спокойствия и внутренней гармонии. Закрытое пространство становилось ненавистным, и мы кидались в другую крайность. Морской воздух и свежий утренний ветер. Единение с природой... Закат, восход, пенье птиц, роса на ступнях, неистребимые комары и Лев Толстой в какой-то шпироченной рубашке, название которой я забыл.

Но и это надоедало. Сколько лет подряд можно встречать рассвет в надежде на просветление? Лет десять – не больше. Максимум – пятнадцать. А дальше? Апатия, депрессия и, наконец, собственная формула бытия. К этому приходит каждый из нас – исключений не бывает. Это относится и ко мне. Испещрив своё тело культовыми татуировками, самая стойкая из которых продержалась три дня, после чего бесследно исчезла, я пришёл к неутешительному для себя выводу: время – это бабкины блины. Как бы ты к ним ни относился, однажды появившись, они есть и будут всегда. И с этим ничего нельзя поделать. Тебе всегда предложат откусить кусочек, а если ты откажешься, найдётся тот, кто, проходя мимо, обязательно толкнёт под локоть стоящего с подносом, и твой новенький с иголочки костюм покроется уродливыми жирными пятнами.



ЭПИЛОГ ТРЕТИЙ

У меня за всю мою жизнь было всего шесть детей – немного, если сравнивать с остальными нашими женщинами. Один – от мужа. Остальные пять – от тех мужчин, которые показались мне достойными внимания. Все они были смертными, конечно. Каждый раз я надеялась на то, что ребёнок унаследует мою способность жить. Напрасно... Каждый из них рождался, жил и умирал – в соответствии с законами природы. В соответствии с теми законами, которые мы каким-то образом умудрились обойти. Последний мой шедевр – престарелая дама по имени Марта – доживает где-то на юге Франции.

– Мама, мама, посмотри, какую я куколку сделала! Видишь: здесь у неё глазки, здесь вот ротик, а вот это – нос. Поможешь мне для неё платье сшить? Давай это будет теперь моя сестра, хорошо?

Я для неё умерла лет сорок назад – погибла во время землетрясения, которое случилось весьма своевременно. На те деньги, что она получила в наследство, можно жить безбедно ещё лет двести – поэтому я спокойна за её будущее, как и за будущее её детей, внуков и правнуков, которых я никогда не видела. А если и увижу, то наверняка не узнаю.

Муж, конечно, не знает о моих детях вне семьи. Или делает вид, что не знает. Так или иначе – для людей, имеющих в своём распоряжении вечность, отпуск длиной в тридцать-сорок лет не значит ровном счетом ничего. А за это время многое может произойти. В том числе могут случиться и дети.

В моей банковской ячейке хранится фотоальбом. Вот Марте три года – она в забавном платьице и с улыбкой до ушей. Вот она уже девочка-подросток. День свадьбы... И всё. Впрочем, я уверена, что дала ей все, что могла.

Я знаю, что практически каждый член нашей общины прошёл через подобное. Тоска по обычной жизни с её реальными ощущениями и ценностями, значения которых давно стёрлись из нашей памяти. По большому счёту, семья вне семьи – это не больше, чем напоминание о том, что всё ещё имеет смысл. Если взглянуть на положение вещей трезво, то получится, что население некоторых стран на 20-25 процентов состоит из наших потомков. Причём из рождённых как в законном браке, так и вне его. Я заметила, что связи, возникающие между членами общины и смертными, всегда приносят свои плоды.

Во время памятной встречи в преддверии вечности я уже была беременна. Только никак не могла понять – то ли ребенок был от мужа, то ли от соседа, с которым мы встречались несколько раз в поле во время сезонных работ. Когда родилась девочка, я была счастлива, поскольку она была во всём похожа на меня, ничего не перенив ни от одного из моих мужчин. Оставалось ждать. Когда к 35 годам я начала замечать в ней возрастные изменения, мне стало ясно, что участие мужа в её зачатии было исключительно пассивным. Тем не менее, её увядание и, как следствие, кончину, все отнесли к тому, что к моменту начала беременности мы с супругом были смертными. Так что грехи моей молодости удалось скрыть.

Всё забудется, дорогая.

Ничего не поделаешь, дорогая.

У нас будут ещё дети, дорогая.

Обязательно, дорогая.

И они будут, как мы.

Вот радость-то... Дорогой.

Странно, но первые пару сотен лет нашей семейной жизни мой муж всецело мне доверял и не сомневался в моей преданности... А потом ему стало всё равно. Да и меня к тому времени наши семейные отношения беспокоили меньше всего.

Люди думают, что время неосяземо. То есть потрогать его нельзя. Как воздух. И даже больше. Неправда это – время тягучее и мутное, у него есть свой запах. Если провести по нему ладонью, то на коже останется тонкая плёнка, как если подержать в руках слизняка. Впрочем, кто-то умудряется и от этого получать удовольствие.

Можно собрать время в кулак и надуть из него пузырь – и жить в этом пузыре, пока он не лопнет. Это может случиться через минуту, а может и через несколько лет. Однажды я прожила в таком пузыре семь лет. Он был прекрасным любовником и великолепным отцом. Сильный, красивый. У нас был дом в лесу. Рядом был пруд, в котором мы купались по ночам голышом. Мечта.

– Любимый, давай поедем в город? Там можно купить чудесные платья.



- Конечно, любимая.
- Может быть, потом заедем к Йовану? Он давно приглашает. Говорят, у него чудесное вино.
- Обязательно заедем. Но если он опять будет глазеть на тебя, я его поколочу.
- Договорились. С удовольствием посмотрю на это.

Пузырь мечты. Он лопнул, когда к нам в дом неожиданно ворвались грабители – нас с мужем связали и бросили в наше озеро, а детей, на их счастье, в тот день забрала к себе золовка. Он до конца пытался разорвать верёвки. Нас так вместе и похоронили. Было темно, рядом со мной лежало что-то холодное и липкое. Как время, которое тянулось и обволакивало память рыбьими потрохами. Образ того сильного и красивого, к которому прижималась холодными ночами, стал прозрачным. А потом и вовсе стёрся из памяти. Осталось только желание пережить это снова. Я пыталась вернуть то чувство защищённости и счастья много раз, но напрасно. Их было много. Но Он так и остался единственным.

– Йоська, послушай, ты ведь один из тех немногих, кто никогда не оказывал мне знаки внимания. Это хорошо, конечно, мы можем дружить. Но неужели я тебе совсем не нравлюсь?

– Нет, ни капельки не нравишься.

Вот мерзавец! Мог бы хотя бы соврать.

– Даже несмотря на то, что я жена Главного?

– А мне что с того? Он твой муж. Я – не твой муж. Ты ему должна нравиться. Он – тебе. Все просто.

– Какой ты однозначный. А вот если мы разведёмся, я тебе буду нравиться?

– Нет, и тогда не будешь. Ты мне уже нравилась, я тебе об этом говорил, помнишь? Ты мне сказала тогда, что у меня родословная не та. Мне достаточно одного раза.

– О чем ты? Когда это я тебе отказывала? Шутки твои опять? Нет, не подумай, ты-то меня как мужчина тоже не привлекаешь (*получи, скотина!*).

– Мне брюнетки вообще как-то не очень. Да ещё такие возрастные.

– Тоже мне юнец нашёлся – ты свою дату рождения хоть помнишь? Кроме того, я блондинка, как ты мог заметить.

– Да? Это ты так думаешь. Подойди к зеркалу и хорошенько присмотришься. И – да, я помню, сколько мне лет. А ты помнишь?

Из зеркала на меня смотрит черноволосая женщина. У неё опшарапленный взгляд и бледная кожа. Трёт глаза. Ещё раз. Из зеркала на меня смотрит рыжая, вся в веснушках, девчонка. Что за черт?

На этом рисунке мне четырнадцать. Соседский мальчишка, которому я понравилась, очень хорошо рисовал. Но при этом был нескладным и, в общем, каким-то чудаковатым. Глаза такие были у него странные – будто насквозь тебя видят. Говорит так странно:

– Ты не двигайся, я хочу твои плечи нарисовать. Хотя можешь двигаться, я тебя хорошо помню. Ты тоже себя помни такой. Не забывай только. Хотя можешь и забыть. Я тебе напомню. Я хочу жениться на тебе, ты без меня пропадёшь, ты без меня потеряешься. Пойдёшь за меня?

Ха! У его папаши всё имущество – полудохлая кляча. Говорят, что бабка с нечистью водилась, оттого и глаза у внука такие стали, будто два колодца. Но рисунок действительно потрясающий. Почему он ни капельки не выцвел за все эти годы?

Однажды вечером ко мне неожиданно заехал супруг. А я, как назло, не могла вспомнить его имени. Каша в голове... Я так привыкла называть его то Главным, то Муж, то ещё как-нибудь, что настоящее имя окончательно выветрилось из памяти. Стояла и молчала, как дура.

К тому времени мы уже несколько месяцев или даже лет не виделись и давно жили отдельно. И вот – повод для встречи. Бабка заболела. Забавное, кстати, существо – его бабка. Старушка вечная. Своим видом скрашивает существование общины. По какой-то причине она чуть не отдала концы в тот день. Его это сильно выбило из колеи, он решил, что я – идеальная жилетка, в которую можно поплакаться. А в моей



жизни на тот момент как раз никого не было, поэтому я была не прочь утешить его. Что бы там ни было, но с тех пор мы вместе. Оказалось, что временное постоянство – тоже разнообразие. В этом что-то есть.

Однако постоянство надоедает – поэтому я периодически позволяю себе некоторые вольности. Все у нас так делают – для поддержания нормальных человеческих взаимоотношений. Как-то из-за таких вольностей произошла довольно забавная история. На одной из вечеринок, которые я устраиваю раз в месяц, мы решили провести бал-маскарад. На мне было открытое платье и маска, скрывавшая большую часть лица. Я познакомилась с довольно привлекательным мужчиной и весьма приятно провела с ним время. Потом, когда мы в конце вечера сняли маски, этим мужчиной оказался Иаков. Иаков – это мой сын. Он потом очень переживал по этому поводу – резал вены и топился в пруду. Но порезы тут же затягивались, а со дна Иаков упорно всплывал. Над ним все смеялись, поэтому я ему сказала, чтобы он прекратил заниматься ерундой.

Муж будто делит меня со своими несуществующими обязанностями. Одной рукой гладит мои волосы, а другой чешет подбородок – думает о чём-то. Что может быть важнее того, что сейчас? Думать о будущем – глупость. Завтрашний день навряд ли будет отличаться от сегодняшнего. Да и от вчерашнего. Опять же, думать о том, что было вчера – ещё большая глупость. Вчера наступило много лет назад и никак не закончится.

– Что будет, если нам с тобой просто сесть где-нибудь, где нас никто не найдёт, и сидеть? Долго-долго сидеть и ничего не делать. Мы ведь от голода не умрём.

– Где например?

– Да хоть где. В Гималаях. Сесть на верхушку какой-нибудь горы и сидеть там, пока не надоест, м?

– А зачем?

– Да какая разница? Тебе не надоело то, чем ты занимаешься сейчас?

– Надоело, но это не повод сидеть без дела.

– Ну и ладно, тогда я сама пойду.

– Ну, что ты сразу так? Пойдём вместе. Может быть, это даже будет интересно. Необычно во всяком случае.

Кто пробовал сидеть молча на вершине горы целый год? Я пробовала. Скучно только первые две недели. Потом – вообще тоска.

Сегодня я проснулась рано – ещё не рассвело. Проснулась от чувства пустоты – будто все внутренние органы растворились, и под кожей булькает вода. Стало так страшно, что захотелось взять бритву и посмотреть, так ли это. Я никогда за всю свою жизнь не думала ни о чем подобном. Взяв лезвие, я медленно и осторожно провела им по своей коже. Края разошлись, но тут же вновь соединились. Не осталось ни намека на порез. Боли тоже не было. Я изо всех сил ударила металлом по руке, ожидая увидеть фонтаны крови. Ничего не было. В течение нескольких секунд – пока рана не затянулась – я рассматривала серо-коричневую плоть и полые кровяные сосуды, в которых застыла жидкость неопределенного цвета.

Вечером были танцы в доме нового Старосты. Главный отошёл от дел и теперь занимал должность Советника. Во время ужина я несколько раз якобы случайно поранила себя столовыми приборами. Крови опять не было, но это никого не удивило. Наконец, я подошла к Старосте и воткнула ему вилку в щёку. Он улыбнулся краем рта и, словно не заметив моего идиотского поступка, вынул вилку и положил её слева от своей тарелки. Вилка была идеально чистой. Все смотрели на меня будто сверху вниз, словно знали то, о чём я только начинала догадываться. Я вопросительно взглянула на своего мужа, но он сделал вид, будто ничего не заметил. Вечер продолжался. Женщины не стеснялись своей перманентной наготы. Мужчины скучно глядели на приторно знакомые тела. Дети играли в хирургов. Я что-то пропустила. Что-то очень важное.



ЭПИЛОГ ЧЕТВЁРТЫЙ

Когда мне было шесть лет, отец научил меня проходить сквозь стены. Это такое забавное ощущение – чувствовать внутренности стен. Однажды я решила прогуляться между комнатами – и застряла. Помню, как испугалась тогда. Ещё помню, как просидела в темноте несколько часов, пока отец не нашёл меня и не вытащил наружу. Сильно меня отругал и тут же научил открывать глаза внутри стен. Это почти так же, как открывать глаза под водой, – сначала неприятно, но потом привыкаешь.

Девушкой я подолгу бродила в межкомнатных перегородках. Иногда подглядывала за соседями. Странно наблюдать за тем, как порядочные с виду люди меняются, когда им кажется, что их никто не видит. Бывает, правда, и наоборот. Думаешь о человеке невесть что, а он на проверку оказывается порядочнее многих.

Но интереснее всего было искать оставленные или потерянные кем-то вещи. Так я однажды нашла большую молотую монету – правда, для того, чтобы выгащить её, мне пришлось пробить дыру в стене. Тяжелая такая монета с каким-то важным носатым мужчиной. Как она появилась там, так и осталось тайной, однако мы не стали искать её владельца – ведь дом к тому времени стоял на одном месте уже много лет. Мы продали золото скупщику и построили на вырученные деньги большой сарай. Правда, стены у него были тонкие, и в них неинтересно было гулять. Зато там был прекрасный чердак, а в подвале жили мыши.

– Привет, ба!.. Чаю?

– Да, конечно. Зелёного с сахаром. И льда не забудь положить!

– Бабушка, ну при чём здесь лёд? Это моветон, знаешь ли...

– Положи.

Каждый сопляк норовит учить. Моветон – это риторика. Дерьмо.

С мышами я так и не сумела подружиться, хотя отец научил меня их языку. Стоило мне спуститься в подвал, как они тут же разбегались кто куда, и прятались в норы и щели.

– Почему вы боитесь меня? Я не сделаю вам ничего дурного.

– Ты не наша, ты чужая. Уходи.

– Но ведь с моим отцом вы разговариваете. Почему он не чужой тогда? Потому что он вас кормит? Вот, я вам принесла зерна. Выходите.

– Твой отец не чужой. Он как мы. От тебя странно пахнет. Мы боимся тебя.

Как я ни пыталась выманить этих мелких зверьков, ничего у меня не вышло. А жаль – нам бы и сейчас было о чём поговорить.

Как-то я прогуливалась в одной широкой и важной кирпичной стене – и встретила своего мужа. Конечно, он им ещё тогда не был. Странно было столкнуться с другим человеком в таком неожиданном месте. Я испугалась и выскочила наружу. Передо мной оказался таз с мыльной водой, в котором какая-то женщина с красным носом стирала бельё. Она завизжала, кинула мне в лицо тряпку – мыло попало мне в глаза, я споткнулась и, падая, сильно подвернула ногу. Мой муж вышел за мной следом, прикрикнул на орущую бабу и на руках отнёс меня домой. На следующий день отец объявил о нашей помолвке, а в четырнадцать лет я родила своего первого ребенка. Женщину с тазиком в конце концов сожгли как ведьму. Тогда мне было всё равно, а сейчас мне её жаль.

– Чай, ба... Как ты просила.

– Трубочку заberi. Не хватало мне ещё чай через трубочку пить!

– Но он же холодный почти!..

– Заberi.



А Веня был моим третьим. Первые две были девочки. Они умерли ещё в младенчестве, бедняжки. Трудные тогда были времена. Мне было уже далеко за двадцать, когда у нас родился сын. Муж на радостях напился молодого вина до умопомрачения и полез целоваться к какому-то проезжему. Оступился, ухватился за хвост коня, и тот его лягнул. Лягнул, конечно, не насмерть, но так, что муж от удара отлетел к соседнему забору, где его и нашли утром замерзшим. Многие видели, как он упал, но никто почему-то не помог.

У меня больше никогда не было детей, но это не страшно. Зато Веня с двух лет умел гулять внутри стен и даже научился разговаривать с мышами, которые от него не прятались, а, напротив, перепискивались с ним часами напролёт.

– Молодой хозяин, будь внимателен. Бойся больших камней и женщин, меняющих лица. И те, и другие сделают тебе больно. После первых ты станешь сильнее, но постепенно растеряешь себя. Вторые соберут тебя по кусочкам, но соединят их неправильно, и ты останешься несчастным до конца твоих дней.

Веня так рано проявил свои способности, что никогда не задумывался о том, что такое дано далеко не каждому. Ну, а я его и не разубеждала никогда. Наверное, зря. Чем старше он становился, тем реже вспоминал о своем даре, пока в один прекрасный день и вовсе не забыл о нём, – у него появились новые интересы и увлечения, которые мне не очень нравились. Способность проходить сквозь стены, конечно, не пропала, но он ей больше не пользовался. А то, чем не пользуешься, рано или поздно отмирает. Однажды во сне он упал с кровати и, пролетев несколько проёмов, плавно опустился в подвале. Мыши пытались с ним заговорить – даже я это слышала, – но он, сбросив с себя наиболее дружелюбных и общительных из них, выбежал на свежий воздух. Он так и не понял, что с ним произошло. Так ничего и не вспомнил.

Я несколько раз пыталась рассказать ему о том, что он когда-то умел и от чего он отказался ради пива и женщин, но он лишь смеялся и советовал найти себе мужчину.

– Не то совсем с ума сойдешь, мать...

Я уже не помню, когда именно он начал называть меня бабкой. Мне тогда было не больше сорока пяти, наверное. Хотя нет – помню. Как-то ночью он заявился домой навеселе с дочкой кузнеца. Веня заявил, что главе семьи негоже ходить на рынок за продуктами, и поэтому теперь этим должна будет заниматься его жена. И на девку пальцем показывает.

– Принимай, бабка, потомство!

Впрочем, жена у Вени оказалась довольно покладистой. Не шумела. Не пила. Не гуляла. Хотя и любви особой к сыну я в ней не замечала.

К тому времени я тоже разучилась проходить сквозь стены. Однажды попыталась срезать путь – разбила себе лицо. Больше и не пыталась никогда... Может, стоит попробовать снова?

– Может, ещё льда? А то чай-то нагрелся...

Иаков считает себя очень остроумным. А по мне – так просто язвительный избалованный мальчишка. Но я его люблю, конечно. Родителям он не нужен. Сначала ждали его, как чудо. Потом радовались, как новой игрушке. А когда поняли, что игрушка умеет не только говорить «папа-мама», но и думать, перестали интересоваться им. Испугались. Бог им судья. Я тоже не безгрешна. Всю мою любовь высосал мой сын. Иакову достались жалкие остатки.

Я безвозвратно постарела. Глубокие морщины и седые волосы, торчащие из ушей и ноздрей. Я их выпщипываю, но они появляются снова и снова. Хуже всего то, что этот процесс необратим. Конечен, безусловно, но необратим. Я не могу ни умереть, ни стать совсем дряхлой старухой, неспособной передвигаться без посторонней помощи. Мне бы хотелось этого. От немощности никто ничего не ждёт, к ней привыкают, как к бородавке.

Каждое утро я просыпаюсь от болей в суставах и пытаюсь вспомнить о том, что было вчера. А вчера было то же, что и за день до этого. Вся моя жизнь слилась в один кислесобразный ступок бессмысленных движений.

Я пыталась найти успокоение в домашних делах и прочей ерунде.



– Бабка, ты бы угомонилась уже. Зачем чистишь камин? – у нас всё давно электрифицировано. Забыла, какой сейчас год?

Пыталась садиться за мемуары.

– Ну, ты даешь. Вергилия ещё вспомни. Ты летопись времён что ли собралась писать? Уж лучше почисти камин, больше проку будет.

Однако быт быстро приелся и в итоге стал ненавистным, а мемуары всегда обрывались на первой странице.

И я смирилась. Когда-нибудь это должно закончиться. Мое дряхлое тело распадется, как распадается всё в этом мире. Никто этого не видит, для всех я остаюсь такой же, какой была последние сотни лет. Но я чувствую, как земля забирает меня. Каждый день меня становится всё меньше, и я уверена, что скоро я и вовсе исчезну. Это закон природы – его нельзя нарушать. А пока я пью чай. Зелёный со льдом. Сахару побольше – диабет мне не страшен.

Когда Иаков был совсем маленьким, я каждый вечер рассказывала ему сказки. Когда все известные мне истории подошли к концу, мы решили придумывать свои. Наверное, это были самые счастливые дни в моей жизни. Это было так давно, но я до сих пор помню их наизусть.

– Бабушка, можно сказку?

– Что, опять? Ты уже большой, сам мне можешь сказки рассказывать. Помнишь, как вчера ты мне говорил, что торт сам себя съел? Хорошая сказка вышла, а?

– Ну, пожалуйста! Что ты опять? Это не я его съел – честное слово.

– Конечно, не ты. Он сам. Ну, ладно, ладно. Какую тебе?

– Новенькую.

– Ну, слушай. Новенькую, но старенькую, как бабушка. Однажды, давным-давно, жил человек. А может, и не давным-давно. Может, совсем недавно жил.

– А почему жил? Он что, уже не живёт? А почему?

– А потому, что торта объелся и лопнул. Так вот, жил он вполне сносно, но вот однажды его начал беспокоить голод. Да не такой, который можно утолить, а такой, что и жить не хочется.

– И он перестал жить, да?

– Ещё нет. Это потом. Слушай. Люди вокруг ему казались серыми. Краски – тусклыми. Разговоры – пустыми. Разучился он испытывать радость, не мог больше смеяться. Даже улыбаться у него получалось с трудом. И вот он начал есть книги. Одну за другой. Глотал, не пережевывая. Вместе с корешками.

– Как это – с корешками? Он что их, откапывал? А зачем их закопали?

– Корешки в книги закапывают, чтобы листья не осыпались. Так вот, глотал он книги, но это не помогло. Он всё так же хотел есть. Тогда он принялся пить музыку. Пил её и пил – целыми днями. Даже ночью просыпался, чтобы сделать глоток-другой. А жажда всё не утолялась. Он и Чайковского пил, и Моцарта, и Баха с Глинкой пил, но всё зря. С каждым днем ему хотелось всё больше.

– А мне можно их попить? Я их не пил ещё. Бабушка, почему я не пил глинку?

– Вот сейчас наведу – попробуешь. Дальше рассказывать? Он начал пожирать все картины, которые встречал. Он слопал всего Рубенса, почти полностью съел Караваджо, закусил Пикассо, обглодал Гойю. Но ему казалось мало. Гогена с Ван Гогом он проглотил целиком, даже не подавился.

– А помнишь, ты меня ругала, когда я твою фотографию наслонювил? А его никто не ругал, что ли?

– Ругали, конечно. Но он был уже взрослым и в ответ ругал тех, кто ругал его.

– А мне так можно?

– Вот подрастёшь – можно будет. Его родные и близкие люди пытались помочь ему. Они приглашали его на праздники, но он не приходил. Пытались разговаривать с ним, но он их не слышал. Брали его за руки и выводили ранним утром встречать рассвет, но лучи солнца будто не долетали до него.

– Он свихнулся, да?

– Может быть, и свихнулся. А может, и нет. В конце концов, он остался совсем один. Но его это ни-сколько не волновало – он был очень богат и думал, что может позволить себе одиночество. И вот одна-



жды, когда он уже не в силах был терпеть голод, он решил приготовить себе такое блюдо, какого никто ещё не видел. На все деньги, что у него были, он купил огромное количество произведений искусства и заперся от всего мира в своём большом доме.

– Он что, решил съесть всё сразу? У него живот не лопнул?

– Он ел и ел. Ел и ел. И всё ему было мало. Он намазывал на картины фотографии и записывал их музыкой. Заедал скульптуры кинематографом. Закусывал прозу поэзией. И так несколько дней.

– И что? Лопнул?

– Когда спустя две или три недели обеспокоенные родственники пришли в дом вечно голодного человека, они не смогли его найти, хотя искали долго и старательно. Обеденный стол был накрыт на одну персону. Свечи оплавилась. Всюду были разбросаны чудесные произведения искусства, но хозяина нигде не было видно. На полу лежала одежда – так, как если бы из неё разом выпрыгнули. Со стен стекала краска, хотя никто так и не понял, откуда она там взялась. Во всём доме звучала музыка, но источник её не смогли найти. Из всех углов раздавались мужские и женские голоса, хотя никого не было видно. И сам воздух дрожал от непередаваемого ощущения счастья сытости. Открыть бы в этом доме музей, но люди испугались, что голод распространится, как чума, и предпочли уничтожить его. Здание было разрушено, а имя этого человека предано забвению. Вот такая сказка. Понравилась?

– Я тебе сазу сказал: он лопнул! Глупая сказка.

– Спи.

– Ба, а ты помнишь, как рассказывала мне сказки? Расскажешь одну?

– Вот ещё! Ты при отце такое не скажи – а то он подумает, что старческий маразм заразен. Иди ко мне, родной, – я тебя обниму. Давным-давно, когда не было ещё ни людей, ни зверей, на землю прилетел большущий корабль – с парусами и ярко-красным флагом...

Когда-нибудь это закончится. В последнее время ко мне всё чаще приходит мысль о том, что все мы стоим на краю. Люди не должны так жить. Если в самом начале я могла, не задумываясь, назвать десятка два хороших людей, то сегодня мне нужно основательно покопаться в своей памяти, чтобы найти хотя бы парочку таких, как Йоська. Станный он человек. Станный и хороший. Наверное, он понял раньше меня, что для того чтобы остаться человеком, нужно жить как можно дальше от себе подобных. Он заходил ко мне несколько раз. Никогда не предупреждал о визите, никогда не прощался, когда уходил. Но каждый раз после его визита у меня оставалось тягостное ощущение того, что мы что-то делаем не так. А вот что именно – я так и не смогла понять. Или поняла уже после первой встречи с ним, но всё время ждала чего-то большего.

Я люблю своих родных. В каждом из них осталась крупинка светлого и чистого. Я вижу это, когда они спят. Они улыбаются во сне. Хорошие люди всегда улыбаются во сне.

Мне часто снится моя родная деревушка, я почти физически ощущаю прохладный ветерок, который дул с гор. Вижу их снежные шапки. Отец смеётся. Муж несёт меня на руках домой. Я просыпаюсь со слезами счастья на глазах и долго потом пытаюсь вернуться туда, где мне было так хорошо.

ЭПИЛОГ ПЯТЫЙ

К своему тридцатилетнему юбилею я подошёл без жены, без дома, без сбережений и без определённых планов на ближайшее будущее. Жена ушла к соседу потому, что у того коров было на две больше, чем у меня, и он обещал свозить её на праздники в город. Дом мой вместе с постройками сгорел после того, как я засмеялся во время вечерней молитвы в нашей церквушке – мне вспомнилось выражение лица моей бывшей, когда ни в какой город она не поехала, а её новоиспечённый супруг пропил те немногие драгоценности, что у неё были. На меня зашикали – я постарался смеяться шёпотом. А когда вернулся домой из пивнушки, куда зашёл пропустить стаканчик-другой, то увидел лишь догорающие головешки. А коров кто-то спас. Вот только кто, я так и не понял – мне ведь их не вернули.

О каких планах может идти речь, когда зад прикрыть нечем?



Впрочем, я знал, как отпраздную свой день рождения. Меня местная вдова угостила замечательной настойкой в благодарность за то, что я починил ей забор и ещё кое в чём помог. Этой настойке я и собирался воздать должное в тот вечер. Я давно уже приметил себе уголок в нашей каменоломне... Неважно. Фляга с настойкой была пуста, в глазах двоилось – поэтому сборище обормотов, которое организовал Вениамин, меня особо не беспокоило. Да и они меня не заметили. Я тихо заснул.

А утром я поднялся с абсолютно свежей головой без намёка на похмелье. Кстати, у меня с тех пор похмелья вообще не случается, хотя это дело я люблю.

Как-то пригубил винца и полез на мельницу крылышки чинить – обветшали. Оттуда-то я благополучно и упал на вилы. Распоролся так, что только уши целыми и остались. От страха начал орать благим матом. Сбежались люди, говорят: чего голосишь-то? Я на себя показываю, мол, как не орать? А они увидели бутылку из-под вина разбитую, посмеялись и разошлись. А на мне – ни царапины. Вот так всё и произошло.

Я люблю ухаживать за могилками. Они всегда должны быть в чистоте и порядке. Особенно мне нравится, когда на участке сочная зелёная трава растёт. И путать места ни в коем случае нельзя. Если уж человеку положено под осинкой лежать, так тому и быть... А тот, кто предпочитает под берёзой обитать, с подосиновиком и общаться не будет. Разные слишком у них взгляды на жизнь.

Не нравится мне, когда на могильной плите нет изображения того, кто под ней лежит. Будто безликий кто-то. Я помогаю таким. Не было у тебя лица, а я постарался – и вот, теперь видно, кем ты был при жизни. Не нравится тебе то, что ты видишь?

Вот этот портрет. Мой первый. Тот самый, который я предпочёл бы никогда не рисовать. Она была чудом – абсолютно пустым сосудом, который можно было наполнить чем угодно. Таких очень мало. Обычно мы рождаемся наполовину полными, нас можно лишь чуточку подправить. Но дрянное вино никогда не станет добрым напитком. Сколько ни старайся, всегда будет оставаться привкус. А тут – такой подарок судьбы. Нужно бы хватать её, держать крепко и никому не отдавать. Наверное, моя вина в том, что я не смог этого сделать. Добрые намерения, так и оставшиеся намерениями, хуже злых помыслов, так и оставшихся помыслами. Человек, удержавшийся от зла, достоин уважения. Человек, не совершивший добрый поступок, лишился этого добра кого-то. То есть стал Губителем в определенном смысле. В данном случае я лишился добра самого себя. Всё справедливо.

Я несколько раз пытался объяснить им суть вещей. Но всё без толку. Ведь чтобы начать искать выход, нужно хотя бы поверить в его существование или понять, что есть место, откуда нужно выйти. Без этого никак.

– А где Йоська? – бабка стояла с подносом и оглядывалась вокруг.

А подноса нет. Как объяснить ей это?

Забавно наблюдать за тем впечатлением, что я произвожу на окружающих. Для Иакова самым удобным вариантом меня оказалось чучело в каком-то тряпье, а Вечная Старушка каждый раз восхищается моим моноклем. Оба ошибаются.

Здесь я посажу фиалки. С детства их люблю. Не те, что многослойные и пушистые, а с лепестками в один ряд. Помню, как наблюдал за Вениамином, когда тот был ещё ребенком. Каждый день он подбегал к горшочкам с цветами, которые стояли на лавочке у окна, и проверял, не опали ли цветы. Синие у него всегда были «хорошими», розовые, белые и фиолетовые – «врагами». Синие всегда побеждали, но при этом обязательно геройски погибали в конце, напоследок успев сказать что-нибудь многообещающее своим родным и близким.

Посажу много фиалок – Бабушка всегда их любила и часто говорила мне об этом. Люблю, говорит, фиалки – и всё тут. Однажды присел к ней на ограду – она налила мне в засохший дубовый лист дождевой воды. Предложила пироги с земляной начинкой, но я отказался. Спрашивала, что нового творится за пределами её мирка. Спрашивала, поливают ли хозяйки цветы по утрам. Долго мы тогда разговаривали.



Я рассказал ей обо всём, что знал, а чего не знал – то придумал. Она ведь тогда за сыном своим пошла. За сыном, который её иначе, как бабка, и не называл. Наверное, для неё это не имело никакого значения. Так любила его... Она в ту ночь пряталась за кучей мусора – её вместе со всеми и накрыло. Милая старушка – мне её жаль.

А вот чудо Иакова для меня – загадка. Мыслящий, томящийся и страдающий спазм сосудов – иначе его и не назовёшь. Откуда он взялся? Как появился на свет? И, главное, зачем? Куда он идёт? Кто пойдёт за ним? Сколько их будет? Это нужно думать.

Во всей этой ситуации есть и положительные стороны. Ты можешь упасть лицом на камень – и ничего не случится. Можешь застрелиться – и мир не изменится. Можешь прыгнуть в камнедробилку – и ни один йог не сможет составить тебе конкуренции.

Правда, не стоит тебе больше заглядывать в свою обитель. Страшно будет увидеть, в каком состоянии находятся твои кости. Если там вообще что-нибудь осталось, кроме пыли. Кстати, я единственный, кто до сих пор может разговаривать с мышами. Они много чего интересного могут порассказать – не сомневайтесь. Как-нибудь обязательно попробуйте научиться их понимать.

Жаль только, что я утратил способность видеть в корешках столовые приборы и чувствовать аромат кофе, запивая сухой водой из лужи. Но это поправимо. Это нужно думать.

ЕМЕЛЬЯН МАРКОВ

РАССВЕТНЫЙ СНЕГ

рассказ

Голубые звёзды заструились, засверкали в душе, значит, пора надевать бороду. У русских нет карнавала, оттого они отыгрываются на своей жизни, ломают свою жизнь. Откуда это неблагополучие? Продрогшие массовики-затейники в косоворотках поверх ватника и затейницы в картонных кокошниках поверх химической завивки ситуацию не разряжают, а, скорее, нагнетают, когда вопиют под минусовку в парках, где деревья к концу февраля, как смерзшиеся кости в морозильнике для чаемых щей. Карнавал переводится: «Прощай, плоть!». А у нас наоборот: «Здравствуй, жопа, Новый год!». Вот именно – Новый год. И никакие тампиеры тут не помогут, никакие розенкрейцеры тут воды не замутят и иллюминаты лепестричество не вырубят. Надо самим созидать праздник. И не друг друга толкать в грудки: «Попадавай мне праздник, скотина!», а начинать с себя. Ведь один человек глобальней всего мира, любой человек, взятый в отдельности, глобальней, потому что мир – это песчинка во вселенной, а человек – есть мера всех вещей. Поэтому каждый год, тридцать первого декабря, я надеваю бороду, шубу в блесках, шапку с ватной опушкой, беру волшебный пластмассовый посох, сказочный мешок с заранее оплаченными подарками и – вперёд – вершить праздник, карнавал, детскую счастливую сказку. А что? И продажная любовь бывает чистая. И детское счастье оплаченным по квитанции. В жизни не знаешь, где найдёшь, где потеряешь. Философия старого хрена. Я не старый, но играю-то старика. Хотя под бородой, наклеенными бровями я чувствую себя ещё моложе, чем я есть на самом деле. Так мне тридцать семь, а под бородой я чувствую себя на двадцать восемь. Да и без бороды... Я замешкался на этом возрасте. Мужал-мужал до двадцати восьми, а в двадцать восемь замечтался как-то, зазевался... А! Ведь в двадцать восемь я и начал работать дедом Морозом! Вот где разгадка. Перешёл я тогда в разряд сказочных персонажей и остался вечно молодым.

Правда, весь год я работаю по другой профессии. Я бухгалтер. Бухгалтер, милый-милый мой бухгалтер, вот он какой, такой простой!.. Правильно спели лхкие красотки из поношенной теперь «Комбинации», я такой простой и есть. Бухгалтер – должность приземлённая. Так зачем же меня коллектив в небо тянет! Буквально в небо! От винта! А почему в небо? Наша фирма занимается перевозками, но для поддержания корпоративного духа у нас, ещё до моего прихода, учредили кружок парашютного спорта. И все прыгают: все эти прыткие менеджеры, все эти расчётливые красавицы, – прыгают очертя голову! Какая отвага! Вот чего мне не хватает для должности старшего бухгалтера. Но не могу я себя пересилить, то скажусь больным, то опаздывающим на поезд. Уже на так сказать увольнение намекают, во всяком случае, обижаются, не понимают. Считают меня несовременным трусом. Не постигают они, что у меня другой полёт, – сквозь лапландскую пургу, на серебряных саниях, в новогоднюю ночь. Э-ге-ге-ге! И лохматая коса Снегурки задевает верхи кольских елей, только звон стоит в буранных опрокинутых тучах!

И всё было бы хорошо, если бы не женщина, если бы не названная внучка моя снегурочка. Я не женат. Так что если у вас есть на примете... Мне всегда не слишком нравилось собственное лицо, хотя девушки в молодости говорили, что я даже красивый, но я не верил им, и зеркалу не верил, потому что не узнавал себя в зеркале; обиженные девушки судачили, что у меня отрицательное обаяние и уходили. Нет, ни то чтобы сразу брали и уходили, а удалялись, удалялись, и исчезали, растворялись в прошлом. В отношениях с женщинами я ценю только праздник, а когда начинаются злые слёзы, скорбный быт, как-то зябну, даром что дед Мороз, чувствую себя трусливой тварью, а не мужчиной. Возможно, вне праздника я и есть как раз трусливая тварь.

Ну и попадались ещё те снегурочки, разные – конечно. Были и смазливые, были и студенточки-скромняги, в тихом омуте у которых... Таковую привёл одну после смены. То да сё, снял бороду, валенки,



обшитые дождиком, она тоже соответственно, косу отстегнула, и всё остальное – отстегнула. Ну и говорит: «Ударь меня, пожалуйста, по почкам, да посильнее...». Я посохом своим по полу как стукну, не гляди, что сам голый: «Вон! – гремлю, – вон отсюда!». Она, прижимая вещи к груди, как купальщица, юркнула в прихожую. «Маньяк!» – пискнула оттуда. А я крушащим голосом, откуда только шалапинский бас прорезался, опять: «Вооон!!!». Входная дверь сразу захлопнулась; наверное, на лестничной клетке одевалась. Хотя видел её потом следующим вечером. Приютили её сердобольные соседи, точнее, гастарбайтеры, они у соседей ремонт делают. Она вышла с ними за бутылкой румяная, весёлая, в костюме Снегурочки, с прилаженной косой, глянула на меня надменно-надменно.

Бывали и добрые. Одна такая, в теле, говорит мне после смены: «Идём ко мне, я тебе налью, спать уложу...». А я чуть не плачу в ответ: «Я же, мать, не алкоголик! Я дед Мороз! Мне домой в Лапландию надо, в мой ледяной чертог на берегу Ледовитого океана!..» – «Да, тебе действительно лучше не наливать, ты и так дурной на всю голову. Ладно, бывай, дедушка Мороз... Я-то тебя пожалеть хотела», – обиделась. Встречаются же такие бабы! Думают, что жалость их – великое сокровище. Хотя, с другой стороны, может, я действительно дурак, а она – снегурочка? Ну и что, что толстая? Душа-то талая.

Есть у меня, правда, на чёрный день и крайний случай ещё напарник, Снеговик Паша. Мы такие, помнится, отжигали «ёлки» в детских садах, такую новогоднюю закалку давали бледным детишкам, на всю жизнь! Только для виду брали какую-нибудь воспиталку Снегурочкой, нам, по большому счёту, и не нужна была Снегурочка. Но Паша вскоре перестал дожидаться Нового года, начинает он теперь «ёлку» за месяц: берёт больничный, надевает списанную красную шапку Санты Клауса и шарахается весь декабрь и январь по городу со всяческой пьянью. «Ты что вытворяешь? – как-то перехватил я его в подземном переходе за рукав, – у тебя же талант, на кого ты его растрчиваешь?» – «Им тоже нужен праздник, – хмельно объясняет мой опустившийся Снеговик, – я хотел вернуться в детство, вернулся, но ничего там не нашёл. Вся жизнь – это детство, только юность – вдохновенный прорыв к смерти. Но в юности я так и не решился, не умер. Теперь я вернулся в своё несчастное детство. Все люди – дети, зачем по квартирам шараться с мешком? Все дети! – он обвёл тяжёлой длинной рукой толпу, – а они – особенно, – указал он на двух бомжей, притулившихся на корточках к стене. – Россия стоит на одном праведнике, на трёх китах и на двух бомжах. Имеющий мозги да слышит», – и с оттянутыми подарками карманами засаленной куртки Паша пошёл к ним. Пропавший человек, а какой был Снеговик! Впрочем, в остальной жизни года он, как и я, тихий служащий.

На сей раз мне попалась Снегурочка всамделишная. Серо-синие глаза, светлые, почти седые волосы, и главное, коса – своя! Не прищипливала! Представляете? Из-под боярки своя живая коса в настоящих уличных снежинках! И – какое вдохновение! Мы не играли, нет! Мы жили! Я ведь действительно дед Мороз, только до конца, по-настоящему в это поверить мне помогла она, моя Снегурочка, моя Маша! (Её Машей зовут). Мы приходили к людям, как к старым приятелям, и нам были рады, как чуду, не указывали нам скованно на детей, а сами радовались, – так мы были веселы, так счастливы друг другом. Мы работали с ней несколько дней подряд. Наступил последний вечер. Обыкновенная семья: папа, мама и двое детишек, ну ещё печальный растроганный дог лежал через всю прихожую. Но я и в последний день поймал кураж, Маша мне его бросила неожиданно, как бы играючи, а я его поймал. Я, подобрав полы шубы, аккуратно перешагнул через непоколебимого дога и начал:

*Шёл я снежной улочкой
С внучкою-Снегурочкой.
Поскользнулся в темноте
И лежу на животе.*

*Внучка помогает встать –
Не по ней Мороза стать.
Отгадайте-ка загадку,
Кто исправил неполадку?*

*– Подъёмный кран! – стали угадывать дети.
– Милиция!
– Скорая помощь!*



Я отрицательно покачал бородой и объяснил:

*Прибежал весёлый дворник
И лопатой деда поднял, –
Только дворнику снега
Покоряются всегда.*

*Слава дворникам весёлым!
От Мороза им поклон!
Всех их с праздником еловым,
Не осилит их циклон.*

*...Вот ещё одна загадка
(За неё вам сникерс сладкий):*

*Дед Мороз, хоть и Мороз,
Мёрзнет иногда до слёз.
Что же дедушку согреет?..*

*То не чай, не батарея,
То не печка и не мех,
А весёлый детский...*

– Смех!.. – подхватили хором дети и взрослые.

*Правильно, за то вам враз
Я даю батончик марс!*

*Спой, Снегурка, нам про ёлку,
Что нас гладит лапой колкой.
Праздник ёлкою богат,
И развешен на ней клад!*

*Драгоценные шары
Как во сне мерцают,
А сверканье мишуры,
Как опушка Рая.*

Снегурочка спела «В лесу родилась ёлочка» несколько фальшиво, но так обаятельно, что дети, да и их папа, смотрели на неё зачарованно. Я прервал очарование папы:

*Ну-ка, встаньте с корточек
И откройте форточку,
Пусть во рты смешинкой
Залетит снежинка.*

*Подбегай, бери подарки
У Снегурочки-сударки.
Тут такие чудеса!..
Сколько можно их таскать!..*

*Мы же скажем вам: пока
И взлетим за облака.*

*С Новым годом –
Поздравляю дога.*



– отсалютовал ладонью в рукавице я. И даже дог растроганно застучал тяжёлым хвостом по паркету.

– Выпейте с нами, – уговаривал нас в прихожей растроганный же папаша, – вы ведь такие по-настоящему весёлые. Вы принесли детям праздник, принесите его и нам. Посидите с нами, Снегурочка, вы ведь такое чудо! – обратился он уже единственно к Маше.

Но я его осадил:

*Мы не пьем прозрачной водки,
От неё ведь век короткий.
А нам нужно долго жить,
Чтоб детишкам не тужить.*

Без ложной скромности скажу, что все эти куплеты придумал я. Раньше я использовал готовые сценарии, вяленые методички для детского сада. Но рядом с моей Снегурочкой, с моей Машей я оторнул все сценарии и передался чистой импровизации, Маша вдохновляла меня несказанно, а только несказанное вдохновение заставляет искренне говорить.

На улице в новогодней темноте мне померещилась возле магазина красная шапка Паши. Я часто его в праздники встречаю, он ведь в праздники действительно исправно работает со своим контингентом, и лицо у него становится ровно в цвет его шапки. Мне захотелось плакать от счастья.

В другой квартире мы засиделись. Там я уже говорил прозой, потому что ребенок, да и мать его, давно спали. Бодрствовал папа, художник. Он показывал свои картины и признавался, что хочет писать Машу без всех новогодних сказочных аксессуаров, потому что уверен, она и без них – Снегурочка, он так и назовёт картину «Снегурочка», или «Рождение Снежной Королевы из позёмки». Приглашал воркующим шёпотом не сюда, а в мастерскую. Как бы шутливо приглашал. Я никогда не умел как бы шутливо, а на женщин это действует гипнотически. Я – или действительно шучу, что их обижает, или говорю серьёзно, отчего они зевают. Художник был уютный, обаятельный, с настоящей окладистой ароматной эбеновой бородой, тогда как у меня борода держалась на резинке. Я спорил, показывал на высокие узорчатые морозные окна как на свои картины, говорил, что в искусстве важен стыд, более того, стыд важен даже в бухгалтерии, потому что цифры застенчивы, художник только снисходительно улыбался в бороду.

– Он тебе понравился? – спросил я Машу, когда мы вышли.

– Кто, этот художник?

– Да.

– Забавный.

– Ты примешь его предложение?

– Какое?

– Сама знаешь, какое.

– Да нет.

– Почему?

– Я застенчива, как цифра. Да и потом он ошибается. Если снять все сказочные аксессуары, не останется никакой Снежной Королевы, останется одна позёмка.

За час до рассвета мы вышли на набережную Москвы-реки, и этот час до рассвета мы на набережной возле парапета целовались, бороду я спустил под подбородок. Со стороны это, наверное, выглядело похабно: дед Мороз целуется со Снегурочкой. Какое падение нравов! Но уверяю вас, это не было похабно.

С первым светом мы отолкнули друг от друга, словно проснулись. По берегам лежал сиреневый рассветный снег. Река струилась между тонких льдин, и молчание струилось между нами.

– Ну что, бывай, бабушка Мороз, до следующего Нового года, – сказала Маша мне весело и печально.

– Нет. Ты должна со мной в Лапландию, как же?..

– Серёжа, какая Лапландия? Я в Люберцах живу.

– А я в Черёмушках, Поехали ко мне в Черёмушки навсегда. Не буду я больше дедом Морозом. Я был дедом Морозом без малого десять лет, потому что без малого десять лет я искал тебя. И вот нашёл. И теперь у нас каждый день будет праздник, каждый день голубые звёзды будут таять в душе.

– Невозможен каждый день праздник, Серёжа.

– Возможен. Я лучше знаю, я старше.

– Ну хорошо, поехали в Черёмушки...

Она вроде согласилась, счастье вроде наступило... Но – она опоздала на мгновение. Сиреневый рассветный снег уже выпел, посерел.

– Тебя не смущает, что я бухгалтер, такая вроде приземлённая профессия? – спросил я её зачем-то.

– Ну что ты! – ответила она, – конечно, не смущает. Знаешь, Серёжа, я поеду лучше домой.

– Умоляю! – я, сдирая бороду, упал на колени.

– Нет, Серёжа.

Мы поехали не в Черёмушки, а сдавать инвентарь. По дороге я тискал бороду в кулаке. Её потом, скомканную, спутанную, не хотели принимать. Я комкал и про себя валил всё на бородача: «Всегда появляется такой вот художник от слова «худо», всегда». А, на самом деле, всегда всё валят на художников, всегда.

Весну я таскался на работу, именно таскал себя, как мешок с просроченными подарками. Я ей звонил, но она ласково не подходит к телефону. Даже это у неё получается ласково. Я видел её на улице. В легком белом платьице в зелёных подсолнухах, но, может, это была не она? Человек узнаёт другого человека ещё и по соответствию себя тому человеку, а я в своём сером всепогодном костюме так не соответствовал её свежим зелёным подсолнухам. Она из большого стакана пила кока-колу, и была красивая и счастливая, как в рекламе. А я пью иногда пиво, но не как в рекламе, я вливаю его в себя, как город вливает янтарный электрический свет в свои серые сумерки.

Наступило лето и – всё, баста! Я решился. Иду прыгать с парашютом. Надо выпрыгнуть из этой жизни, из этого постоянного ожидания Нового года, который зыбок, зыбок! Они, мои сотрудники, уже на меня рукой махнули, не поверили. Нет, говорю, иду с вами. Сначала я занимался на тренажёре. И вот – первый настоящий прыжок. Сели в вертолёт. Взлетаем.

Наши красавицы смотрят на меня, как на своего, как на равного, опять видят во мне красавца.

Знаю, что не раскроется, знаю. Гложет меня предчувствие. Сколько раз мне снилось, что я разбиваюсь. Но всё равно сейчас прыгну. Нынче лето. Всегда боялся лета. Боже!!! Всё! Гибну. Бедное моё сердце! Что это? Земля над головой! Ох!!! Надо же, раскрылся! Раскрылся парашют! Как мне несказанно повезло! Но что ждёт меня на земле?

НЕВОЗМОЖНЫЙ

рассказ

Он пришёл вместе с книгами, «Островом сокровищ», «Гремя мункетёрами», «Чёрным корсаром», и он тоже – чёрный, и назвали его по-книжному – Том. Несметные пропыленные сладко-терпкой пылью тома несметным счастьем на стеллажах, книжные стены, бери кирпич родного дома и вкушай его, рассыпчато-страничный, с мороженым. Или изюм сердоликовый в дуршлаге, словно морем промытые насквозь камешки, ешь мягкие сладкие камешки, плавный стан Квартеронки удаляется в тропический сад, и ты спешишь за ней из другой книги через широкий оранжевый корешок, Белый Вождь! О Миссисипи! Твои жёлтые воды впадали в Волгу и синели на томном, как взгляд, ветру. Пышные ивовые острова, желанные, как горизонт, но вёсельно достижимые напрямки через чёткие каре-синие волны фарватера.

Чёрный лохматый цветок с блаженным голубовато-карим серёдкой-глазом, второй глаз запахло шерстью, несётся по дуге встречного ветра мимо протянутых к нему рук, почти взмывая на захватных галифе кривых задних лап (слишком рано стал дрессировать, поднимать на задние лапки). Иногда и вовсе убегал, наяву и во сне, открытая в неизвестность и безысходье калитка. В Москве – постоянное терпеливое пыльное нечесаное чудо – под шкафом, стоически ждёт прогулки пока восторженно-жестоким хозяином лежит на софе с запрокинутым томом Жюль Верна и дающим закономерную течь на плед дуршлагом с намытым сердоликом.

– Томик, гулять! – наконец.

Возня под шкафом, и пыльное намаявшееся счастье торопиться, старательное подвигивая хвостом, по коридору в прихожую под ошейник.

Пятнадцать лет снится страшным снам, что Томик потерялся, а потом, наоборот, будут сны, что



Томик преданно вернулся из царства теней.

Он называл Тома – Мнимнолем, Зи-зи, Нинелем, Тосей-Босей, Арнольд-дольдом, Невозможным, а был невозможным сам, невыносимым. Невыносимо нежным и невыносимо жестоким.

Поздний ребёнок, очень поздний, в последний момент родился, вошёл в жизнь, как солнце в море, неминуче. Безумная радость пожилых родителей, всплывками, трескучими салютами, когда оттенок ярче цвета: малиновый, кипенно-вишнёвый, васильковый. Рано поседевшая мать кормила молодой, юной даже, грудью, помнил – не сойти с места! Резкие, истеричные звуки скрипки били в зимних утренних густоголубых потёмках по тоненьким нервам сквозь млечный сон. Седая, а потому как-то вечно юная, мама из юной цвета будущей любимой страницы груди на первый Новый год – шампанское. Попотчевала из груди шампанским. Заснул на сутки, проснулся, пожаловался, морщась: «Гойко!..». Всплеснули руками над колыбелью, как феи, со старшей сестрой: «В полтора месяца – понимает, в полтора месяца – говорит!». Но это было единственное слово: горько.

Впал в младенчество только в двенадцать. Стал играть в куклы, шить им одежду. Огромная, измученная любовью к его отцу, скрипачу, списанная концертмейстер-аккомпаниаторша стала бонной. Аккомпанировала отцу – забраковал, полюбила отца – забраковал. Хотя у него было много таких женственных теней, и он их, как и положено, отбрасывал от себя. До того Милёнок кукол презирал, любил взрослых женщин. Воспитательниц яслей, маминых подруг. Чувствовал себя великаном: лужи – Карибские моря, московский снег – горные хребты Элады, трава – деревья рыцарского леса, а великану и подруга нужна огромная, до неба, чтобы вместе можно было рассматривать на ладони рыцаря в дивных изумрудных латах. А тут к двенадцати презрел взрослую огромную женщину, полюбил кукол.

На что рассчитывала в этом своём безвозмездном служении? Думала сместить мать, сбила с панталыку ранняя седина? Между отцом и Олей не было устья какой бы то ни было страсти. Тогда зачем неизменно приезжала, корпела над волшебными бальными платьями для кукол. Упрямо; это упрямство не возмущало, озадачивало и попускалось. Страсть перешла в упрямство. Страсть и есть упрямство, которое переходит в музыку, а потом опять выгорает в страсть и немое упрямство. И в этой пытке, и в этой пытке, и в этой пытке многократной страсть оборачивается верой, правдой и смирением.

Оля, бонна, прикипела к мальчику. Кукол переодевали, купали, водили гулять, ссорили и мирили. Оля привозила их в больницу навестить «папу», когда тот сверзился во дворе с дерева и заполучил компрессионный перелом. Мать приехала вечером. Оля ей: «Вы только не волнуйтесь...» – «Где мой сын?» – надвинулась мама. «Присядайте, пожалуйста!..» – «Что ты сделала с моим сыном, мразь!?!». А она ничего не сделала, пристрастила только к куклам, с дерева он сам упал.

В игре не сходились концы: он – папа куклам, она – мама куклам, а друг другу они никто, не жена же она ему, даже понарошку. Разделила любовь к Тому, называла его тухом, видела в нём не собаку, а лесного забавного душка из-под исхвойного гумуса, от вольготных сказочных пустот. Как праздничный вечер, наступал в Москве Стокгольм, и можно было дышать ванилью залива и корицей лилового искристого неба над палевым домами с маковками. За марками ездили на Калининский проспект всякую неделю, как за обязательным счастьем. А в Вахтанговском сильно пахло в фойе икринкой на дамской ладошке, театральное чудо лелеяло и провожало равнодушно козыряющими фонарями. У Оли на голове – по тогдашней нелепой моде – вязаная труба складками. Загодя свершились свидания и блуждания по Помпее в долине Смоленской высотки, уму непостижимо, ведь не играют мальчики в куклы в двенадцать лет! Москва была, как леденец, и Леннон тонко улыбался из-под вороного винила, под ночь Оля нежно щедрилась на жаркую аджику в сладкой и тёмной, растомленной в утятнице на медленной газу капусте. Вкус был тонкий, как её пальцы. Мнительное откровение перед самым сном: «Вы меня не любите!». Станный мальчик, почему эта взрослая женщина из другого города должна сию секунду как-то неслышанно его любить? Оля смотрит в ответ торжествуя, величественно ложится на отведённую ей раскладушку с коричневными подсолнухами.

Две тётки в озёрном выгнутом Осташкове, зелёная святая уха Селигера, городская изба, обе девицы, что-то семейное, только третья вырвалась в Ленинград, вышла за офицера, родила двоих, но на дочери сказало, когда вывело опять к ястребиной каре-синей Волге в Калинин-Тверь, там – исток, здесь – верховье, торжественность характера по женской линии, Волга усиливает торжественность, ястреб над-от острова следит за целомудрием, однако торжественность без ястребиной жестокости курам на смех. Почему-то в ящичке в прихожей очень много мужских одколонов, неужели отец офицер-сапёр с вязкой проседью такой модник? Нашему Милёнку понравился особенно «Консул», это потому что – Спартак Джованьоли и рядом сиреневая курчавая Валерия, древние молодые вина, римская идиллия под

пригорочком возле ручья на военном плаще, едкий запах кожи, плетённый поводок Тома, он же – плеть, любимого раба и бьёшь любя, бьёт, значит любит. Но Том не лизал бьющую руку, патриций, смирялся, но не заискивал, и к миске своей, как ни проголодается, сразу никогда не подойдёт: посидит сначала, полежит на дистанции, посозерцает её. Протянешь глумливую руку, он залает оскорблённо, но не укусит, и всё равно к тарелке жадно не бросится, а потом только неспешно подойдёт, вдумчиво обнюхает. И Олю заставлял подкрадываться к Томовой миске. Потеха. Когда аристократ ест, даже с пола из алюминиевой гнutoй миски липкий сохлый геркулес, он восхищает. Хотя – изысканная помесь: klein и mittel пуделя. Отец – проницательный человек, хотя с волжской торжественностью в сердце, волжская вода на лбу, когда исполнял. Мать в чёрном каракуле пошла к ветеринару делать прививку Тому от бешенства. Вернулась, гордо встала в чёрном тяжёлом каракуле с чёрным каракулевым понуром от укула Томиком на плетёном поводке и объявила из коридора: «Ветеринар с порога сказал, мы, как вошли, он сразу сказал: «Полукровка!» – «Так это он про тебя... – вкрадчиво объяснил отец, – про тебя». Старшая сестра рухнула от смеха под стол, отец метал смех, как Зевс молнии, и повергал им под стол.

Оля призналась со всей своей убеждённой серьёзностью, что видела призрак его отца. Сидела на террасе, пила чай с его матерью, мать спиной к двери, а Оля, значит, лицом. И тут храп в зыбкой утробе дома прервался, и отец, полупрозрачный, на четвереньках, выглянул на террасу. Внимательная Оля заметила его, отец живо исчез, и храп возобновился, разросся. Это ещё что! Когда училась в Горьковской консерватории, сняла частную в избе в пригороде. За ужином говорили с хозяйкой о том, что живёт в соседней деревне колдунья. Ну, поговорили и спать пошли, а ночью Оля проснулась от скрипа телеги. Телега задела угол избы, так что стекла задрожали, а за ней – другая телега, и тоже задела избы, а за той – третья, и так далее. И всё сильнее задевает. А забор? Был забор. Что ж... Оля тогда закрыла глаза и немощным усилием воли заставила себя заснуть. И когда в музее-усадьбе Мелихово ночевала, проснулась, а над лицом её женский силуэт мерцает в темноте, и ещё покачивается из стороны в сторону, и снижается-снижается, тоже глаза закрыла и заставила себя заснуть. А в детстве... в песочнице играла, идёт старуха, остановилась, поводила над песочницей руками и дальше пошла. В Осташкове колесо выкатилось на улицу. Что за колесо? Никто не знает. Ему палку между спицами вставили, а оно в старуху превратилось с палкой в спине. Так вот. Шторма на Селигере... Таких высоких волн и на море не бывает. Нет, не бывает. Счастье оставила в Осташкове у Селигера, приберегла, припрятала у тёток, для кого?

Античная полноватость, густые тёмно-русые брови и волосы, забранные ракушкой, близорукие умбровые глаза на гневном обиженном выкате под очками, округлый лоб с клубневой смуглотой и свечным открытым бликом, как забывчивый след от ладони, открыт для молитвы, швейного дела и спора, для другого как бы неподступный, на самом деле, вызывающий из междукрылья, слабые гибкие пальцы (почти профнепригодна: какой пианист? даже не пианисточка! Не ласточка! Гусыня!) с изгибом в обратную сторону, как и гусиный нос чуть на сторону, полные смуглые по абрису губы, нецелованные, недораспустившиеся. Стопы направлены внутрь, локти не отводит от тела. Ноги стройные, статные, но гусиная кожа на бёдрах, стародевичий озноб, высокая упругая, как вода для дерева, грудь. Осанка всегда нелепая, будто на вдохе. Сильный мальчик, всегда побарывал, клал на лопатки в комнатных единоборствах, раскидывал ей локти от тела, умбровые глаза тогда гасли, спёртая бабья сладость томилась, поверженная, утончалась дымной струйкой, ноздри крепили. Победитель смотрел, сидя на ней, и не понимал. Потом, одной бессонной ночью у неё на квартире в Твери, понял.

С вечера накупались в Тверце, деревянные буй-колоды, за ними водовороты, Тверца, хмельная смиренница, опасна, и от дома близко, как сон от бдения. Спали в одной, родительской, комнате, две кровати, офицерская семья. Она прошептывала в кровать в своей тёмно-сиреновой с исчерна-сиреновыми кружевами шёлковой ночной рубашке, с оттопыренными тонкими пальчиками, чем больше оттопыривала, тем больше таращила глаза, тяжёлая, неслышно легла, сразу уснула, всегда спала на спине с вздёрнутым подбородком, словно придирчиво слушала музыку, вздёрнутым носом, чуть выпяченными, как для сурового пальчика, губами. В темноте, под одеялом, под ночной рубашкой, вдруг увидел её всю, первый раз в жизни увидел так женщину. Закрыл глаза, но и через веки видел её всю, с плотными ступёнными сосками начеку, высокой, положившей её на лопатки грудью, с ассиметрично завалившимися внутрь носками стоп. Приторный, едкий запах её тела просился из-под одеяла, отрок угорал в нём. А что если сейчас затеять борьбу? Она же никогда не отказывала ему ни в одной игре: верно ползала за ним с длинным деревянным ружьём-Зверобоем в песчаном лесу, ходила с этим ружьём на плече по деревне, как сумасшедшая, а на самом деле не прекословя – ему, обшивала кукол в чердачной светёлке избы, купала их в Волге, сражалась с ним



на коротких струганных мечаях до рассеченных запястий, покупала ему толстые иностранные книги с красочными диснеевскими героями, роскошные почтовые марки экзотических стран на всю свою зарплату (на что потом жила, ездила к нему из Твери?). И покорно сидела рядом, когда он, не чувствующий своей наготы, принимал ванну вместе с куклами; любил задерживать дыхание под водой, поэтому – секундная стрелка. Когда он замирал под водой и волосы его колыхались, она, с секундной стрелкой, ощущала его в своей утробе. Один раз рассердила, не уследила за стрелкой, задумалась. А это, может быть, был самый-самый рекорд! Так почему бы и сейчас не затеять борьбу? Но сейчас нельзя, как за древесные илстые буи Тверцы, это было бы слишком хорошо, это можно только в снах. В детстве нельзя бояться, знать «слишком», но, наверное, это уже было не детство. Испугался? Да он всегда смеялся над её надменным гневом! Над её вытаращенными умбровыми глазами! Хотя – чему посмеёшься, тому и послужишь. Этой ночью он готов был ей служить. Наутро вроде вернулось детство, забежало напоследок. В отместку, как бы случайно, когда была ещё в ночной рубашке до пят, окатил её «Консулом», чтобы всё-таки сняла не по своей, по его воле. Впрочем, так всегда и оставался с ней на «вы».

Её выгнали со смехом. Сама ушла, но её понукали смехом. Она отстаивала genialность Альфреда Шнитке, а мама ненавидела... Нет, совсем не Шнитке – что ей Шнитке? (Ну и нудный же вы, Альфред Терентьич!) – Олю, ревнуя её к мужу и сыну. Она со злым смешком вспоминала, как Оля своими гибкими пальцами меняла укусы примочки на лбу у мужа, когда тот распростёрся в лихорадочном жару. А теперь – Шнитке. Добрую маму могла пробрать только двойная доза ненависти. Шнитке оказался слабым местом Оли. «Он – сумасшедший», – смеялась мама, и все смеялись, особенно смешливая старшая сестра. А разгневанная беззащитная Оля бежала по улице, и из сумки её торчал и развевался большой кружавчатый лифчик. И мальчик смеялся, гикал ей вслед, как кочевник.

Милёнку исполнилось четырнадцать. Оля канула за Ивановской густо-серой далью и забылась, размыслась. Милёнок был в ужасе, что куклы его не подрастут, он был в отчаянии, что они теперь останутся одинокими, неприкаянными, ожившие, познавшую отцовскую и материнскую ласку, озорной смех и утешные слёзы, детство, заговорившие наперебой. Он усадил их, было, на пианино, как это делают старые девы, в лучших их праздничных нарядах, но это было невыносимо, они уже не могли опять стать просто куклами. Тогда он устроил между ними мордобой и оргию, последнюю игру, а потом убил их, истыкал шилом, и бросил кукольные трупы на антресоли. Так он расправился с ними, потому что никак по-другому не мог справиться со своей любовью к ним. Одна кукла, Илюша, была, впрочем, спасена. Илюшу он подарил своей младшей двоюродной сестре, у той было много игрушек, и Илюше она не оказала никакого почёта. У кукол нет будущего, но мог ли ребятёнок, гугушка, пулечка предполагать это? А о чём думала взрослая Оля? «Вхожу, – рассказывала возмущённо мать, – а эта огромная баба с серьёзным лицом прыгает рядом с моим сыном на кровати!».

В старших классах с приятелями изнурённо рассматривали порнографические журналы, у них был смешанный клейкий запах лаковых почтовых марок и телесного кукольного винила и бьющий в голову букет смаривал. Дети подземелья, колониальное отрочество, особое слово «разврат», обязательное и желанное, как прыжок через «козла» в очередь на физкультуре, африканская тень усаживается сверху, затмевая головой форточку, алюминиевые огурцы катаются по брезентовому полю, она умеет двигать собой в полный рост, она знает толк в полный рост. Мама, что мы будем делать, когда она двинет собой? Так и не получилось стать прыщавым подростком, так и не удалось полюбить Rolling Stones, довести пальцы до необходимой лишкости.

Но после осточертевшей школы Москва заново стала просвечивать, как костяная. Нагота оказалась не назойливой журнальной, а лёгкой, как птичья кость, и при этом пешей, чуть уставшей от ходьбы. Целовал пахнущие виноградом пальцы ног, о этот девчачий наклон головы, когда пристально наблюдает, как ей целуют кончики ног, с тщанием процеловывал бледный прохладный фарфор под густыми волосами. Влагал свою душу, не заботясь, что там может быть, что-то уже есть, и спал, и ел вместе, не расставался, никого не подпускал. Но мама смеялась: сколько можно играть в куклы?

И куклы под материнский и его смех бежали в небытие, за кулисы окоёма. Он, оправившись от смеха, догонял, воровато играл в них по секрету от матери. Игра серьёзной жизни, сугубей. И ведь любил их, как любят жен и любовниц, как любят раз в жизни. И тех кукол, в которых раньше играл с Олей, тоже любил всем изнеженным сердцем, только Олю одну не любил.

Или – любил, но боялся в ней человека, мама запугала человеком, что – человек придёт... Как страшно! Нет ничего страшнее человека. Гойко... И прогнали человека, не успевшего в смятении надеть лифчик.



А потом приводил к себе Суок, мыл её, заплетал ей косички, обожал её как маленькую фаянсовую богиню, а когда в ужасе нащупывал в ней человека, живые кости, в ужасе высмеивал вместе с седой вечно юной матерью, не жалея даже кружавчатого лифчика.

Смех прекратился, только когда ушёл Невозможный, Том. Он болел, частичка лёгкого выпала из горла, и он подрагивал от плавной предсмертной агонии, окровавил подушку, смотрел виновато, как всегда свернувшийся в аккуратный клубок, лапка к лапке. «Прости! – говорил его красноречивый взгляд, – я всегда выкарабкивался из смертельной ямы ради тебя, ты хотел, чтобы я был вечным щенком, и я был им, вчера я ещё резвился, чтобы тебя порадовать, хотя мне это было нелегко. Но теперь я больше не могу. Прости». На следующий день он опять был весел, беззаботно он убежал в лес, засохший чёрный цветок с седым зрачком, и более не вернулся. Ушёл умирать. Хлынул дождь. Это был конец спектакля, опустился мокрый глухой занавес окоёма. Том всегда был вместе с куклами, присутствовал укромно при всех играх страсти, словно извинял. А кто знал, что рассветное окно без близкого силуэта на нем так невыносимо? Том предупреждал своим смирением, ведь в смирении самое строгое предупреждение. Наверное, он был заодно с этими, в платьицах, с живыми слезами на длинных ресницах, их можно было мыть, целовать, наряжать во что душе угодно, таинственно возить их на дачу, рассказывать им гордые небылицы, накрепко зажимать их покорными бёдрами уши от звука проспекта; но мама смеялась над Олей, смеялась над позорным увлечением сына, его куклами. Куклы исходили живой кровью, но мама и сын смеялись над ними, как над лифчиком Оли. И только со смертью Невозможного кончилось детство.

ИЗ ВЕДИЙСКОЙ ПОЭЗИИ в переводах Андрея Ковалёва с санскрита

РИГВЕДА, IV. 12

यस तवाम अग्न इन्धते यतसुक तरिस ते अन्नं कर्णवत सस्मिन्न अह्न ।
स सु दयुस्नैर अभ्य अस्तु परसक्षत तव कर्त्वा जातवेदश चिकित्वाण ॥
इध्मं यस ते जभरच छश्रमाणो महो अग्ने अनीकम आ सपर्यत ।
स इधानः परति दोषाम उपासम पुष्यन रयिं सचते घनन्न अमित्रान ॥
अग्निर ईशे वर्हतः कषत्रियस्याग्निर वाजस्य परमस्य रायः ।
दधाति रत्नं विधते यविष्ठो वय आनुषड मर्त्याय सवधावान ॥
यच चिद धि ते पुरुषत्रा यविष्ठाचिन्तिभिश् चक्रमा कच चिद आगः ।
कर्धी पव अस्मां अदितेर अनागान वय एनांसि शिश्रथो विष्वग अग्ने ॥
महश चिद अग्न एनसो अभीक ऊर्वाद देवानाम उत मर्त्यानाम ।
मा ते सखायः सदम इद रिषाम यच्छा तोकाय तनयाय शं योः ॥
यथा ह तयद वसवो गौर्यं चित पदि पिताम अमुञ्चता यजत्राः ।
एवो पव अस्मन्न मुञ्चता वय अंहः पर तार्य अग्ने परतरं न आयुः ॥

1. Кто рождён для первенства, кто мудрейший
Бог, охвативший богов силой духа,
От ярости чьей, от мужеской мощи
Сотряслись оба мира – тот, люди, Индра!
2. Кто зыбучую земаю сделал твёрдой,
Кто шаткие-валкие горы смирил,
Кто во всю ширь поднебесье измерил,
Стал небу опорой – тот, люди, Индра!
3. Кто, змия убив, семь рек распечатал,
Кто выгнал коров, вскрыв пещеру Валь,
Кто меж двух валунов огонь породил,
Добытчик в сраженьях – тот, люди, Индра!

Андрей Николаевич Ковалёв (25 августа 1962, Иваново – 23 июля 2014, Москва) – филолог, переводчик, поэт. В 1984 г. окончил Ярославский государственный театральный институт. С 1988 г. жил и работал в Москве. В 1993 г. окончил филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «Классическая филология». В 1996 г. окончил очную аспирантуру РГГУ (научный руководитель – крупнейший российский индолог П. А. Гринцер). С января 2000 г. по август 2013 г. преподавал древнегреческий и латинский языки в Институте философии, теологии и истории святого Фомы (ИФТИ, первоначально – Колледж философии, теологии и истории святого Фомы Аквинского), сперва в должности преподавателя, затем – старшего преподавателя, с 2008 г. – доцента. Переводил тексты для книжного издательства ИФТИ с латинского, итальянского, английского, французского, испанского, немецкого и древнегреческого языков. Был учёным секретарём журнала «Точки–Пункта», издающегося в Москве, и членом редколлегии журнала «Символ», издаваемого во Франции и России. Разрабатывал тему индоевропейского поэтического языка. Основываясь на сравнительном анализе древнегреческих, латинских, древнеиндийских и пр. текстов, стремился реконструировать поэтические формулы, восходящие к эпохе индоевропейского языкового единства, и на этой основе описать стоящие за данными реконструкциями поэтику и миропонимание. Обладал уникальными способностями к освоению языков (свободно владел двадцатью языками, в т. ч. английским, немецким, французским, итальянским, испанским, португальским, древне- и новогреческим, латинским, польским, украинским, а также санскритом и тибетским языком) и тонким, точным чувством языка и литературного стиля. К числу его главных переводческих достижений относятся переводы двух книг Умберто Эко и перевод сочинений св. Игнатия Лойолы. В 2014 г. вышел в свет единственный сборник стихов А.Н. Ковалёва «Тризнание».



4. Кто вызвал все потрясения эти,
Кто низких *дасов* таиться заставил,
Кто, как «псоубйвец», добро чужака,
Будто ставку, сорвал¹ – тот, люди, Индра!
5. О ком вопрошают: «Где он?» – о грозном,
И говорят: «Нет его!» – всё о нём же.
Кто добро чужака, как броски в игре,
Губит – верьте в него: тот, люди, Индра!
13. Перед кем склоняются небо с землёю,
Чьей ярости даже горы боятся,
Кто слывёт сомопийцей с ваджрой в руке,
Кто с *ваджрой* в ладони – тот, люди, Индра!

¹ «Псоубйвец» (*цвагжнин*) – термин игры в кости, означающий игрока, сделавшего удачный («убойный») бросок. Индра «выигрывает» имущество чужака, как удачливый игрок срывает большую ставку. В следующей строфе (5) эта метафора используется снова. Применяется она и по отношению к Варуне в гимне из «Атхарваведы», IV. 16. 5.

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ ПУРУШИ (РИГВЕДА, X. 90)

सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात |
सभूमिं विश्वतो वर्त्वात्यतिष्ठद दशाङ्गुलम् ||
पुरुष एवेदं सर्वं यद् भूतं यच्च भव्यम् |
उतामृतत्वस्येशानो यदन्वेनातिरोहति ||
एतावानस्य महिमातो जयायांश्च पूरुषः |
पादो अस्यविधा भूतानि तरिपादस्यामृतं दिवि ||
तरिपादूर्ध्व उदैत पुरुषः पादो अस्येहाभवत् पुनः |
ततो विष्वं वयक्रामत् साशनानशने अभि ||
तस्माद् विराळ अजायत् विराजो अधि पूरुषः |
स जातोत्यरिच्यत् पश्चाद् भूमिमथो पुरः ||
यत् पुरुषेण हविषा देवा यजन्मतन्वत् |
वसन्तोस्यासीदाज्यं गरीष्म इध्मः शरद् धविः ||
तं यज्ञं वर्हिषि परीक्षन् पुरुषं जातमगतः |
तेन देवा अयजन्त साध्या रषयश्च ये ||
तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः सम्भूतं पर्षदाज्यम् |
पशून्तांश्चक्रे वायव्यानारण्यान् गराम्याश्च ये ||
तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत रचः सामानि जज्ञिरे |

छन्दांसिजज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्माद्जायत ||
तस्माद्धा अजायन्त ये के चोभयादतः |
गावो हजज्ञिरे तस्मात् तस्माज्जाता अजावयः ||
यत् पुरुषं वयदधुः कतिधा वयकल्पयन् |
मुखं किमस्य कौ वाहू का ऊरू पादा उच्येते ||
वराहणो अस्य मुखमासीद् वाहू राजन्यः कर्तः |
ऊरूतदस्य यद् वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत् ||
चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत् |
मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च पराणाद् वायुरजायत् ||
नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णो दयोः समवर्तत |
पद्भ्यां भूमिर्दिशः शरोत्रात् तथा लोकानकल्पयन् ||
ससास्यासन परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कर्ताः |
देवायद् यज्ञं तन्वाना अवध्नन् पुरुषं पशुम् ||
यज्ञेन यजन्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि परथमान्यासन |
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वं साध्याः सन्ति देवाः ||

1. Тысячеглавый Пुरुша, очей и ног по тысяче, всю землю он собой накрыл, на десять пальцев встал над ней.
2. Что было и что сбудется – всё это вправду Пुरुша: Владеет он бессмертием, и пищей возрастает он.
3. Таков он по величю, и даже больше Пुरुша: На четверть он – всё сущее, на три – бессмертен на небе.
4. Поднявшись на три четверти, он на одну остался здесь. Затем шагнул во все концы над всем, что ест и что не ест.



5. Вираджд возникла из него, а из Вираджди – Пуруша.
Родившись, распростёрся он с начала до конца земли.
6. Покуда жертву <первую> тянули боги Пурушей,
Был тук – весной, дровами – зной, а осень – возлиянием.
7. Травой кропили Пурушу, в начале дней рождённого:
Так стал он жертвой для богов, для *Садхья* и для *риши* стал.
8. Из жертвы той всежертвенной был собран тук разбрызганный
И живность: та, что в воздухе, лесная и домашняя.
9. Из жертвы той всежертвенной родились *ричи*, *саманы*,
Напевы стихотворные и *яджус* – тоже из неё.
10. Всё из неё: и лошади, и все обоезубые,
Коровы – тоже из неё, и козы вместе с овцами.
11. Когда пластали Пурушу – на сколь частей разрезали?
Как рот назвали? Ноги – как? Как – бёдра и ступни его?
12. Рот Пуруши *брахманом* стал, а руки стали *раджаньей*,
Из бёдер *вайшья* сделан был, а *шудра* – из ступней его.
13. Из духа месяц был рождён, из глаза – Сурья-солнышко,
Агни да Индра – изо рта, а Вайю – из дыхания.
14. Пупок его стал воздухом, и небом – голова его,
Ступни – землёй, простором – слух: так боги мир изладили.
15. Обкладок было семь тогда, поленьев было трижды семь;
Связали боги, как скота, тянули жертву-Пурушу.
16. Жертвою жертве пожертвовали боги:
Вот каковы были первые *дхармы*.
Достигли могучие свода небес,
Где остались древние боги *Садхья*.

РИГВЕДА, X. 121

हिरण्यगर्भः समवर्ततागे भूतस्य जातः पतिरेकासीत् ।
 स दाधार पथिर्वी दयामृतेमां कस्मै देवायहविषा विधेम ॥
 य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते परशिषं यस्यदेवाः ।
 यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवायहविषा विधेम ॥
 यः पराणतो निमिषतो महित्वैक इद राजा जगतो बभूव ।
 य ईशे अस्य दविपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषाविधेम ॥
 यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाहुः ।
 यस्येमाः परदिशो यस्य वाहू कस्मै देवाय हविषाविधेम ॥
 येन दयौरुषा पथिर्वी च दल्हा येन सव सतभितं येननाकः ।
 यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवायहविषा विधेम ॥
 यं करन्दसी अवसा तस्तभाने अभ्यैक्षेतां मनसारेजमाने ।
 यत्राधि सूर उदितो विभाति कस्मै देवायहविषा विधेम ॥
 आपो ह यद बर्हतीर्विधमायन गर्भं दधानाजनयन्तीरग्निम् ।
 ततो देवानां समवर्ततासुरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥
 यश्चिदापो महिना पर्यपश्यद दक्षं दधानाजनयन्तीर्यज्ञम् ।
 यो देवेष्वधि देव एक आसीत् कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥
 मा नो हिंसीज्जनिता यः पथिर्व्या यो वा दिवंसत्यधर्मा जजान ।
 यश्चापश्चन्द्रा बर्हतीर्जजानकस्मै देवाय हविषा विधेम ॥
 परजापते न तवदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि तावभूव ।
 यत्कामास्ते जुहुमस्तन नो अस्तु वयं सयाम पतयोरयीणाम् ॥



1. Как Златой Зародыш, возник в начале
Ставший единым Владыкой творенья.
Поддержал Он землю и это небо.
Какого бога почтим возлияньем?
2. Жизнедатель кто и податель силы,
Чьи приказы чтят все, чьи – даже боги?
Чья тень – бессмертие вместе со смертью?
Какого бога почтим возлияньем?
3. Кто мира живых, что дышат-мигают,
Самодержцем стал по собственной мощи?
Кто царь двуногих и четвероногих?
Какого бога почтим возлияньем?
4. Эти снежные горы чьи – по мощи?
Чьим зовут это море вместе с Расой?
Чьи стороны света, чьи – обе руки?
Какого бога почтим возлияньем?
5. Кем крепки небеса и земля прочна?
Кто солнце и небосвод подпирает?
Кто в поднебесье пространства измерил?
Какого бога почтим возлияньем?
6. На чью поддержку с трепещущим сердцем
Уповают две враждебные рати,
Глядя, как солнце, взойдя, засияет¹?
Какого бога почтим возлияньем?
7. Как ярые воды пошли, вмещая
Зародыш всего, Агни порождая –
Тут возникла богов святая сила.
Какого бога почтим возлияньем?
8. Кто мощью своей обзрел те воды,
Давшие *дакшу*, родившие жертву?
Кто из богов был одним высшим Богом?
Какого бога почтим возлияньем?
9. Да не вредит нам земли Родитель,
Кто небо родил по истинной дхарме,
Кто ярые воды родил и луны!
Какого бога почтим возлияньем?
10. Праджапати! Ты, не имея равных,
Всё рождённое собою объёмлешь.
К тебе взываем: желанья исполни!
Да станем мы господами богатства!

¹ Тот же мотив в гимне к Индре: «Ригведа», IV. 12. 8. Ср. у А. Н. Толстого в «Севастопольских рассказах», А. Барбюса в «Огне» и т. п.



РИГВЕДА, X. 129

नासदासीन नो सदासीत तदानीं नासीद रजो नो वयोमापरो यत |
 किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्मभः किमासीद गहनं गभीरम् ||
 न मर्त्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्या अह आसीत्प्रकेतः |
 आनीदवातं सवधया तदेकं तस्माद्धान्यन न परः किं चनास ||
 तम आसीत तमसा गूलमग्रे अप्रकेतं सलिलं सर्वमािदम् |
 तुद्येनाभ्वपिहितं यदासीत तपसस्तन्महिनाजायतैकम् ||
 कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः परथमं यदासीत |
 सतो बन्धुमसति निरविन्दन इर्दि परतीप्याकवयो मनीषा ||
 तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषामधः सविदासी. अ. अ. अत |
 रेतोधासन महिमान आसन सवधा अवस्तात परयतिः परस्तात ||
 को अद्वा वेद क इह पर वोचत कुत आजाता कुत इयंविस्मिष्टः |
 अर्वाण देवा अस्य विसर्जनेनाथा को वेद यतावभूव ||
 इयं विस्मिष्ट्यंत आवभूव यदि वा दधे यदि वा न |
 यो अस्याध्यक्षः परमे वयोमन सो अङ्ग वेद यदि वा नवेद ||

1. Тогда ни не-сущего, ни сущего
Не было, ни поднебесья, ни неба.
Что сновало? Куда? Под чьим укрытьем?
Что за вода была, глубь и бездна?
2. Не было смерти, не было бессмертья,
Не было различья меж днём и ночьюю.
То-Одно дышало себе, не дыша,
А кроме Того – ничего иного.
3. Тьма была спрятана тьмою вначале.
Неразличимые воды – всё это.
Но в ничто завёрнуто было нечто,
Одно родилось оно силой жара.
4. Вначале нашло на него желанье,
Это стало первым семенем мысли.
Сущего узы с не-сущим открыли
Мудрые, в сердце своём вопрошая.
5. Протянулась наискось их верёвка.
А был ли верх-то? Ну, а низ-то был ли?
Семядавцы – были; громады – были;
Снизу – довольство, излиянье – сверху.
6. Кто же ведает? Кто поведает здесь?
Откуда взялось, откуда творенье?
Боги затем, из того сотворенья...
Кто ж ведает-то? Откуда возникло?
7. Это творенье откуда возникло?
Само по себе? Или всё ж не само?
Кто сверху взирает, на высшем небе –
Он, может, знает. А может, не знает...

ИРИНА ИВАНЧЕНКО

«НАС ПЕРЕЧИТЫВАЕТ ГОГОЛЬ...»

ХРОНИКИ МАСЛЕНИЦЫ

Как с глухим, недовольным ропотом
на кулочки бежал мороз,
так молва покатилась покатом –
будто вправду весна, всерьёз.

И мальцы собрались на площади,
там, где делает крюк река,
и намяли суробам тощие,
залежалые их бока.

А потом, на неделе Масляной,
веселился и стар, и млад.
И погода стояла ясная,
будто сторож у входа в сад.

Точно стали к такому случаю
добродушнее небеса...
И горело смешное чучело,
и сгорело за полчаса.

А потом появился незванным дождь,
разогнал людей по домам.
И пошёл галдёж, и пошёл кутёж,
и такой пошёл тарарам.

Разошлась не на шутку Масленица,
и ничем её не унять.
И от зависти спала зима с лица,
устарела, как буква «ять».

Над кряхтеньем её да оханьем
потешался честной народ.
И река затряслась от хохота,
так что лопнул от смеха лёд.



ИЗ ЦИКЛА «СЕДНЕВСКАЯ ОСЕНЬ»

Плывёт Десне навстречу тихий Снов,
и будит ото сна воскресный Седнев
не племя петушиное, а звон
колоколов над речкою осенней.

Ещё трава густа и зелена,
всего на прядь берёза пожелтела,
но ветер поднимается со дна,
пугая соек свистом оголтелым,

и осень пританлась в камышах,
ей нужно к людям, время подоспело.
У осени русалочья душа,
но тёплый взгляд и бронзовое тело.

СЕНТЯБРЬ В СЕДНЕВЕ

1

Угодья лета август-землемер
навскидку счёл и округляет грубо
на север – до черниговских земель,
до седневской усадьбы Лизогуба¹.

Пора счетов и школьных дневников,
а сентябрю неймётся куролесить –
запутывать бывалых грибников
и чужаков отваживать от леса.

Так день-деньской – то ввысь, то у реки,
ни жизни и ни времени не жалко –
с летягой-белкой наперегонки
мелькать в дубовых закоулках парка.

Но вольные отходят времена.
Пора принять посильное немногим –
закрашивать содеянное на
дождями прогрунтованной дороге.

Ещё мазки, что первые стихи, –
не знаешь «как», но высказаться надо...
И тронет самодельный мастихин²
багряной каплей листья винограда.

Пополнив ярко-красочный словарь
оранжевым и жёлтым изумленьем,
раскрашивай и марево, и хмарь.
Холсту подобен – впитывай мгновенья.



2

Заросший, как щетиной, ковылём,
сентябрь к закату – лиственник и травник.
Он – живописец: пишет о живом,
натягивая память на подрамник.

Рука не дрогнет – возраст мастерства:
покой и жар смешав без опасенья,
нарисовать, что ведаёт листва
о смерти с неперменным воскресеньем.

3

О сентябре, о каждом, о былом,
о преходящем и произошедшем,
о паутинном, рвущемся, о нём
не говори во времени прошедшем.

Над речкой Снов, что блещет вдалеке,
над перелеском охристым и бурым
он был как отражение в реке,
он есть как уходящая натура.

И что вся эта жизнь, весь этот джаз?.. –
искусство вперемешку с искушеньем...
Осенний ускользящий пейзаж
теплей стократ и столь же совершенней.

¹ Седнев – городок на речке Снов в Черниговской области, с усадьбой семьи Лизогубов, где дважды гостил Тарас Шевченко, бывали писатели Леонид Глебов и Борис Гринченко. Часть усадьбы занимает Дом творчества Национального Союза художников Украины.

² Мاستихин – специальный нож или мастерок, использующийся в масляной живописи для смешивания красок, очистки палитры или нанесения густой краски на холст.

По ком шумят деревья? По тебе.
Отмаливают и твою провину.
Смолчит луна, прилётшая в листве,
свой путь ночной пройдя наполовину.

Орех умолкнет, липа отпоёт,
а ты подхватишь пение грудное
и встречное несчастье, как своё,
укачивасшь, как дитя родное.



СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА

1

И жаркие они, и яркие –
дни холодам наперерез.
А звёзды падают, как яблоки,
на лес и луг, на луг и лес.

И нецелованные яблоки,
преображенские дары
везут в Сорочинцы, на ярмарку,
другие сёла и миры –

по кровеносным, давним, женским
путям земным, дородовым,
по светлым улочкам вселенским,
по тёмным кольцам годовым.

И солнце щурится спросонок,
в обед недолго прикорнув.
Идёт сентябрь и за бесценок
скушает лето на корню.

В торгах и плясках многолюдных
проходит жизнь то там, то здесь
и ждёт объявленного чуда
от серых в яблоках небес.

А люди плачутся о разном –
долги, дороги, недород.
И плачет скрипка,
будто праздник
не повторится через год...

2

...и вышиванки из Китая
везут на праздник челноки.
На старом месте нарастают
тюки, баулы, клумаки,

ряды, лотки, горшки и плошки,
сусальный август про запас,
где мы пересекаем площадь,
а площадь рассекает нас.

Как резко отпускаешь руку –
так отлучают от груди,
так репетируют разлуку,
когда молчат «не уходи».



Хотя давно глазам не верю,
а только сердцу наугад,
но ожидание потери
страшнее будущих утрат.

3

А праздник варится и вьётся,
и остывает под кустом,
а солнце жарится и жётся,
дымится в воздухе густом.

И полдень тянется к обеду,
и площадь тянет в общепит –
галушек порцию отведать
да чарку беленькой испить,

а к вечеру откатит шибко,
туда, где музыка вопит,
в притоп выплясывает Скрипка,
в пришев акустика сипит.

Но как бессонно и счастливо
гудит пчелиный окоём
и мёд в бутылку из-под пива
нам доливает до краёв...

Давно к тебе не дотянуться,
но можно площадь перейти
по лезвию гипотенузы,
по кроветворному пути,

где, озирая мир и город,
как подзабытую строку,
нас перечитывает Гоголь,
ладонью подперев щеку.

АНДРЕЙ МЕДИНСКИЙ

«ПЕРСПЕКТИВА ЖИТЬ С ФАНТОМНОЙ БОЛЬЮ...»

Саблезубый монгол на затопленной улице Китежа
точит саблю и зубы, сияет промасленный взгляд.
Если долго смотреть в эту воду, то можно не выдержать,
а ведь это всего лишь твой собственный внутренний ад.

Долго, коротко ли бродишь берегом странного озера,
прячешь тайны и стыд в непролазном его камыше,
а вдоль берега едут цыгане на ржавом бульдозере,
да облезлые кошки гоняют летучих мышей.

И невесты в трико скачут в чащу лесную лягушками
за отпущенной кем-то, случайной любовной стрелой,
а над ними кружат одичавшие томики Пушкина,
и сбиваются в стаи, готовые встать на крыло.

Гой ты – мать моя, твою мать,
что сумой и тюрмой пугала,
где страшнее – сойти с ума,
не успевши поднять забрала.

Покрываешь кровавой мглой
предраассветные колокольни,
всё, что сбыться в тебе могло –
здесь лежит, и ему не больно.

Да растерянный Михаил,
Божий Свет не узря в зеркале,
возле чёрных твоих могил
хлещет горькую с мертвецами.



ИЛЬЯ

Ветер гуляет в диких моторошных полях,
бродит боец убитый, ищет себя в земле,
а в монастырской раке спит богатырь Илья,
в тёмной пещере иннок песню поёт Илье.

Гнутся и стонут стебли, крошатся небеса,
падают их осколки в мутную кровь реки,
слышит Илья сквозь песню страшные голоса,
чувствует – тяжелеют сердце и кулаки.

Снится ему, что в поле он замыкает строй,
звёзды летят шрапнелью из грозových высот,
а за спиной на небо новый бежит святой –
пальцем заткнула вечность липкий его висок.

Просыпаешься и понимаешь: «Всё!
Дальше некуда. Остановилось. Замерло. Замело».
Крутится в голове: «Может быть повезёт?».
Повезёт – не то слово. Будто раньше везло.
Точнее, везло, но само собой и бог весть куда,
на таких скоростях, что попробуй, затормози –
во все стороны сразу так начинает кидать,
что летишь кувыркoм, на ходу расплескав бензин.
Но потом, очнувшись в сугробе, считай, что почти в гробу,
встаешь, заправляешь рубаху в штаны, а жизнь – в судьбу.

Так вот, просыпаешься и понимаешь – тебя больше нет.
Впрочем, и раньше не было, просто не замечал,
что всё то, что принималось за чистый свет,
таковым не является, но может обозначать
точку, где скорость, помноженная на время, равна пути,
достаточному, чтобы мёртвого разбудить.

И тогда во тьме, передвигаясь на четырёх,
находишь себя, ощупываешь каждый нерв,
из темноты вырастает ухо, ты вползаешь в него и орёшь
так, что из тела сбегает последний червь.
И распятый младенец, улыбающийся с креста,
шёпотом произносит: «Встать!».

ЗВЕЗДОПАД

Был август, море, крымский звездопад,
я был другой – зелёный, тонкокожий –
и многое казалось невозможным,
что после стало в жизни наступать.



Теперь, когда «забыться» и «забыть»
отличны только на литраж и градус,
придёшь в себя и, памяти на радость,
считаешь полустанки и столбы.

И вспоминаешь: много лет назад
у девочки, которая любила,
была собака, старший брат, и было
ночное море, август, звездопад.

ОСЕННЯЯ ЭЛЕГИЯ

холодный дождь уже давно
пустой сквозняк вдыхает офис
я пью вчера остывший кофе
и медленно смотрю в окно

не разбирающий пути
идёт-бредёт по тротуару
с лицом морщинистым и старым
ребёнок в поисках груди

и треплется уставший лист
пытаясь удержать берёзу
и дом стоит в развратной позе
глотаю мокнущих лолит...

САНАТОРИЙ

Который день море сморщенное и стылое,
вчера ветер с вечера берег так изнасиловал,
что волны смыли след последнего дикаря.
Забывтый кем-то на рейде макет кораблика,
прикованный якорем, движется по параболе,
стремясь избежать неизбежного декабря.

Гуляешь утром от завтрака и до тополя,
насквозь отсырев к полудню, как труп утопленника,
в обед напиваешься чая и коньяка.
Подолгу смотришь на небо меж кипарисами,
на мокрый железобетон пустующей пристани,
и куришь с видом просоленного моряка.

Остыло всё, что способно меняться к лучшему,
синоптики ждут от судьбы и погоды случая,
чтоб объявить о том, что завтра повалит снег.
И это, пожалуй, сможет ещё обрадовать,
ты хочешь зимы, новостей, ты включаешь радио,
но там – тишина, и по-прежнему снега нет.



СОСНЫ

Забуть болезнь, открыть окно, вдыхать
сосновую предутреннюю влажность,
многозначительно молчать о важном,
а прочего – совсем не замечать.

Быть может, эти сосны высоки
не потому, что замысел природы,
а потому, что парусному флоту
положены, природе вопреки.

И в каждой – молчаливая мечта,
скажи – «мечта», и ты услышишь – «мачта»,
всё остальное – большего не значит,
чем беличья пустая суета.

Всё остальное – это мокрый срез
и перспектива жить с фантомной болью,
и видеть, как пересекает поле
дорога, покидающая лес.

ДВОРНИК

Я больше дворник, нежели поэт,
и, с этим примирившийся однажды,
я обметаю деревья скелет,
проглоченный двором многоэтажным.
Опавшая к морозам желтизна
бросается под ноги сквозняками,
но если дереву зимы не знать,
откуда б эти строчки возникали?

Я больше птица, нежели звезда,
восход которой птица отмечает,
июнем поселённая в кустах
бессонными и юными ночами.
Но если умолкает соловей –
всё потому, что птица точно чует,
что жизнь без солнца – смерти солоней,
и от того всю жизнь за ним кочует.

Я больше мальчик, нежели старик,
и для меня естественней и ближе
терпеть пока под ребрами сгорит,
чем жечь костры из рукописей книжек.
И осенью, найдя среди двора
себя, с метлой стоящим у березы,
осенние останки убирать,
не замечая вынужденной прозы.



МОЛИТВА О ПОЭТЕ

Волхование на крови,
воркование голубей –
с неба свалится серафим –
равнодушно его добей.

Закопай его, как зерно,
и однажды на божий свет
чернозёмный и проливной
прорастёт из него поэт.

Будет жизнь для него тесна
вплоть до смертных к Тебе молитв,
да воздастся ему сполна,
отрыдается, отболит.

Но стихами своих стихий
самовольных – на краткий срок,
он оплатит свои грехи
и засветится между строк.

Ты храни его и смотри
как пылает он в этот миг,
а когда он почти сгорит,
Ты прости его и прими.

ТАМИЛА СИНЕЕВА

В НЕБЛИЗКОЕ ЗАВТРА

КИЕВУ МОЕМУ

Меня в метро окликнет кто-то
и обознается опять...
Я выйду к Золотым Воротам –
мне надо срочно постоять
и заглядеться на каштаны,
на волны зелени густой,
где кружевом благоуханным
цветы в гармонии с листвой...
Неспешно, шаг не ускоряя,
пройти на Ярославов Вал,
где все века с повесой маем
хотят завлечь меня на бал,
и чтобы медленно кружились
дома и я, и белый свет,
и с неба дождевая милость
в подол насыпала монет...
Мой добрый доктор, древний Киев,
от разных дум лечи мой дух!
Ну что поделаешь, лихие
настали дни, старинный друг.
Врачуем мы с тобою раны:
ты мне, а я тебе. Постой,
не умирай, своим дыханьем
я возвращу тебя домой.
Ты протяни мне мостовую,
и быстро я по ней приду,
и обниму, и поцелую,
и всё пойму в твоём бреду...
Ты говори, я буду слушать,
к Днепру ладони приложив,
слезами очищая душу,
как ты стараешься ожить...



АСФАЛЬТОВОЕ

Асфальт так устал
от дождей и прохожих –
растоптанный, мокрый,
не дышит почти.
Ещё он простужен,
лежит и не может
ни выпить лекарство,
ни встать и уйти

в неблизкое завтра,
в рассвет и дорогу,
к траве на обочине,
к сонной реке...
Ни ветры, ни люди
ему не помогут –
лежит себе, мрачный,
в зелёной тоске.

В небрежных заплатках
одежда асфальта,
и лужицы глаз,
не мигая, глядят
на небо ночное
с прожилкой агата,
где звёзды, кометы
и, кажется,
я...

БРОДЯЧЕЕ

А, может, я сама –
бродячий музыкант?
Хожу себе, как тень,
по улицам замёрзшим,
как будто продаю
такой-сякой талант.
И вот, я лицедей.
На мне пальто в горошек

смешное. А ещё –
небесной ткани шарф,
ботинки цвета беж
и скрипка (не Амати),
тряпичная сума,
цветной воздушный шар
и лёгкое, как дым,
серебряное платье...



По городу иду
в дыхание зимы,
Не видима совсем
проходим и собакам.
Лишь скрипка да смычок,
не слыша тишины,
озвучивают вслух
картинку нотных знаков.

...Умолк скрипичный спор.
Зима мне подаёт
от щедрости своей
две пригоршни снежинок.
Я отпускаю шар,
а старый Новый год
меня хватает креп-
ко за руку. Бежим мы,

не знаю я куда,
по улицам, мостам,
на карнавальный смех,
на отшумевший праздник...
Там пригодится мой
сякой-такой талант,
пальто, шарф, платье, скрипка
и смычок-проказник!..

ОЧЕРЕДЬ

Я становлюсь в очередь
на подрезание крыльев,
на «по носу два щелчка»,
на татуаж слова «ущербная»,
на «дурочку с переулочка».
В каждый кабинет
приём строго по часам,
по талонам и часовым поясам.
Длинна, очень длинна очередь,
в которой стоят люди-ягнята
с неправильно вьющейся шерстью
между первой минутой и пятой
третьего дня пополудни.
А ещё здесь сотни людей-телят
с копытами слишком стройными
и рогами, отсутствующими
семь дней подряд,
с причёсками в виде птиц
и глазами коровьими без ресниц.
А крылья у всех
так аккуратно на спинах сложены,
пёрышко к пёрышку,
только влажны
от страха чуть-чуть,



но никто не плачет,
только и может – вздохнуть,
глядя, как
выходят из кабинетов
ягнята бескрылые,
телята с татуировками,
дурочки и те,
что с носами красными,
а вообще-то, у нас всё
прекрасно!

ДУРОЧКА

С мыслями о Т.Н. Анна

Послушай, Мастер, ты опять лукавишь...
Знай, рукописи не горят – пока ты жив.
А я сегодня сутолоку клавиш
всю на стихи разобрала. Скажи,
что ты устал, что кончились чернила
и голова, как каменный мешок,
и чтобы я куда-нибудь свалила,
присев на стул, глотнув на посошок...
Но ты молчишь, по небу рассыпая,
как будто звёзды, мыслей серебро,
и машет Аннушка последнему трамваю,
который превращается в метро...

Ты весь горишь, и рукопись открыта,
странички трогает холодная луна.
Очнись, мой Мастер, я не Маргарита!
Я... дурочка, что век тебе верна.
Озябшие согрею вмиг ладони,
дам чаю и таблеток от простуд.
Прижму к себе. Живи и будь спокоен:
ты не умрёшь, пока я рядом, тут...

ИГРУШЕЧНОЕ

В игрушечном домике
есть небольшое окошко.
И крохотной лампочки луч –
будто камерный
блеск светлячка.
Там вечер игрушечный
тянется к плюшевой кошке –
мечтает погладить
ей белую спинку,
живот и бока.
А кошка лежит
и совсем ничего не желает.
Лишь чёрные бусинки глаз

в неизвестность
стеклянно глядят.
Она так красива,
пушиста, хотя не живая.
А мёртвым –
и вечер, и свет
до игрушечного
фонаря...

ВИШНИ

по крыльцу разлетелась вишни
это я уронила банку
вот такая я никудышная
вся до вечера спозаранку

мне мерещится пятый угол
ветер форточку донимает
от потуг зеленеет туга
еле ползает мышь хромая

не курю и не пью зачем-то
никаких романтических действий
просто ем бутерброд с котлетой
под орущую матом песню

никому не нужна я вовсе
я зеро или третий лишний
на себя надеваю осень
и в подол собираю вишни

НОЧЬ ИЗ ТИШИНЫ

Я буду делать ночь из тишины,
из тоненьких её прозрачных нитей,
из самых неожиданных наитий,
закрытых век и взгляда прямо в них,

из ситцевой прохлады простыней,
из пуха крепко обнятых подушек...
И снов ничьих нисколько не нарушив,
я буду делать ночь из их теней.

Как паучиха, вытку для небес
черничную накидку-паутинку,
потом случайно опрокину крынку,
и млечный путь протянется вот здесь!..

Моих весёлых шустрых паучат
по этому пути пуцу резвиться,
а над своей уснувшей столицей
я выпью ночь и маленьких ночат...

ГАЛИНА СОКОЛОВА

СВЕТ ГОРНЫХ АСТР

рассказ

«...жало смерти – фех...»

1 Кор.15:56

...Её глаза были похожи на астры. Золотистые и колкие ресницы расходились веером. Они густо располагались по всему краю удлинённого овала, сходя на нет лишь в местах сужения. Капля горного мёда, что плавала внутри его снежной белизны, в середине таила бездонный колодец.

– Меня зовут Зухра, – небрежным жестом забросила она сумку на бетонную плиту, прикрывшую мешки с песком возле окна. Сломанные школьные парты были свалены, как попало, в кучу. Углы загромоздили армейские ящики от солдатской тушёнки, патронов, гранат. Свободным оставался лишь этот узкий проход к оконному проёму – одна створка заклеена, из второй можно рассмотреть селенье с минаретом. Иногда, как тень сна, туда пересекали дорогу почти невидимые силуэты («Отставить! Не курить – чечи ножи кидают...»), – вспомнился голос взводного). Сгущалась темень, и девушка была превосходной мишенью в объёмной панораме окна.

– Поставь фонарь на пол и отойди. Вставят пистон – не обрадуешься, – приказал он строго, бросив на пол выдавший виды матрац. Напротив плакат с образцами вражеских вооружений был исклёван пулями.

Она повиновалась молча. В щелях меж досок среди битого кирпича, семечковой шелухи и стреляных гильз углядела парочку кондиционных патронов и вцепилась в них мёртвой хваткой:

– Чур, мон.

Джинн кивнул. Эти женщины отдавали свою любовь только за патроны.

– Я Зухра, – повторила она так, будто это имело для него какое-то значение. И пояснила с требовательной ноткой:

– «Зухра» означает «цветок».

– Разве? – несерьёзно удивился он, накрывая матрац серым солдатским одеялом. Его друзья не искали для любовных утех укромных уголков. Царил мужской дух взаимопонимания, и всякие кружавчики были не в ходу. За горсть патронов можно было миловаться даже на лафете пушки, причём, под одобрительные аплодисменты.

– К нам сюда ещё один цветок заглядывал, – потянул он её на матрац.

– Зезат? Высокая такая, в длинной юбке? Да?

И наклонилась, обдав его запахом жасмина, хотя за окном стоял март.

По-русски она говорила свободно, только слова произносила как-то странно. Будто выдыхала их.

– Так точно, в юбке. Зезат. – Смеясь и всё-таки, чуточку смущаясь, он торопливо содрал с её плеч то ли паль, то ли чёрный платок. Почему-то у здешних женщин – и молодых и старых – тот цвет был любимым.

– Зезат – да, цветок, – снова выдохнула она. – А Зухра – цветок-звезда. В этом разница.

Зух-ра... Слышишь звук?

И внезапно, с непонятной гордостью высвободившись из объятий, подобрала с пола пачку сигарет.

– Ас-тра. Вот. Видишь? – тщательно её разгладила и упёрлась в него золотистыми глазами. – Зови меня *Ас-тра*. Астра ещё означает звезда.

– Да ради Бога, – пробормотал он, зарываясь в её волосы. Они были почти русыми.

В солдатской среде в эти игры играли не по правилам. Просто сбрасывали агрессивную усталость, отпуская на волю комплексы. Но ему было двадцать, служил недавно, а здесь и вовсе – недели две – местные

женщины пока ещё приводили его в состояние скрытого смятения. Может, почтение внушали их почти мужские модуляции голоса. Встречи наедине были чем-то вроде десерта, компенсацией за то предельно острое и пересолённое блюдо, которое хочешь-не хочешь, а ешь. Дозоры, блокпосты в гнезде пулемёта с ночами до хруста глазного яблока. Растяжки в самых неожиданных местах. И постоянный запах смерти из, казалось бы, немых развалин – всё это давило на психику. Усталость была даже не явной, когда – ноги не чувствуют, руки, будто не твои, и сам ты вроде упакованной в камуфляж кукалы. Она была где-то на уровне незримо витавших в воздухе магнитных полей. Она неслышно ввинчивалась в поры, вворачивалась, как шуруп, в кости, в мозг.

– Здесь тебе не там! – имея в виду отчий дом, давал ему шелобан директор детдома Иван Мефодыч, грузный, ещё не старый человек с крупным носом в синеватых прожилках. Воспитателям надоело читать нотации подростку, норовившему выскочить из-за угла с криками «Я страшный джинн!» Рыча при этом и размахивая вымазанными в святающей краске руками. За это ему, случилось, даже мяли бока – всё равно: – Я страшный джинн!

Вообще-то, Джинном в интернате звали директора – тот всегда являлся, как снег на голову – вдруг возникал в клубах сигаретного дыма и ворочал пронзительными глазами.

– Чем занимаетесь, бездельники? И все съёживались, ожидая грома и молний. Адька Прозоров как раз его изображал.

– Тебя бьют, а ты – защищайся, – вместо того, чтоб наказать, учил директор, когда того, царापавшего и брыкавшегося, приволакивали к нему. – Чего сопли жуёшь? Сдачи давай!

И цепко хватал за ухо:

– Так дело не пойдёт. Придется из тебя и впрямь джинна делать.

Адька затравленно озирался, он не знал, как делают джиннов. Он боялся этих жёстких пальцев. Ходил слухи, что директор воевал в горячих точках и умел, как в кино, драться руками, ногами и кусался, как зверь.

– Потому жив, – подтвердил Иван Мефодыч.

И похлопал себя по жидким волосёнкам цвета боевой меди, не скрывавшим осколочные шрамы.

За пару лет до выпуска, словно зная Адькино будущее, именно его он обучил карате, а заодно показал всякие хитрые приёмы. Один из них был искусством таиться.

– Если случится быть там, где лучше быть мёртвым, стань, как мертвяк. Я сам так в Афгане уцелел. А уж потом задай пфейферу... За это они меня Джинном прозвали. Они – духи, а я – Джинн. И ты будь джинном – пригодится. Не всегда силой дерутся. Хитрость – она, бывает, важнее силы. Не страшен газ, если есть противогаз! Понял, Джинн?

И приблизив бутристый нос, сосредоточенно щупал его рёбра. – Все целы? Ну и ладушки, ну и молодец. Хорошо смеётся тот, кто отслужит первый год. А дальше – как карта ляжет.

Вот и легла она – как легла.

Нынешняя жизнь вытекала из щелей облупленных сосновых досок, вливаясь всего-то в одну трёхсот шестидесятую часть полного оборота земной оси. И не составляла в нём даже полградуса – в любую долю секунды могла оборваться. Об этом напоминали плоские, похожие на камбал, псы, иногда таскавшие в зубах требуху из неузнаваемо развороченных человеческих тел. Ехидный свист одиночных пуль был о том же.

Сколько ни говори себе: «Я не боюсь», всё равно – каждая клетка, каждый электрон самого что ни на есть захудалого атома тела, требует: «Жить!». А треугольная дырочка во лбу приятеля, секунду назад вот также наскоро пившего чьи-то поцелуи, сводили на нет все железные конструкции ума.

– Астра так Астра, – согласился он, вдыхая жасмин её овалов.

Не помнить имени этих далёких ему женщин было даже проще. Они появлялись в роте под прикрытием ночи. Выныривали из сумерек, как валькирии, даже платки за их плечами развивались, будто крылья. Хотя, скорее всего они и слова такого не знали. Задача у них была простая – унести побольше патронов.

– Зачем они вам? – спрашивал он её. – Вы что, стрелять будете?

– Война, – загадочно мерцала она чёрными омутами зрачков. – Патроны – деньги. Валюта.



Он это понимал. Как говорят – война войной, а обед по расписанию. В смутные времена ничто не ценится так дорого, как средства защиты. В силу вступал непреложный закон: чтоб уберечься, нужно оборвать как можно больше жизней. Впрочем, Джинн на этом не заикливался – умереть было слишком просто, отнять же чужую жизнь пока не довелось.

Днём город контролировался войсками, ночью им владели хозяева. Те быстроглазые бородачи, чей ускользающий взгляд он иногда ловил на себе. И матери их, иконописные чеченки, преисполненные не меньшей державности, чем монументальные горы, нависшие над этим селом в котловине. Каждое утро, если поблизости не трассировали автоматы, они гордо восседали на своих складных стульчиках под наскоро сбитыми навесами, снисходя до торговли шашлыками и водкой. Иногда разбитная армейская братия водку отнимала – горячительное как-то легче примиряло с жизнью. И тогда, окатив обидчиков августейше-презрительными взглядами, они уходили в направлении сланцевых склонов, где лепились остатки их искромсанных жилищ. Величавые, как королевы. Прихватив с собой свои раскладывающиеся троны. А ночами, как не осторожничай, кто-то из патруля, исчезал в развалах тёмных проулков. Позже некоторых находили. Со свернутыми шеями, вспоротыми животами. Или с треугольными метками во лбу.

– Да не люди они, – утверждал взводный – седоватый человек лет сорока, сиявший латунью пуговиц и медалью на груди. «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», – свидетельствовали её гордо выпуклые буквы. Говорили, в объятиях старлея, этих чеченских шмар перебивало больше, чем у кого другого.

– Исследования показали, что при тестировании с реактивом Манойлова славянская кровь остается красной, – утверждал он авторитетным голосом школьного учителя, и Джинн представлял, как влюблённо пожирали бы его глаза старшеклассниц.

– А кровь чеченов, азеров и всяких татар-турков бледнеет и становится сине-зелёной. Как у рептилий и моллюсков. Так что и не задумывайтесь на их счёт. Давить их, гадов ползучих, надо. Чтоб зараза сепаратизма дальше не ползла. Но ... местные девочки дело другое. Они розы, похищенные нами из сна Лао-Цзы, – обычно под чей-то плотоядный матерок ретушировал он. И многозначительно подмигивал. – Наши детки потом разбавят им кровь.

– Зачем вы пришли сюда? – выдыхала она, прижимаясь спиной к мешкам и вглядываясь в его рот, будто хотела выхватить ответ прямо с корня языка. – Это наша земля. Мы хотим сами решать, как жить. Почему вы здесь?

– Оно тебе надо, Астра, – отмахивался он, накрыв ладонью её глаза и ощущая их войлочную шерстистость.

– Надо! – объявляла она, вывёртываясь.

– Надо, – повторяла она чуть тише, обволакивая его бархатом обертон, и обдавая всё тем же запахом жасмина, за которым, тем не менее, слышался косянкой звук змеиного хвоста.

– Зачем вы пришли? – продолжала она допрос. – Вы оккупанты, ты это понимаешь? Вам надо убираться отсюда назад, в Россию. Нас вам не взять. Мы горцы.

– Да в жизни бы я к вам не пришёл, на хрен мне это. Приказ, – заверил он, поскольку пускаться в политические дебаты с женщиной – не мужское дело.

Она смотрела на него недоверчиво, а он, обсыпая себя пеплом, нервно смалил. Не знал, каким образом увильнуть от совсем неуместного её допроса и думал, как бы заткнуть этот неумолкающий рот – время остановить что ли? Заставить замолкнуть силой не хотелось, а лаской – не хотела она. И отвергнется, пожалуй, не выйдет – вот же всё сыплет и сыплет обидное. А пора бы уж и возвращаться... Там, наверняка, дуются в дурака. Может и водку хлещут. Под луковницу и кильку в томате. Бр... остохренила эта килька!.. Начнут спрашивать, как у них тут всё было, а ему и сказать нечего – засмеют ведь! И хмуро размышлял, как, наконец, остановить или, наоборот, убыстрить время. Но не мог он его ни остановить, ни убыстрить. Придуманная людьми цифра, что делила пространство на крохотные отрезки, застыла на месте. Как и эта ненужная ему война, которую обосновали в неизвестных ему целях, не спрашивая на то его личного мнения. Наверное, именно для соблюдения мирового баланса когда-то природа создала вот такое недоразумение – женщину. Ни одна из них не хочет войны, потому что война съедает её детей. И кто же на жизнь имеет больше прав – природа или человек? Наверное, природа, потому он, как мужчина, обязан склонить и перед этой женщиной голову. Как склонил бы её перед матерью. Впрочем, причём мать, которую он даже не помнил? В своём, пропитанном вожделием отрезке времени, он увяз совсем по другой причине...

– За что вы убиваете нас? За нефть?

– Какая ещё нефть? – Нам приказали – мы пришли, – отозвался он с обречённой усталостью. Эта Звезда не собиралась сходить с темы, а ему совсем не хотелось тему продолжать. «Хоть бы тревогу объявили, что ли... Или зашёл бы кто, в карты позвал...».

Глаза у неё были диковатые, меняющиеся.

«Чёртова рептилия», – подумал он раздражённо и нацупал свой «Макаров». На всякий случай. Когда пистолет под рукой, спокойнее...

– Вот смотри, – всё также, неотрывно глядя ему в рот, продолжала она. – Какой-то ваш академик по телевизору рассказывал про атомы. В атоме ядро и электроны занимают всего лишь одну миллиардную от всего объёма массы. Он так говорил. Правильно? Ну вот. Остальное – пустота. Атомы складываются в различные молекулы и образуют ядро, цитоплазму, мембрану. Ну и ещё прочие части живой клетки. Так, да?

Не понимая, куда она клонит и, злясь, что теперь её и вовсе в дебри занесёт, он решительно потянул её на матрац.

И – подожди, – с надменным превосходством отвела она его руки. – Человек состоит из клеток. Так? Так. И получается, что человек на 9 и 9 десятых состоит из пустоты. Которую он должен заполнить самостоятельно. Как же можно слепо подчиняться приказам? А свои мозги зачем?

Её зрачок упёрся в него, преобразив свой внутренний свет в остро заточенный кинжал, и метнул его гордым вскидом головы – укол ощутился физически.

– Вам сказали – убивайте. И вы пришли убивать, – её голос приобрёл еле заметную трещинку. Будто в момент полёта лезвие задело и её голосовую связку. – За ту нефть, что вы из Чечни качаете столько лет, у нас должны бы небоскрёбы стоять, как в Эмиратах. А вы даже кладбища наших пращуров разворотили.

Словно в подтверждение, где-то ахнул орудийный залп, взревел БТР, и за окном суставчато лягнула танк. «Господи, – вот объявят сейчас тревогу и меня, может, не станет...», – подумал он с неприязнью к ней.

Всего-то две недели назад он прибыл сюда свободный, бравый и камуфляжный, и с любопытством первооткрывателя разглядывал из люка вертушки как раз те самые их кладбища с петроглифами и памятниками в виде крестов. Ему тогда и в голову не пришло, что ящики с гранатами, которые они выгружали неподалёку, разгромят и те священные могилы. Но на войне как на войне. Ещё до них чеченцы, словно обитатели перенаселённого аквариума, взялись пожирать друг друга, под корень слизывая свои же сёда и включая бесконечную цепочку кровной мести. Ингушам, осетинам, чеченские идеи были безразличны, у них нашлись свои. Этот кровавый пир по масштабности вскоре вышел даже из-под уголовного преследования – весь Кавказ взрывался, наподобие пороховых бочек. В короткий срок все «табу» были сметены, и густонаселённое пространство разделилось на антропофилов и антропофобов. После чего наводить порядок Градами и БТР-ами вломались русские, а тогда и вовсе всё пошло прахом. То, что вчера казалось немислимым, завтра вписалось в реальность совершенно буднично.

Он испепелял её исподлобья, готовый раз и навсегда покончить с этим странным свиданием. Пусть берёт свои патроны и катит к чёртовой матери! Баста! Он рубанул сигаретой воздух с твёрдой решимостью. Но она ответила таким пронзительно-жалобным взглядом, что он невольно смешался, а потом и вовсе устыдился. Ведь, правда: нохчи защищают свою землю, а он пришлый, чужак, варвар. Кладбища предков вон разгромил...

Он помолчал и добавил серьёзно:

– Если бы не приказ, я бы сюда не пришёл. Никогда. Вот те крест.

– Правда? – Её цветы раскрылись до предела, и в глубине провалов зажглось по свече.

– Конечно. Ты думаешь, кому-то охота умирать?

Он нахлобучил на себя кем-то забытые в углу очки-авиаторы, и, широко раскинув руки, брякнулся на матрац, изобразив подбитый самолёт.

– Не надо в это играть, – попросила она тихо. Её дыханье стало совсем, как у птенца – тихим и беззащитным. Он нахмурился и, словно убеждая самого себя, намеренно громко объявил:

– Но я не я, это маска. Я внутри себя другой. Сам я мухи не убью.

Где-то опять грохнуло, с потолка просыпалась побелка и кирпичное крошево, похожее на толчёные сухари. Свет лампы дрогнул. И снаружи потянуло влажноватым, с примесью гари воздухом.

– Мы все маски. Нас обрядили в камуфляж, дали в руки оружие и приказали стрелять. Мы исполня-



ем роли, – с плохо скрытой досадой пояснил он, констатируя про себя: «Ну вот не задалась в этот раз любовь – и всё тут!».

– Это плохая роль, – выдохнула она, акцентируя слово *плохая* и поёживаясь. Кавказские ночи холодны даже летом.

– Иди же ко мне, замерзнёшь.

Она не отозвалась и не приблизилась.

«Сука! И чего выпендривается!» – поколебавшись, он всё-таки кинул ей платок.

– Не простудись, а то ещё и лекарств потребуешь.

Она промолчала, перебирая чётки.

– Мы здесь не сами по себе. Мы исполнители, анимированные голограммы, муляж, – ещё раз произнёс он, устало прикрывая глаза.

Осветив неверным лучом стены, мимо протарахтела машина. Бойцов провоцировала близость торговых точек с их соблазнительным водочным ассортиментом, и вечерами гоняли в ближайšie хутора часто. На какое-то время установилась тишина, в которой, как в воде, бултыхались звёзды.

– Ты не спишь? – расположилась, наконец, она рядом, тронув его прикрытые веки.

– Я в Заэкране. Я смотрю войну, – повернулся он к ней спиной, не желая спускать свой высокий валютный курс – развела турусы, лекторшу из себя изображала!

Её дыхание было совсем рядом, но невидимая стена, возникшая между ними, почему-то не исчезла. Он ещё не совсем научился отделять мух от котлет, и не мог вот так, без всяких яких схватить её и примять. Он нервно приподнялся на локте и сунул в рот тлевший окурочок. Что-то надо было делать. Выгнать что ли? ... Для чего она пришла?

Спиной он ощутил, как с лёгким порохом к его ногам порхнул платок, потом кожу куснула жестковатая ткань жакета.

– Война зависит не от нас, – произнёс он внезапно севшим голосом, стараясь думать о другом. – Приказ дают те, кто над нами.

– Аллах? – спросила она, усевшись на пятках рядом и молитвенно сложив ладони.

– Люди. Правители стран, – почти гневно буркнул он, отбросив бычок и сверля её глазами. Ему снова захотелось дать ей подзатыльник и вытолкать к чёртовой матери. Молиться можно и за пределами этих стен!

– Они злые джинны, – выдохнула она с убеждёностью. – А ты другой. – И... хрен разберет этих баб! – Прижалась. И стала медленно расстегивать его, что-то тихо напевая на своём языке. Он замер. И то ли от холода, то ли от возбуждения содрогнулся, ощущая, как от сводящей с ума чужой мелодии его начинают откровенно лизать языки адского пламени.

– Аллах сотворил три рода разумных существ, – сообщила она таинственно. – Из света – ангелов, из огня – джиннов, а людей из праха земного. И тебя, и меня, создали из огня.

И накрыла его своими волосами...

Джинн не знал родителей. Он не имел ни братьев, ни сестер. А его познания физиологии начались с подвалов, воняющих человечьей и кошачьей мочой. В тех мимолётных эпизодах женщины будто смеялись над каталогом его ранних химер и разворачивали себя в довольно неприглядной нагоде. Но по этому поводу он особо и не страдал. Он родился в канун перестройки, когда вопросы морали уже мало кого заботили, да и сам он перестал задумываться, отчего у него не оказалось отца, и почему при живой матери он живёт в детдоме. Жизнь в девяностых представилась ему, как череда актов в пьесе, где он был всего лишь в массовке. Иногда доставались и незначительные роли – на пару минут, не больше. Он легко надевал и снимал маски, как легко надевали и снимали их другие, потому что роли всегда диктовались общим сценарием. Может, не вздумай Иван Мефодьич сделать из него джинна, он распорядился бы своей жизнью как-то иначе – мускулы стали в пене. А может не ушёл бы из института, в армии не служил бы (была ведь там военная кафедра!). Но всё шло само собой. Люди вовлечены в сеть причинно-следственных отношений самопроизвольно, и хоть логику отдельных событий кто-то способен вывести самостоятельно, но... кто в молодости прослеживает эти связи? Как человек, не привыкший смотреть далеко (а кто далеко заглядывал?), он видел мир только снаружи.

В разрозненной мозаике актов и эта женщина была лишь удачной мизансценой в серии дежурных прогинов.

Она приходила ещё и ещё. Говорят, Бог хранит пьяниц и влюблённых – это правда. За те мгновенья

их встреч сигнал тревоги не звучал ни разу. И никто не помешал. Время, если оно всё-таки существует, случается, выкидывает самые диковинные финты: иногда оно движется с удивительной медленностью, растягиваясь, как резинка. А иногда прессует себя с такой силой, что не понять, как в эти крохотные доли секунд столько всего умещается.

От транзисторного приёмника пришлось отказаться.

– Почему у вас такие ужасные песни? Они съедают мой мозг, – удручённо затыкала она уши. – О чём она поёт, я не понимаю?

– Ну, она говорит, что так любит, что готова его съесть, – смеялся он. – В смысле: ест, значит любит.

– Какой ужас.

И сидя по своему обыкновению на пятках, мурлыкала любимый напев – потом он узнал название – «Джамалай», народная чеченская песня.

И, неразвёрнуто улыбаясь, поила его йаждар-чаем из местных сухих цветов. Она приносила его в стареньком китайском термосе.

В одном углу, среди мешков от макарон и учебников истории, обнаружила набор глиняных, похожих на цветочные, горшков, соединённых металлическим болтом с ворохом шайб и гаек. Оказалось – очаг. Лабиринтовый колпак над пламенем свечи собирал и накапливал тёплый дух, распространяя его на центральный стержень. Откуда он передавался всей поверхности своеобразного керамического радиатора. Теперь их закуток возле мешков с песком чем-то напоминал пещеру её древних предков.

– Никакой ты не Джинн, ты – моё солнышко, – ерошила она медного блеска подростный его ёжик, и целовала, как ребёнка, в давно заросший родничок.

И как упавшая в их пещеру звезда, её грудь изливала потоки белого и розового огня. Об него хотелось погреть руки. Казалось, Астра-звезда освещает даже стылое пространство гор. И это было похоже на сакральную дань Звезды – Солнцу, которому поклонялся её род.

– Ты знаешь, во мне будто лампочки включаются. Много-много лампочек, Солнцем клянусь, – шептала она, склоняясь на его плечо.

– Идём. И возьми пистолет... Я выбрала тебя в мужа, – объявила она в тот вечер, высказывая к нему из-под бурки – за окном от холода плясали звёзды. – Надевай и пошли. Больше тебе не придётся пугать себя со своей маской. Я обо всём позаботилась. Ты будешь Шамиром. Это по-нашему означает – благородный. Ты знаешь – имя наделяет судьбой. Вот зачем ты – Джинн? Джинн – нехорошо. И Адам неправильно. Шамир – хорошо. В мечети ты примешь нашу веру. И мы будем жить в горах подальше от этой войны. У нас будут дети, и они не будут знать ваши страшные песни. И ваши фильмы про вампиров и людоедов не станут смотреть. Ты знаешь? У нас ведь никогда не было детей-сирот. Это позор, что у вас есть сироты! Мы уходим в горы.

Она говорила это, как само собой разумеющееся. В её понятии женщина была хранительницей очага, где всегда пылал огонь, и дымилась пицца. Аллах же накроет их своей буркой.

Джинн опешил. К подобному развитию событий он готов не был. На минуту он представил себя в странной роли горца: барашковая папаха, кинжал... «Злой чечен ползет на берег...»... Картина забавная.

Но ей смешно не было – она, как обычно, сидела на пятках, и в её сложенных ладонях трепетали слова молитвы.

Джинн стоял рядом в замешательстве. Какого чёрта? Он воин. Присягу давал. Он не собирался в пещеры...

– Я не могу уйти с тобой, Астра.

– Почему?!

– Это будет предательство.

Её глаза расширились, как если бы ей со всего размаха влепили оплеуху. Наверное, в данный момент он являл для неё нечто из картины Джотто «Поцелуй Иуды». Если, конечно, она знала про Иуду. Или про Джотто. Он и сам бы не знал, но репродукция полотна висела в кабинете директора, и когда Адька слушал очередной разнос, он всё пытался разгадать смысл нарисованного. Смысл почему-то улетал.

Досаду, что не может избежать тягостной сцены, он заговорил о том, что мир – система, в которой всё имеет свои места и в итоге всё компенсируется. Что она молодая и ей надо жить, рожать детей, а его жизнь – жизнь воина, и стоит она немного, потому что не зависит от его желания. Он нёс и нёс этот вздор, водоворот слов, где были лишь глагольные формы, бесконечно разветвляющиеся, повторяющиеся



и многовариантные. Но ни в одном из завихрений не случилось варианта с их общим МЫ...

Растерянный, он умолк. А она резко вскинулась и, распахнув обе половинки зеркала, кинулась к окну. В сумерки из окна выстрелил зайчик. Пламенем ли лампы он был рождён или луной, Джинн не понял. Но таинственным образом ему ответили горы. На чёрных их склонах вспыхнуло с десяток далеких светлячков. Словно они только и ждали этого сигнала.

– Неправда, что у дьявола глаза чёрные. У дьявола глаза голубые, – яростно выкрикнула она и вылетела в дверь, взмахнув полкой своей бурки, как чёрная фурия.

Молодой сон хоть стакан разбей. Но... Среди ночи внезапно кто-то сдавленно крикнул: – Тревога!

Солдаты, как горох, посыпались с ярусов коек. Стреляли отовсюду. Пули цокали по стенам, отжимая от спасительного пространства, длинными очередями опоясывали входы и выходы. Резали снаружи БТРы, слышались прерывистые трели автоматов. Значит, сняли блокпосты, убрали дозорных, взяли в кольцо!

Вчера так и не доискался свой «Макаров» и сквозь дым и спины кинулся в класс. Но в проём окна уже вкатывалась жуткая, бородатая голова с яркими, полными ненависти глазами. «Аллах Акбар!», – хищно ощерясь, прохрипела она, вцепившись в Джинна распиренными зрачками. Не помня себя, он выпустил в неё по малой мере треть рожка. Он бежал, ровным счётом не различая ни своих, ни чужих. Рядом топал ещё кто-то. И ещё. В дыму было трудно различить лица. Лишь краем глаза успел отметить лычки чьих-то погонов и стриженный затылок. И вдруг впереди – ужасающая, нереальная пустота, из которой брызнуло чем-то розовым и пузырящимся. «С крещеньцем», подумал он, сделав гигантский прыжок в сторону. Перекатившись, он, наконец, вырвался из предательских стен. Он стрелял, не видя куда, во что и ничего не соображая. Наверное, в том же состоянии были другие: горела земля, дымились камни, выли одичалые собаки. И – странные игры ума – почему-то совсем не к месту пришла в голову немудрёная детдомовская байка: пошёл на охоту, убил медведя, ободрал лисицу, принёс домой зайца, мать зарезала утку, сварила кисель. Попробовал, а он горький. Сознание, похоже, отставало от него на добрый десяток шагов. Или, наоборот, опережало.

– Ложись! – донёсся приглушённый голос взводного. – В укрытие! Я передал по рации, помощь будет.

Ползли под свист бомб и орудейный грохот. На ощупь, среди замшелых камней, разыскали грот. Внутри – тихо, даже слышно, как где-то рядом, только снаружи, собака грызёт кость. Но что это? Странное шуршание, непрерывный, совсем негромкий стрекот... часовой механизм?!

– Назад!

Взрыв.

Кто-то посветил фонариком – вся земля, будто курами поклёвана, в барханчиках. Несколько человек остались лежать. У взводного ни царапины – убило воздушной волной.

– Погасить фонарь!!!

Опять бомбанули.

– Отходим!

Страх. Ледяной ужас сжал горло. В крошечной тьме, как праздничный фейерверк, сноп искр. Откинуло волной, плюхнул в стылую, вонючую воду. «Всё», – с равнодушием обозначилось в мозгу, готовом продолжить своё посмертное существование в виде вселенского танца энергий. Сознание наблюдало за собой, словно со стороны, и это почему-то казалось нормальным. Его «Я» было принесено в жертву всепоглощающей пустоте, где во всякий момент времени что-то исчезало навеки, каждый миг выбрасывал из жизни людей, животных, деревья. И не оказалось ничего страшного в *даме с косой* – вот её не было, вот она есть, и уже нет его, а мир не перевернулся, он даже ничего не заметил – крутится по-прежнему на своём шарике и хоть бы что ему. В принципе, для существующего круговорота исчезновение одной и даже тысяч жизней не имело никакого значения – смерть всё равно никого не обойдёт. А жизнь – что? Жизнь – копейка. В розницу никто никого даже за овощ не считал. Только пучками. «Горе одному – один не воин»... И, может, чтоб пучок был погуще, русскому человеку издревле вменено чувство долга по определению. Положено – сделай, приказано – дай. И не жди ничего в ответ. Должен и обязан только ты – единица. Вот и подчиняйся закону стаи. Или назначению пучка – это уж как достанется. Главное – войди в ситуацию, а дальше она сама создаст реалии. Так было и в детдоме, так и в армии.

Вообще-то был он теннисист, пловец, даже коричневым поясом владел – его и в институт зачислили не за знания, а чтоб защищал честь учебного заведения. И уж плюс к тому было положено зубрить

интегралы, диалектику, марксизм, к тому времени никому не нужный. Он и зубрил. Но переэкзаменовки, пересдачи да ещё трения с преподавателем украинского задолбали, и подумалось, нет уж, лучше в армию, даже на любую войну, в тот же Нагорный Карабах или Абхазию. Казалось, он-то, такой спортивный и сильный, найдёт себе применение.

В штурмовом отряде, куда его определили, учили прыгать в воду с пулемётом, взбираться по скалам, из самых неудобных положений бросать гранаты, учили метать ножи, бить прикладом, перевязывать раны и останавливать кровь. Из него делали сталкера. В первый год службы – самое элементарное: утром – зарядка. На 30-градусный мороз в одних трусах. Чтобы не замёрзнуть – бегом. Для Джинна это испытание было самым лёгким – в интернате такое было как «здрасьте». А вот депривация сна... Раньше он даже не слышал этого словосочетания. Он стоял на тумбочке (небольшое возвышение для дежурного) в течение двух недель, или мыл полы в казарме, или его били. Отвечать не полагалось. И спать не разрешалось. Он пытался спать стоя, но за это били с особой жестокостью в живот и в пах, ногами и кулаками. Если падал, били ещё сильнее – первогодок проходил инициацию. Ведро с грязной водой, которой мыл казарму, выливали на голову. И так четырнадцать суток, после чего, наконец, он был принят в солдатское братство. Вообще, первогодки спали мало. По ночам работали и доделывали всё, что не успели днём. Джинн пытался посчитать – на сон оставалось что-то около четырёх часов в сутки. Солдаты ходили весь день с мутными глазами, опухшими лицами и плохо понимали, чего от них хотят.

Впрочем, и это испытание не так уж жестоко, в детдоме было не легче. А вот снаряд под названием «верблюд» – вещь гнусная. После его покрытых льдом перекладин кожа слезала с ладоней, как шкура со змеи весной. Однажды чем-то похожий на Ивана Мефодьича капитан потребовал, чтобы после верблюда гвардии рядовой Адам Прозоров лез по канату. Канат был старый и из него, как шипы, торчали грубые волокна. Он схватился ободранными до мяса ладонями и взвыл от боли. Капитан улыбался. Его святая задача научить новобранцев ничего не бояться и уметь себя превозмочь. Только из стали должен быть солдат, входивший в святое русское воинство!

Странно, но он продолжал жить. В этой ледяной зловонной воде. Всё-таки судьба – закон случайности. Какая-то сила помогла его заочневшим пальцам ухватиться за колючий злой куст и под пронзительным ветром выволокла на твёрдое. Залепленные тinou и грязью ноздри уловили близкий дух горящего металла. И совершенно оглушённые орудийными выстрелами уши каким-то чудом сумели различить, как вперемешку с обречёнными воплями, перекрывая отчаянный русский мат, над головой заклкотали чужие голоса. Джинн затаился. Долгое время не менять положение тела он научился ещё в детдоме.

Острый луч фонарика равнодушно скользнул мимо и, содрогнувшись, остановился неподалёку. В извилистом сиянии он различил двух боевиков, упакованных в броники. Они пытались утащить на мешковине чьё-то негнущее тело – оно легко подпрыгивало на ухабах. Свет фонарика освещал впереди себя не более метра, это Джинн знал. Потому и сделал тот, достойный похвалы сурового капитана, прыжок. Он выстрелил себя под ноги тому, кто держал фонарик. Не издав звука, тот осел. Второго Джинн ухватил за горло, и, несколько бесконечно-долгих минут они молча катались по земле, пока где-то совсем рядом не хряснуло, обдав снопом ослепительно-белых искр...

Он пришёл в себя, когда развиделось. Сеялся полудожь-полусвет. Оттолкнув недвижимые тела и убедившись, что тот, кого пытались уволочь, тоже из них, он поднялся. Неподалёку – громадные туши: искорёженный БТР, парочка сгоревших БМП, чёрный остов машины. Возле – несколько тел, кое-где присыпанных тончайшей, ещё не смытой дождём, плёнкой пепла, два из них всё ещё в алых лентах живого огня. Казалось, это не люди, а забытые рабочими сцены театральные муляжи. Их бы увезти, а они, пьяницы и лентяи, бросили реквизит прямо на дороге.

– Джинн... – послышался чей-то слабый голос. – Джинн...

Из-за разбитого брюха машины кто-то к нему полз.

– Помоги...

Здоровенный срочник-сибиряк из его взвода, весь перепачканный мазутом и кровью, подтягиваясь на ручищах, волок своё неподвижное тело. У него был перебит хребет. Шансов – никаких.

Джинса охватило отчаянье. Если по совести, нужно было бы взвалить на себя это оцепенелое громоздкое тело и тащить... Куда?..

По сути, вся жизнь Джинна была бегством из отчаянья. В детстве спасался в компаниях – весело быть вместе, особенно против кого-то. Позже укрывали спорт и женщины – благодаря им жизнь приобретала свежий вкус. Вся та видимая лёгкость, с которой он принимал действительность, на деле была не более



чем игрой. И на первую, уже приспособуюся к лицу маску, в зависимости от сценария нового, надевались другие. Корень всего сущего – «да-нет». Выбор между ними происходил независимо от него. Впрочем, в мизансценах некая свобода допускалась. Но о настоящей говорили только с экранов. В реальности оставалось непонятным, кто свободнее: узник или охранник узника. Обоих обвиняла одна верёвка, сковывала одна цепь. Да и обстоятельства в любое время складывались так, что охранник и узник вдруг менялись местами, а свободу всё чаще путали с вседозволенностью. Даже в армейскую среду попадали уже с разным пониманием себя и своей роли – не все мыслили одинаково, хотя, казалось бы – устав, канон.

В пору студенчества Джинну попала в руки Библия. Было интересно её почитать. Книга толстая, полная мифов. Мифы как мифы, они заинтересовали мало, но одну мудрость он оттуда всё-таки выудил: человек, будь он гражданский, будь солдат, сам отвечает за своё бытие перед Богом. И обязан дать ответ на вопрос: что ты из себя сделал? Вообще тот, кто задавал вопрос, был не Бог, а сам человек. Сам себе же противостоящий. Но... в двусмысленном единстве добра и зла, свойственного всему, что делал и Джинн в числе других, сейчас разбираться было некогда. Он просто хотел жить...

– Выбора нет, – сказал он сибиряку. Вступал в силу негласный кодекс штурмовика...

Позже, когда он оказался от того места на почтительном расстоянии, ему, как всегда нестати, пришёл на ум давний анекдот про Бога, к которому после многих злоключений попал новобранец.

– Господи, – обрадовался он, увидев перед собой величественную фигуру. – Наконец-то! Это рай?

– Да ты же только оттуда, – покачал Бог головой. И... взялся за вилы.

Он так и не припомнил потом, как добрался до священных могил, где его подобрал бородатый, похожий на чеченца, авиатор вертушки. Говорили, нёс какую-то чушь, будто бы зовут его Шариф и что живёт он в горах со звёздами. А потом вдруг заявил, что Россия – это две США, четыре Европы и сорок восемь Германий, и победа всё равно будет за ней.

И уже внутри вертолётá вдруг заорал:

– Вперёд, родные, не жалейте трупов!

А потом и вовсе захохотал, как сумасшедший.

– Пятнадцать человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо...

Бред его отнесли на счет морфия – именно от него сновидения приобретают столь странно-закрученную окраску. А ему казалось, что он в сознании. Просто, как в звере, в нём проснулся древний инстинкт самосохранения. И, может, попади он в руки чечей, так и стоял бы на том, что он – Шариф, и у него в горах есть Зухра-Астра. Ведь мозг содержит в себе около 30 миллиардов нейронов. И ни один не сигналил себе во вред.

А тот судья, который про каждого знает всё, к сожалению, не всегда выносит вердикт вовремя. Многих он настигает позже...

– Какая удивительная история...

Девушка с наушником от плеера в ухе свесилась с полки и во все глаза таращилась на крепко сложенного человека в камуфляже и берцах.

Он долго молчал, глядя в окно и, вдруг, сказал, не поворачивая головы и не обращая ни к кому:

– Говорят, её видели в Луганске. С ополченцами из Чечни. Санитарит она, раненым помогает. И нашим тоже. И песня у нее любимая «Джамалай». А может, и не она вовсе? Песня народная, её все знают.

Стало тихо. Только из соседнего купе доносились ломкие голоса подростков:

– Дай-ка ту фиговину.

– На фига тебе?

– Клёво. Пофигачу вот эту фигню.

– Так фигня получится.

– А тебе не по фигу?

За окном бежали деревья в красном и золотом.

– Там сепараты, здесь сепараты... На одних и тех же граблях пляшем. Страну разворовали, боеспособность похерили, – скривился молчавший до сих пор парень с верхней полки. – А теперь сельских пацанов на танки... Берсерки хреновы...

И щёлкнул клавишей магнитолы.

Вагон затопила новая песня леди Гаги «Eat me, baby»...

ЛЕОНИД ЯКУБОВСКИЙ

БЕГ ЛЕСТНИЦ

М.У.

Королеве моей – корону
из морской голубой волны,
чтобы ей на любимом троне
только светлые видеть сны.

Чтобы в царство её девичье
не пробрался разбойник злой,
чтобы страхом её величье
не испытывал зверь лесной.

Королеве моей – корону
из морской голубой волны.
Стану сторожем возле трона
с самой северной стороны,

чтобы чёрный холодный ветер
не подул в её два крыла,
чтобы самой счастливой на свете
королева моя жила.

ИЮЛЬ В ОДЕССЕ

Миражи дивные на солнце,
как будто видится мне сон, –
беззвучно мумия смеётся
в кругу распаренных колонн.

Лаокоон бросает змея
и уплывает на волне,
змей извивается, чернея,
и засыхает в стороне.

Кариатиды и атланты
ушли из города на мол
и сферой неба элегантно
играют в пляжный волейбол.



В остановившемся мгновенье
бег лестниц, улиц переход,
и мимолётное виденье,
растаявшее у ворот.

Жара стекает по перилам,
течёт расплавленным свинцом,
и скрипкам лень, как и чернилам,
над воронцовским петём дворцом.

«ЧЁТ ИЛИ НЕЧЕТ»

И помнишь, как в детстве, тот «чёт или нечет»,
листочки акации сжав в кулаке,
подняв, словно крылышки, лёгкие плечи,
бежали мы быстро в траве, вдалеке...

Так долго бежали под облаком чистым,
под солнцем, под звёздами, как по волне...
В том свете янтарном, прозрачном, лучистом
бежим до сих пор мы, как будто во сне.

Акации листики, словно монетки
зелёные, будут звенеть и сверкать,
и где-то на самой верхушке – на ветке
тот «чёт или нечет», что не отгадать.

Но цвет его белый и вкус его сладкий
до смерти в глазах и у нас на губах.
О Время, разгладь на лице своём складки,
и выветри пыль эту – выветри страх.

Больные души ищут бога,
они скитаются, как голь.
Им грезится ещё дорога
галлюзий, пахнет алкоголь.

Они себе рисуют лодки
в пустом пространстве бытия,
им не хватает рюмки водки,
чтоб выплыть за свои края,

чтоб видеть ангела в бутылке,
как чистую любовь весной,
и чтобы различить затылком
смерть или вечность за спиной.



О.П.

Твоя печаль, как звёздный шолом,
горит над головой моей.
Моим мечтам, как сонным пчёлам,
не одолеть семи морей.

Твоя любовь, как тень Эсхила
и плач, плывущий по реке.
В твоих стихах земная сила,
и ласточка в моей руке...

Чей крест из тополя,
а чей осиновый,
идём и хлопают
кресты за спинами.

Чей крест из кактуса,
чей из бамбука,
неси – не жалуйся,
такая штука.

Ступай, не кашляя,
в обитель звёздную,
душа отважная,
дорогой слёзною.

ЗИМНИЕ КРОНЫ

Деревьев воздушные зимние кроны
одеты в холодный прозрачный хрусталь,
и в воздухе города их перезвоны
молитвенно льются, как чья-то печаль.

Искристыми ромбами или шарами,
раскидистой вязью в сиянии льда
горят лучезарно они перед нами,
в январские смело войдя холода.

Сверканье их звонко, горенье их нежно;
и в мех завернувшись, сквозь дрёму душа
так заморожено и так безмятежно
всё смотрит и смотрит на них, не дыша.



К.С.

Дожди, дожди размыли шар земной,
грязь разлилась во все концы вселенной.
Чай закипел. Сядь, посиди со мной
за белой занавеской, как за пеной
всех океанов мировых, морей,
и помолчим о том, что скоро будет,
о том, как устаёшь среди людей
и как тоска подходит на безлюдье.
Наверно, всё бессмысленно вокруг.
Наверно, шорох мыши полон смысла.
Мы помолчим о том, как можно вдруг
поймать себя на откровенной мысли,
при этом не роняя ни слезы
и сдерживая в сердце восклицанье,
какое это счастье – вдруг в грязи
звезды увидеть чистое сиянье.

РАССВЕТ

Вот и утро на подлёте
в синем отблеске звезды.
Мягко в пасти подворотен
кувыркаются коты.

Слышишь, утро на подлёте,
мир становится светлей.
Море в лёгкой позолоте,
в силуэтах кораблей.

Как ракета из патрона
над землёй летит рассвет,
и выстреливает крона
рыжих воробьёв букет.

ИРИНА ДУБРОВСКАЯ

«ПОСЛЕДНЕГО СЛАДОСТЬ ГЛОТКА...»

ОСЕННИЕ ГОЛОСА

1

Это осени голос,
ты слышишь, из щели дверной
просочились, прокрались
присушие ей лишь одной
эти шёпоты,
шорохи,
всхлипы,
ночные побудки.

От неё мы узнали
про бешеный ветер сквозной
и про дождь,
между нами стоявший
громадой стальной
все прошедшие сутки.

И про бал-листопад
с уходящей его красотой,
с непреложным оттенком утраты
в палитре густой
и величьем конца.
Будто в век мы живём золотой,
так к прекрасному чутки.

2

Есть сладость и в осени поздней –
Последнего сладость глотка.
Земное – земному, а после...
Кто знает, что после?
Тоска

Осенняя сердцу знакома,
Но эти стихи не о ней.
Такая в природе истома
И жалоба тающих дней,



Что строчка за строчкою снова
Охряной прошиты тесьмой,
И с первым последнее слово
Связуется жизнью самой.

3

Ноябрь уж на пороге,
вновь сырость непролазна,
и мы о том вздыхаем,
в окошко поглядев,
что мир устроен грубо,
что мир устроен грязно, –
не дай нам Бог попасться
в его бездонный зев.

А всё же не минуем,
а всё же попадаем,
и вот уж друг за дружкой
нас мелют жернова.
Но как присохнут раны,
мы всё же понимаем,
что мир устроен мудро
и жизнь всегда права.

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ

1

Свыклось сердце с зябкою погодой,
Облеклось в осеннее ненастье.
Повесть увядающей природы
Я пишу без грусти и без страсти.
Стала так душа невозмутима,
Что от жизни нужно ей не много:
Только то, что впрямь необходимо, –
Хлеб да посох в дальнюю дорогу.
Где вчера кшело изобилье,
Там чернеют дупла, как изъяны.
И болят надорванные крылья,
Хоть давно зарубцевались раны.

2

Строчка скуная – вот всё, что осталось
От полнозвучной земной круговерти.
Поздняя осень как ранняя старость,
Сердце спокойно готовится к смерти.
Слёзы и хлопоты, страсть и волнение, –
Всё пронеслось. Но не стану лукавить:
Вечно жива беспощадная память
Давнего, нежного прикосновенья.



3

Всё больше мне мила деревьев нагота –
 Убогий мой приют, мир холода и хруста.
 Нет горше ничего, чем сердца пустота,
 Испившего до дна хмельной напиток чувства.
 Чуть слышен редкий звон, и жалко звоняря:
 Он хочет звук извлечь, наполненный и сочный.
 Но слышит смех в ответ и скепсис ноябрь,
 Что в сердце тлен принёс и горький нрав порочный.

4

Как листья, облетают даты
 С календаря прожитых лет.
 На все подлунные дебаты
 Я знаю истинный ответ:
 Нет обретенья без утраты,
 Без смерти – воскресенья нет.
 И завтра то увидит свет,
 Что нынче сумраком объято.

Лишь дням весенним нет возврата,
 Лишь осени отсрочки нет.

5

Так уж, видно, дано,
 что сиротство певца
 неразлучно с осеннею темой.
 И в бескрайней тоске
 он дойдёт до конца
 и разрушит привычную схему.
 Где роняет листья
 умирающий мир,
 как последние капли надежды,
 где, ослабясь, смешит
 балаганный сатир
 дурака, простака и невежду,

где чернеет на всём
 вырожденья печать,
 там, как дух над землею истлевшей,
 вдруг воспрянет певец
 и заставит звучать
 даже камень, навек онемевший.



НЕСКОЛЬКО СТРОЧЕК О ЖИЗНИ И СМЕРТИ

Памяти друга

ЖИЗНЬ

1

То плетётся, спину сгорбив,
то несётся вдаль стрелой.
Между радостью и скорбью,
между небом и землёй
время так распределяет,
чтоб прочувствовать сполна,
как рождается, вырастает,
как цветёт и умирает,
и навек тебя бросает
отшумевшая весна.

2

Хоть последним дрожаньем струны,
что болезненным звуком мается,
но душа на цветенье весны
откликается.
Умывается
водопадом с небесных круч
и влюблённого жаждет взора...
Жизнь моя, проходи, не мучь!
Но помедли, не так же скоро...

3

– Что это было? – спросишь в итоге, –
Явь или грёза, ад или рай?
Первые пробы, зрелые слоги,
А между ними – солнечный май.

А между ними – счастье и слёзы,
Взлёты и бездны, пламя и лёд.
Что это было – тернии? розы?
Кто ж их разделит, кто их поймёт...

4

Я не знаю, что там, за чертою, –
Мне не велено этого знать.
Но короткою жизнью земною,
Где любить суждено и страдать,

Где от счастья до горя – мгновенье,
А от горя до счастья – века,
Где порой снизойдёт вдохновенье,
А за ним подкрадётся тоска,



Где сплетаются тонкие нити
Наших судеб, связуя сердца, –
Этой жизнью, друзья, дорожите,
До последней черты, до конца.

СМЕРТЬ

1

Даже если душа как отцветший сад,
Как разбитый грозой ствол,
Я не дам тоске затуманить взгляд,
Но, присев за рабочий стол,
Как средь зыбких волн опершись о твердь,
Я опять, хоть сюжет не нов,
Напишу о том, как приходит смерть,
Словно гость из иных миров.

2

Вопреки молве смерть приходит легко,
Как учитель в притихший класс.
Это кажется нам, что она далеко,
А она в двух шагах от нас.
И глядит она так, как ни друг, ни враг
Не посмотрят в кругу земном,
Потому что в них – твой предсмертный мрак,
А за ней – твой предвечный дом.

3

Это кажется нам, что тяжёл исход,
Потому что тепло земли –
Это то, что согрело нас в свой черёд,
Это то, к чему приросли
Наши души, познавшие скорбь и тлен,
Это то, с чем расстаться жаль...
Впрочем, это также иллюзий плен,
Что мешают нам видеть вдаль.

4

Вопреки всему, что уже прошло,
Что сгорело, разбилось в прах,
Смерть грядёт легко и глядит светло,
И собой отрицает страх.
Как увидишь её, со свечой в руке,
Так прощальный пиши свой стих
И земной беде, и земной тоске,
И беспечности дней земных.

СЕМЁН ВАЙНБЛАТ

«НА ТЕЛЕ ВРЕМЕНИ ЗАРУБКИ ДЕЛАЮ...»

Сжимаю кольца судорожных лет,
Где возродился в рощах бытия
Медово-красный брызжущий рассвет
В хохочущих крупинках янтара.
Спешили к людям вестники утрат
И в рыжих космах плавилась костры,
Где ветер прыгал, словно акробат...
Его рывки и резки, и остры.
Блуждая в броских бликах бурых бед,
Безвременно-безудержных, как боль,
Ты сбросила бесстрашно брэнность лет,
Оставив поле битвы за собой.

АННА АХМАТОВА

Где граница между *мало* – *много*?
Чем измерить чашу жутких лет?
Был расстрелян муж – Отец, Поэт...
Перед сыном – к пропасти дорога...

Может быть, в петлю, где нету Бога?
За черту, где меркнет белый свет?
«Нет! – сама себе сказала, – нет!», –
И остановилась у порога.

Чтоб поэтом настоящим быть,
Чтоб со всей планетой болью слиться,
Чтоб из океана жизни пить
И рекой поэзии разлиться,
Ей в Одессе можно и не жить,
Ей вполне достаточно родиться.

ИСААК БАБЕЛЬ

Неисправимый оптимист,
Певец Конармии советской
На всё смотрел с улыбкой детской,
Был сердцем и душою чист.



А если надо – смел, речист,
 Всё мерил меркой он одесской,
 И стиль его рассказов веских
 Был лёгок, как осенний лист.

Он мир налётчиков воспел
 Под ливнем облетающих истин.
 Он знал, что значит беспредел
 И власти тьма в известном смысле.
 «Одесса!» – крикнуть он успел,
 И оборвал улыбку выстрел...

ЭДУАРД БАГРИЦКИЙ

Жизнь свою он прожил не напрасно.
 Он за счастье биться призывал.
 Сам собою в сердце западал
 Стих его порывистый и страстный.

Был везде, где трудно и опасно,
 Радости и беды – всё познал!
 Чтобы не стонать, рукой сжимал
 Грудь свою, изъеденную астмой.

Ставил он для птиц силки в траве
 В городе, для всех ветров открытом.
 Обожал читать стихи в кафе
 О борьбе с заплесневевшим бытом.
 И хотя скончался он в Москве,
 Но навек остался одесситом.

ПОИСКИ

Никогда я не верил в пророчества,
 Не заглядывал в дни, что грядут.
 Каждодневный пронзительный труд –
 Апогей плодоносного творчества.

Глушость детства, проказы отрочества
 В дебрях памяти ищут приют.
 Если мысли уста не замкнут,
 Снова буду в кольце одиночества.

.....

К прекрасному безудержно стремлюсь.
 Я в поисках немало лет и зим.
 И день, и ночь несу ошибок груз.
 Не знаю до сих пор, что делать с ним.
 Потери вызывают боль и грусть.
 А слава, почесть – это только дым.



СТРЕЛА СЧАСТЬЯ

Судьба всегда свои пускает стрелы,
И тот, кто проследил стрелы полёт,
Надеется, что попадёт он в порт,
Где ждёт его давно кораблик белый,

Который бороздя просторы смело,
Успешно в Эльдорадо приплывёт.
Ведь каждый, кто на берег там сойдёт,
Счастливым будет и душой, и телом.

Ты тоже смотришь в синий небосвод...
О, сколько стрел! И ты уже в пути!
И мчишься, обо всем забыв, вперёд,
Чтоб где-нибудь стрелу свою найти.

Как горестно узнать, что ты, седой,
Всю жизнь гонялся за чужой стрелой.

ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА

Сегодня вновь прочёл я трогательный миф
О пламенной любви Орфея к Эвридике.
С тех пор века прошли, а миф старинный жив.
Доныне помнит мир о той любви великой.

Орфей! О, как он пел! Как голос проникал
В тайник людской души мелодией волшебной!
В нём были доброта, высоких чувств накал,
И нежность, и любовь, и мощь воды целебной.

О, сколько славных дел свершил он для людей,
Прекраснейший певец, сын музы Красноречья!
Умел он чаровать птиц певчих и зверей,
Всегда примером был любви, добросердечья.

А мать ему дала великолепный дар –
Уменье убеждать ораторским искусством.
Он вкладывал в слова любви сердечный жар,
Помноженный стократ на искрометность чувства.

Он был одним из тех, кто любит только раз,
Свой идеал любви нашёл он в Эвридике,
Но погасила смерть сиянье чудных глаз. –
Была слышна лишь боль в её последнем крике.

Орфей почти не спал, от горя изнемог,
По-прежнему любя и нрав имея твёрдый,
Аида стал просить, чтоб этот грозный бог
На землю отпустил жену из царства мёртвых.



И услышал Аид печальные мольбы.
И он сказал: «Одно условье соблюди-ка!
Тебе разрешено спуститься в царство тьмы,
И увести с собой ты можешь Эвридику,

Но чтобы ваш уход не кончился бедой,
Тебе, Орфей, одно лишь только помнить надо:
Ты не смотри назад, идёт ли за тобой
Жена твоя, пока не выйдешь ты из ада.

Известно мне, что ты всегда на ногу скор,
Но если ты хоть раз посмеешь оглянуться,
Нарушив этим наш с тобою уговор,
То никогда жене на землю не вернуться».

Орфей спустился в ад и там среди теней
Нашёл свою жену и с ней спешит на землю.
Она идёт за ним, но всё ж обидно ей,
Что на неё Орфей не смотрит и не внемлет.

Она кричит: «Орфей, зачем ты так спешишь?
Неужто на меня не бросишь даже взгляда?
Меня ты разлюбил? Чего же ты молчишь?
На миг хоть обернись, иди со мною рядом».

Но, помня уговор, Орфей вперед спешит,
И постуь у него тверда, неколебима.
В отчаянье жена Орфею говорит:
«Мне лучше умереть, чем знать, что не любима».

Но он идёт вперёд, туда, где брезжит свет,
А голос за спиной всё тише, тише, тише...
Прислушался Орфей: идёт ли кто-то вслед?
А может, не жены сейчас он голос слышит?

Забыв про уговор, Орфей застыл на миг,
И обернулся он всего лишь на мгновенье.
И замер на устах не вырвавшийся крик,
Когда, как тень жены, растаяло виденье...

Сегодня вновь прочёл я трогательный миф
О пламенной любви Орфея к Эвридике.
С тех пор века прошли, а миф старинный жив.
Доныне помнит мир о той любви великой.

Но если бы Орфей Афины щит имел,
Тот, чем владел Персей, боясь Горгоны взгляда,
Как в зеркало, в него Орфей бы посмотрел,
И убедился б он, что Эвридика рядом.

И если бы они, придя к себе домой,
Спокойно на земле остаток дней прожили,
Тогда об их любви прекрасной, но другой,
Поэты и певцы другой бы миф сложили.



ГОНЮСЬ ЗА ИСТИНОЙ

Вся жизнь – искание
любови и знания
Без ожидания,
без промедления,
Где слиты накрепко
огонь желания
С кристально чистою
рекой сомнения.

Чтоб путь тернистый свой
пройти смог смело я,
Глядеть в грядущее
стараюсь пристально.
На теле времени
зарубки делаю...
Блуждаю в сумерках,
гонюсь за истиной.

ЕЛЕНА МИЛЕНТИ

ВЕРОЯТНОСТЬ ЗАБЛУДИТЬСЯ

Сбежать в былинный тёмный лес
И обрести забвенья чудо,
Но к сотворению чудес
Не Бог причастен, а – Иуда.
Там птицы чувствуют беду –
До них доносит ветер гари
И крови запах, и одну б
Им песню петь, чтоб содрогались
Земля и Небо, сон-трава
Главу склоняет низко долу.
О, скольких, скольких жернова
До срока в пыль перемололи!
Закреть бы уши и глаза
И рот, обугленный страданьем
Всех тех, которым жить бы за
Лет столько, сколько смогут с гаком!

Ты меня научил любить на грани безумия,
Продлевая упругую цепь бесчисленных поцелуев.
Когда твоё и моё дыхания покроются пеплом,
Над нами колоколом зазвенит высокое небо.
Ты никогда не говорил *люблю*, но это слово сквозило
В зове зрочка и в том, как я его тебе говорила.
А теперь я должна уйти, вызов бросив
Всем неприкаянным дням – порознь.
Мне дороги короткие – длинные дни – рядом
И все разлуки, цокающие холодным градом.
Ухожу от тебя по доброй воле, любя по-прежнему,
Унося с собой невостребованную нежность.



Трагедия выбивается клином
Из эпохи, породившей её.
Век бабочки кажется длинным,
Прерванный иглы остриём.
Пыль любит полки книж-
ные – там удобней слоиться и,
Сдуваемой дыханием, падать ниже,
Внемя притяжению земли.
Вникая в трагедию, сложно
Извлечь подоплёку, рот
Любое слово отпустит ложью
Или птицей, идущей на взлёт.
Время обтесывает острые углы.
Так трагедия становится легендой.
Попытка ветра реанимировать, оголив, углы,
Окажется тщетной.

Что лучше – любить или быть любимой –
Ответ, Боже правый, мне.
Порой, кому светишь, проходит мимо,
Довольный собою вполне.

А ты всё бежишь безоглядной дорогой
Того, кто навстречу тебе.
И, кажется, сердце выклевал сокол
И выцвел ситец небес.

И камень, зажатый в кулак, понемногу
Из недр исторгает соль.
К себе снисходительной быть или строгой?..
Пустая затея – уволь.

Остались два стула и два бокала,
Пустые, стол-манускрипт
И блик мимолетный стального лекала,
Что судьбы вслепую кроит.

И хлопанье крыльев – седых и тяжелых,
И привкус несказанных слов,
Ещё – возвращенье к себе, как в школу
Сквозь строй незнакомых домов.



Все твои бдения наспех
 Местным фазанам до фени.
 Курам-несушкам на смех –
 Бездарь ты или гений.
 С первого взгляда кажется –
 Ему зацепиться не за что.
 Воли небесной сажены
 Песок цементируют нехотя.
 Ходит вокруг да около
 Ветер, как будто куражится.
 То обернётся соколом,
 То за барханом спрячется.
 Звездами вспахано небо,
 Как светляками – сажа.
 Голову вскинешь нелепо –
 Оцепенеешь тот час же.
 Здесь ничего заранее
 Не угадаешь – всё ново.
 Держится мироздание
 На частокоче сосновом.
 А заблудиться – раз плюнуть –
 Сосен не надо и елей;
 Там, за песчаной дюной –
 Призраки древних поверий.
 Я обо всём забуду,
 Новые сказки открою,
 К тысячелетнему дубу
 Плотно прижавшись щекою.
 Море с лиманом, вторя
 Солнцу дрожащей блесною,
 Между собой не спорят
 За обладание косою.
 Так как, стыкуясь друг с другом,
 Там, где ещё ты не был,
 Волны натянуты туго
 На нисходящее небо.

Сон – земля обетованная
 Безъязык и невесом,
 Обезглавленный туманом,
 Колокольный перезвон.
 В ожидании метелей,
 Безразличием полны,
 Постовыми онемели
 Твердолобые столбы.
 Центробежной силой памяти,
 Здравым смыслом вопреки,
 Послевкусие свиданий
 В русло брошено реки,



Где покрылось время тиной;
Там двоим не довелось
Быть сплетённым воедино
В полынье застывших грёз.

Вероятность заблудиться в треугольнике трёх сосен – нулевая,
Даже если наглухо чёрной тканью веки закрыть.
Идёшь по дороге – за тем поворотом заранее зная –
Распахнутым веером побережья откроется вид.
Любитель оседлой жизни пожмёт плечами и скажет:
Постоянство – залог покоя и комфорта оплот.
Всяк, увидевший за углом нечто такое, даже
Китайскую стену, рано или поздно, или между ними – умрёт.
Поэтому – сиди на одном месте, смотри в потолок и помни –
С рельс срываются поезда, пароходы идут ко дну,
Самолёты, теряя легкость, впадают в кому,
А те, кто в утробе их, взлетают стайей или по одному.
Возможно, ломая угол соприкосновения
Взгляда с картинкой, намыленной донельзя,
Увидеть не одуванчика воспарение,
А тучу, беременную морем и на сносях.
Гуляя в треугольнике трёх сосен, поминутно
Теряться – покажется кому-то ерундой
Или желанием уехать неведомо куда кому-то,
Или блажью, или в детство канувшей чехардой.

Кто-то хуже, кто-то лучше,
На свой лад лудит в рожок,
Каждый третий бьёт баклуши –
В этом он не одинок.
Но под общую шарманку
Свистопляски облаков
Ждут в глуши, на полустанке
Промельк беглых облаков,
Что летят без расписанья
И не ставят рельсы в грош,
Но билет на них заранее
Вряд ли ты приобретёшь.

БАХТИЯР АМИНИ

ВЕТЕР-ХОРЕОГРАФ

*

зимний день
больше чем я
дрожит моя тень

*

люблю я точку
во многих делах
люблю многоточие

*

птичьи следы
смысл дождь
чистое небо

*

с мухой в машине
разговоры по душам
пробка

*

снег шёл и шёл
выросли деревья за ночь
на несколько сантиметров

*

широко раскрыв рот
мечтает о заграничной поездке
чемодан у двери.

*

кто-то зажжёт
во сне свечу
одиночество



*

Донесёт ли
до адресата?
Ветер унёс мою ругань.

*

греются
на пляже
зимние сны

*

собираю бутылки...
ну где же ты, где
проклятый Джинн?

*

будильник
проспал
моё утро

*

темнеет
вижу тебя
во всех прохожих

*

из тысячи икринок
вылупилась одна.
вот тебе и жизнь!

*

из памяти
стерты крылья
птица манкурт

*

мальчик плачет
из-за утонувшего мячика
Полная Луна!

*

О Будда,
научи меня улыбаться
не улыбаясь



*

Приходя в себя
обнаружил
тебя и не было ...

*

С улыбкой в сердце
прощается с жизнью...
Старый клоун!

бьётся сердце
то быстро, то медленно
зал ожидания!

*

летит ракета
догнать не может.
мысль улетела!

*

отчего ж вдруг
мы стали похожими
О облачное небо?

*

продали
старый отчий дом.
Память осиротела!

*

на диване цветка
довольная спит роса.
какой короткий сон!

*

мирно сосуществуют
в новом альбоме
юность и старость

*

нас разводят.
на мне футболка с надписью
«Love forever!»



*

танцуют
рожь и пшеница
ветер-хореограф

*

горная тропа.
только ты идешь по ней,
моя память!

*

трудно представить
сколько жизни
между «тик» и «так»

*

Молчать
как тяжело
рыбы знают

*

мгновение –
место жительства
Вечности

*

сколько пустынь
прошло через мои песочные часы!
всё ещё жду тебя!

*

пруд, Басё и я
заключили договор
не молчать о лягушках

*

О лягушка,
прыгни в воду, прыгни!
хочу всплеска в тишине!

*

плавучее кладбище
тысячи детских грёз
бумажные кораблики



*

на кладбище
конкурируют между собой
надгробные камни

*

в целом мире
не нашёл другую, кроме тебя!
какой маленький мир!

*

сколько веков
не меняется
улыбка Будды

*

без зонта
как прекрасен мир!
девушка под дождём...

*

долго выбирала
куда упасть
секс-бомба.

*

полон воды глаз рыбы.
её слез ты не видишь,
и никогда не увидишь!

*

улетели птицы в Бухару.
как хорошо им.
виза не нужна.

*

крашу первые седые волосы...
пусть мама подольше
чувствует себя молодой!

*

медленно подметает чужой двор
дворник таджик.
Родина его не ждёт...

«ОКОЁМ»

«ПРОВИНЦИЯ У МОРЯ». ФЕСТИВАЛЬ ВОПРЕКИ

Вспоминая арт-фестиваль «Провинция у моря – 2014» (уже вспоминая, поскольку сразу после окончания фестиваля пришла осень, и окружающая действительность стала мало чем напоминать прекрасные летние прибрежные дни), невольно сравнившись его с предыдущим – по замыслу, по размаху. Руководствуясь теорией систем, мы ежегодно брали вектор на расширение фестиваля, на его дальнейшее развитие в сторону многообразия и качества. Литературный конкурс в этом году был насыщеннее, на него пришла 361 работа против 218 в прошлом году, финалистов было 45 против 35-ти в 2013-м. Но все мы, творческие люди, живём по соседству с миром, и он влияет на нас не только положительными, но и отрицательными своими чертами. Многие сейчас напуганы, многие – перестраховываются, и, наверное, они правы по-своему, – далеко не всех удалось собрать на нашей «территории мира». Но несмотря ни на что – у нас получилось. Хотя об этом, прежде всего, судить гостям фестиваля. Для нас же это был своего рода тест на устойчивость во время повсеместного ледохода.

В середине февраля, когда пришло время начинать приём работ на поэтический конкурс фестиваля, мы решили – *конкурсу и фестивалю быть!* – вопреки всему. И сразу же объявили фестиваль «Территорией мира». Между собой мы называли наш проект экстрим-фестивалем, и чтобы большая команда организаторов работала слаженно, как часы, и без надломов, перед нами с самого начала стояла задача абстрагироваться от взрывоопасных, агрессивно настроенных людей. Но они абстрагировались от нас сами (спасибо им за это!), информационные партнёры и спонсоры не подвели, и нашлось много новых друзей, поддерживающих идею проведения фестиваля.

Конкурс стартовал и, несмотря на трагические события в Одессе, в последние дни конкурса мы принимали по 20-30 конкурсных работ ежедневно, летом были объявлены предварительные итоги, а потом пришло время работать над программой фестиваля. И когда *сверху*, за неделю до начала фестиваля, «посоветовали» не проводить фестиваль, мы уже не могли остановиться. Да и не собирались. Вопросы с дислокацией мероприятий решались оперативно, и программа корректировалась по мере надобности. Это – как с государствами, как с городами. Маленький город легко подмести, подкрасить, провести озеленение. В большом городе всегда больше хаоса. В маленьком государстве легко провести реформы, развернуть его с запада на восток или наоборот, большое государство – асфальтный каток. Такие махины как «Провинция у моря» и Южнорусский Союз Писателей не могли себе позволить остановиться у подножья горы, ни физически, ни морально. Да и не посиделки это всё-таки, которые можно перенести или отменить, а десять дней, наполненных событиями, к которым готовятся и которых ждут сотни человек!

Отсюда и оттенки в постфестивальных высказываниях организаторов:

Ирина Василенко: *«Мы сделали это, несмотря на все препятствия, подводные камни и дикую усталость. Спасибо всем, кто был рядом и поддерживал нас. Спасибо нашему замечательному жюри: Оле Пльницкой, Маше Луценко, Тане Партиной, Саше Семькину, Ксюше Стеценко и Владе Пльинской. Фестиваля не было бы без тех, кто «от заката до рассвета» жил им: Серёжи Главацкого, Людды Шарга, Приши Бобровой, Саши Бедикяна и многих-многих других. Команда работала, как часы – просто невероятно!»*

«Это стоило того – чтобы послушаться вживую стихов Димы Артиса, налюбоваться на такую искреннюю и солнечную Майку Лунёвскую, поговорить с американским одеситом Юрием Берданом,

поразиться непосредственности Рэны Одуванчик. Чтобы услышать прекрасное актёрское чтение Юрия Гельмана, долгими вечерами беседовать обо всём на свете с Тамиллой Синеевой, вновь увидеть и обнять Аню Стремлинскую. Чтобы открыть для себя удивительно близкий мир стихов Лены Росовской, и сто раз перечитать стихи Владимира Каца о «провинции у моря». А ещё была хрупкая незащищённость Лизы Раванской, бесшабашность Валеры Сухарева, и был Лёня Кулаковский, совмещавший три в одном – финалист, член оргкомитета и скорая помощь.

Плескалось море. Чайки расхаживали по песку рядом с нами. Корабли на рейде манили в дальние неизведанные страны. И была музыка, стихи, чудесные люди. Главное – люди.

“Самая большая роскошь – роскошь человеческого общения”. У нас получилось это. Разница в оценках каких-то событий не смогла помешать главному: любви, доброте, пониманию. Счастью».

Аюдмила Шарга: *«Всё когда-нибудь кончается. И хорошее, и плохое. Говорят, что не существует ни плохого, ни хорошего, есть череда событий, которые мы сами относим к тому либо к иному, сами ставим “плюс”, или же “минус”. И так, о хорошем. С моей, и не только с моей точки зрения, поскольку многие считают литературные фестивали делом хорошим и нужным.*

О фестивале, который в четвёртый раз прошёл в Одессе и Ильичёвске, собрав старых друзей и новых знакомых, открыв новые лица и имена, всех тех, чей путь лёг через эти два замечательные города, в провинции у моря.

Уже написаны первые обзоры, уже выложено видео всех фестивальных дней в сети. Более того – уже известны имена финалистов, лауреатов и победителей. Уже готов сборник по итогам поэтического конкурса, новенький, пахнущий типографской краской. И есть общие воспоминания и фотографии, рассматривая которые, понимаешь – получилось.

Можно было бы сказать “вопреки”. И это не было бы сказано для красного словца. Слишком много препятствий было на пути в этом году. Но есть ли смысл говорить о них, если мы их преодолели. Не лучше ли сказать о том, что фестиваль состоялся не только вопреки, но и благодаря. Благодаря работе оргкомитета, поддержке друзей, членов жюри, и конечно же, благодаря участникам многочисленных конкурсов, среди которых трудно было выбрать победителей.

Победители есть, но нет проигравших – ведь участие в фестивале это уже выигрыш, победа над серыми и рутинными буднями, над злобой и ненавистью, охвативших сегодня многих.

Всё когда-нибудь кончается.

Хочется надеяться, что хорошее кончается исключительно для того, чтобы повториться».

Было всё – и книжные презентации, и творческие литературные вечера, и музыкальные вечера, и фотовыставки, коллективные и авторские, и выставки живописи, и спектакли, и поэтические соревнования, буккроссинг, «свободный микрофон», открытие мемориальной доски великоллепному одесскому и ильичёвскому поэту Марине Хлебниковой (Деминной) – более тридцати различных событий состоялось за эти дни. Не говоря уже о поэтических погружениях в морскую пучину и шумное вечернее общение в уютных кафе. Во время фестиваля состоялось даже открытие огромной Приморской лестницы в г. Ильичёвске – сестры одесской Потёмкинской лестницы! День города был отмечен гостями фестиваля в Одессе – 2 сентября – и в Ильичёвске – 6 сентября. Волшебная атмосфера добра и дружбы к концу фестиваля просто поглотила нас с головой, как и в прошлом году. И материальное воплощение фестиваля – поэтический сборник – вышел в срок, и был подарен всем участникам фестиваля. Хочется верить, что гости фестиваля получали исключительно позитивные эмоции, и что-то мне подсказывает, что это так. Иначе бы не было бы уже второй год желающих переехать в Одессу и Ильичёвск со всех уголков мира. А желания должны исполняться!

И в конце этой заметки – результаты поэтических конкурсов фестиваля.

Предварительный поэтический конкурс «И ляжет путь мой через этот город...» (участвовал 361 автор):

1 место – Дмитрий Артис (Санкт-Петербург, Россия)

2 место – Юрий Бердан (Нью-Йорк, США)

3 место – Ксения Александрова (Одесса, Украина)



Лауреатами конкурса стали **Виктория Берг** (Калининград, Россия), **Дарья Веретина** (Мичуринск, Россия), **Ольга Кочнова** (Тверь, Россия), **Елена Росовская** (Одесса, Украина), **Светлана Солдатова** (Москва, Россия), **Татьяна Шеина** (Радошковичи, Беларусь) и **Екатерина Янишевская** (Салоники, Греция).

Специальными призами были награждены:

от Литературного портала «Графоманам.нет»: Юрий Бердан (Нью-Йорк), Майка Лунёвская (пос. Берёзовка, Тамбовская обл., Россия);

от Литературно-художественного журнала «Южное Сияние»: Елизавета Радванская (Киев, Украина);

от арт-проекта «Территория Ю»: Леонид Кулаковский (Ильичёвск, Украина);

от творческой гостиной «Diligans»: Лола Ува (Донецк, Украина);

от ЛИТО им. В. Домрина: Катерина Казначеева (Котовск, Украина), Юрий Татаренко (Новосибирск, Россия).

В следующих конкурсах приняли участие финалисты предварительного конкурса, приехавшие в Ильичёвск на финальную часть «Провинции у моря»:

Основной поэтический конкурс:

1 место – Елена Росовская (Одесса, Украина)

2 место – Майка Луневская (пос. Берёзовка, Тамбовская обл., Россия)

3 место – Анна Стреминская (Одесса, Украина)

Анонимный конкурс одного стихотворения:

1 место – Елена Росовская (Одесса, Украина)

2 место – Дмитрий Артис (С-Петербург, Россия)

3 место – Владимир Кац (Одесса, Украина)

Также 6 сентября прошёл конкурс на **Приз зрительских симпатий**:

1 место – Майка Лунёвская (пос. Берёзовка, Тамбовская обл., Россия)

2 место – Юрий Гельман (Николаев, Украина)

3 место – Елена Росовская (Одесса, Украина)

А в **Поэтри-слэме**, который 7 сентября, перед самым закрытием фестиваля, провела Владислава Ильинская, приняли участие 18 авторов – все, кто пожелал динамичного и современного поэтического соревнования. Победителями стали:

1 место – Юрий Бердан (Нью-Йорк, США)

2 место – Майка Луневская (пос. Берёзовка, Тамбовская обл., Россия)

3 место – Мария Луценко (Киев, Украина)

ГРАН-ПРИ фестиваля, которое, по правилам фестиваля, определяет Председатель жюри Евгений Степанов, досталось гостю из Санкт-Петербурга – **Дмитрию Артису**.

Сергей Главацкий

СТИХОТВОРЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПОЭТИЧЕСКИХ КОНКУРСОВ ФЕСТИВАЛЯ

От редакции. В рубрике «Окоём» мы предлагаем на этот раз вниманию читателя поэтические подборки победителей поэтических конкурсов IV арт-фестиваля «Провинция у моря – 2014», как имеющие отношение к конкурсным подборкам авторов, так и имеющие весьма отдалённое к ним отношение.

КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВА

Одесса

Ладони сложить лодочкой, но в ней не доплыть до берега,
Выйти из воды сухой, водоросли разложив по карманам.
Сколько ни плачь теперь – всё равно будет мало.

Достать из воды, положить на душу камень и пару раковин,
Надеть босоножки, песок не стряхнув со ступней,
Зная: не помнить – больно, помнить – ещё больней.

Вернуться к воде, стать рыбой – холодной, ласковой и немой,
Уйти домой, оставив глупое сердце своё в прибое –
И больше не знать радости, больше не знать боли.

Брось якоря,
Пусть разойдутся вокруг моря
Посреди слишком теплого октября.
Эта соль убивает, эта соль лечит раненых, говорят,
Эта соль пробуждает душу,
И когда твои верные призраки станут в ряд,
Рваное сердце разбередят,
Станет лучше.

Так не бойся же, к черту страх,
Ты в воде всё такой же лёгкий, как в небесах,
Эта соль остается в коже и волосах,
С вязкой сладостью ветра споря.

Дуй на плечо,
Если вдруг станет больно и горячо –
Жадные волны возьмут тебя на крючок.
После них только соль на щеках печёт,
Только соль по щекам течёт –
Словно капли чужого моря.



Входить в эту воду страшно, но я иду.
Неважное скрыто, важное – на виду,
А мне без тебя и день – словно год в аду,
И год в пустоте на сдачу.

Не бойся, достань помятые меч и щит,
Пусть песня любви, как вражеский гимн звучит,
Но сердце твоё поёт, а моё – кричит,
И будто вот-вот заплачет.

Смешаются радость встречи и страх потерь,
И трудное счастье – дикий зубастый зверь.
Входить в эту воду страшно, и я теперь
Не ведаю, что там дальше,

Но боль эту знает каждый, кто не погиб.
В песке остается след от моей ноги,
И волны морские бьются о сапоги,
Что, кажется, на удачу.

Урожай наших лучших мужчин уже собран кровавой жатвой,
Слишком хрупкое сердце в пальцах железных сжато,
Так чего нам теперь бояться, куда бежать-то?

Изгибаться в красивом и страшном танце, но не сломиться,
На дрожащих ладонях линии время связало спицей,
Что ж, куда нам теперь бежать и куда стремиться?

Я уже сам не знаю, когда нужно плакать, когда смеяться,
Я готов хоть героем стать, хоть предателем, хоть паяцем,
Но куда нам стремиться, чего нам теперь бояться?

Я ей говорю: подожди, ну пускай опоздаем на полчаса,
Пригладь лучше волосы, которые не получится расчесать,
Нас вечер сонной печалью своей укроет,
Мне страшно, когда на руке не написано номера и числа,
Одна только груша крови.

Она говорит: как ждать, когда чьё-то сердце в руки твои легло,
Когда в тебе плещется свет всем потерям и даже смертям назло?
И что-то ещё, слова заглушает ветер.
Потом говорит, что всё это не страшно, не больно, не тяжело –
Мне нечего ей ответить.

Если выбирать, то, конечно, быть,
 Плачь по мне, последний мой Че Гевара.
 Я теперь умею тебя любить,
 Пить тебя – горчайшую из заварок,
 Ждать тебя, покуда мне не забыть,
 Как в бреду горячечном целовала.

Приходя ко мне, исцелись от ран
 И запомни – рядом нельзя бояться.
 Мне не хватит радости и добра,
 Чтобы снять твой вросший под кожу панцирь.
 Время шрамом тянется от бедра
 И уходит в землю, срываясь с пальцев.

А во мне гудит твой пчелиный рой,
 И в глазах – не озеро, но трясины,
 Быть теперь и засухой и грозой,
 И носить под сердцем чужого сына.
 Поцелуем долгим мне рот закрой,
 И глаза закрой, и спиною – спину.

Знаешь, детка, ты, как никто, горяч,
 Взгляд колюч и зол, поцелуй тягуч –
 Это как прививка от неудач,
 Как защита от слишком сильных туч.
 Я под этим ставлю свою печать,
 Вязкой кровью стынет под ней сургуч.

Знаешь, детка, ты, как никто, умел,
 Как никто, опасен, красив, хитёр.
 Каждой встречи горечь держать в уме,
 Каждой ночи счастье кидать в костёр –
 Это всё до осени, а к зиме
 Приходи от боли кричать в шатёр.

Знаешь, детка, ты, как никто, силён,
 Под твоей ладонью струится свет.
 Солнце просочится в дверной проём,
 Превратится в звон золотых монет –
 И сам Бог услышит, как мы поём,
 Будто сами верим, что смерти нет.

А от камня круги расходятся по воде.
 Я шепчу, мол, и сам не знаю, что здесь искал,
 Если встретишь меня, узнаешь – то быть беде.
 Это мир тишиной пробитых насквозь людей,
 Что придумали нас из золота и песка.



А от камня синяк останется на груди,
И воды наберётся, кажется, полный рот.
Я кручу барабан – неважно, что впереди,
Уходи, оставайся, всё равно уходи,
Делай всё, что захочешь, только наоборот.

А от камня в ладони мелко дрожит рука,
Прикоснуться б к запястьям, гладить их мятый шёлк.
Слишком горькое счастье – ждать меня, дурака.
Я кручу барабан, и это наверняка
Будет сладко и больно, страшно и хорошо.

А от камня в груди по небу струится рябь.
Не жалею о прошедшем, выйди ко мне босой,
Уходя, не грусти, не слушай, что говорят,
Мы останемся здесь навечно – до ноября,
Чтоб к зиме превратиться в золото и песок.

Твоё имя святится, счастье моё горчит.
Я хочу закричать, а ты говоришь: молчи,
Превращаешь вино в вино, сотни фраз – в одну,
Крики радости – в осторожность и тишину,
Проиграй мне войну, пока я иду ко дну.

Отпусти меня вспать, мне нечего здесь терять.
Чьи-то сонные дети ластятся к матерям.
Выбивайся из сил, но взялся – так уж неси,
На земле сразу станет яко на небеси.
Ладно, я помолчу, но большего не проси.

И во веки веков, аминь, и что там ещё,
Я чуть-чуть помолчу, но выставлю после счёт.
Ты сегодня ничей, и родинка на плече,
Как клеймо и как орден, знамя, позор и честь,
Станет лёд горячей от наших с тобой ночей.

Так прославь немоту, внутри разливая ртуть,
Я хочу закричать, ладони прижав ко рту.
Время – лидер продаж, и хлеб нам насущный даждь,
Наше счастье совсем простое, как карандаш...
Я молчу, прочитай мне заново Отче наш.

Ты не просил, но вот радость и вот вина,
Книга, где наши записаны имена.
Только рассвет дотягивается до дна,
Небо, как мандарин, разделив на дольки.

Вязкий туман забирается под рукав,
Ты не просил, но вот сердце и вот рука,
Горный хребет, между ребер течёт река –
Здесь и секунда кажется слишком долгой.

Вот тебе мир – весь зелёный и голубой,
Где заливается скрипка, гудит гобой.
Ты не просил, но вот верность и вот любовь,
Выросшая из света, а не из долга.

ДМИТРИЙ АРТИС

Санкт-Петербург

Но город пуст, как божья пятерня,
просившая когда-то у меня
любви немного, прочему не веря.
Я шёл к нему века тому назад,
и не считал безусый циферблат
к моей руке пристёгнутое время.

По улицам, подобно гольфтьбе,
гоняли ветер хлопья голубей,
росли дома с покатыми плечами,
брусчаткой покрывалась колея,
а я всё шёл, вернее, ковылял,
ещё вернее, длил свои печали.

Ещё немного и песчаным ливнем
накроет Рим, последний, третий Рим,
и мы с тобой об этом говорим,
а надо бы о чём-нибудь наивном.

Допустим, о бессмертии вселенной,
но мы упрямо говорим о не-
избежности: об атомной войне,
о том, что все умрут и мы – со всеми.

А надо бы о чём-нибудь попроще:
об ангелах на маковке сосны...
Украсили рождественские сны
освоенную в бункере жилплощадь.

Уже ничто не будет повторимо,
уже никто не будет повторим,
и мы с тобой о Риме говорим,
но Рима нет, не будет больше Рима.



Однажды мы случайно где-нибудь
в конце вселенной встретимся и снова
соединимся в целое одно,
единое, прозрачное, большое.

Когда-нибудь окажемся вдвоём
на высоте последнего пространства
и никого не будет, ничего
не будет между призрачными нами.

Должно быть, через пару сотен лет
или, того страшнее, много позже
сойдёмся без особенных причин,
как будто никогда не расходились.

Два совершенно разных существа,
далёкие, полярные друг другу,
мы станем завершением небес,
невидимой, но осязаемой точкой.

Из чайной чашечки коньяк горячий с шоколадкой
я пью который день подряд, мой милый друг, украдкой.

И сладок миг, и горек вкус. Душе не до печали.
Был послан *трезвый образ жи*, предписанный врачами.

Мне хорошо, мне хорошо. Я без причины весел.
Уже спадает на окно, как занавеска, плесень.

Гори, гори, моя звезда, гори, гори, не падай.
Не заменить твой яркий свет ни рампой, ни лампадой.

Ах, эти странные врачи! И сами мы с усами.
Кто сможет выразить в стихах всю глупость предписаний?

Кто сможет высказать в словах, как сказочку поведать,
что лечит от ненужных дум таблетка до обеда?

Ещё чуть-чуть, один глоток – и позабуду вовсе
о том, что за моим окном респётчатая осень,

о том, как я, мой милый друг, себя в такое вяпал.
Давила правильная жизнь мне на сердечный клапан.

Трепала, точно пацана напикодившего мамка.
У чистых помыслов совсем нечистая изнанка.

Гори, гори, моя звезда, а я допью украдкой
из чайной чашечки коньяк горячий с шоколадкой.



Позову, только ты не ответишь...
Ты пойдёшь стороной листопада
примерять тополиную ветошь
по-осеннему скучного сада.

Всё тебе – золотая обнова –
и пожухлые листья, и старость.
Мне бы неба чуть-чуть голубого,
на другое уже не позарюсь.

Мне бы солнце, его половинку
или меньше – погаснувший светоч.
Ко всему привыкаю, привыкну
и к тому, что ты мне не ответишь.

И было всё, и ты уже была,
и дети намечались, и февраль
с упорством молодой домохозяйки
мыл окна на рассвете добела
и рисовал порхающие стайки
амурчиков на стёклах, снежный вальс,
и ветер был, и ты уже была...

И газовая, старая плита
на шесть квадратов кухни, и тепла
достаточно – не думать о камине.
О том, что надо щели залатать,
не думал я, и не было в помине
ещё зимы, а ты уже была,
и ветер был, и старая плита...

И было всё без боли, не до зла.
Изгиб дивана шею не ломал,
когда в мои трясущиеся руки
ты грудь свою молочную несла,
а на плите взволнованная турка
на белом рисовала терема
кофейной гущей. Было не до зла.

И ветер был, и ты уже была
намного старше. Господи, прости.
Я забываю прошлое, вестимо.
И, кажется, теперь, без бла-бла-бла,
теряет жизнь тепло, теряет стимул...
А детям удаётся подрасти,
и всё, что было – ты уже была.



Ветер выюжен, ветер выюжен
за окном. В окно. В окне.
Был бы я кому-то нужен,
был бы кто-то нужен мне.

Забродили мысли, скисли,
настоялись в голове.
В одиночестве от мыслей
можно и осоловеть.

Я в окно глазами воткнул,
точно нож калёный в грудь.
Надо, надо выпить водки,
помолиться и уснуть.

Эй, вы, люди-человеки!
В грязь лицом ложится *снех*.
Если грешен, то навеки,
если вечен, то за грех.

Спать пошёл, к чертям собачим,
успокою сердце. Но...
Что за сука снова плачет
мне в открытое окно?

То ли я на этом свете,
то ли я уже на том.
Кто там?
Ветер.
Кто там?
Ветер,
ветер, ветер под окном.

Выпью водки. Водка кстати
убежавшему с ума.
На мою срыгнула скатерть
снегом пьяная зима.

От себя не отмолиться,
от себя не убежать.
Кто там рвётся белой птицей
в мою комнату опять?

Это ветер. Ветер выюжен
за окном. В окно. В окне.
Только ветру я не нужен,
и не нужен ветер мне.

Над опустевшим переулком,
где даже ветер недвижим,
взлетим, душа моя, покурим
за неудавшуюся жизнь.

Нам будет радостно и больно,
плененны будем и вольны
разрезать небо голубое
до основания луны.

Оставим прошлое, помянем.
Печаль от сердца отлегла.
Последний раз играет пламень
в размахе нашего крыла.

ЮРИЙ БЕРДАН

Нью-Йорк

ОКТАБРЬ В ОДЕССЕ

Последняя улыбка стюардессы,
И замер Боинг, успокоив дрожь.
Ну что ж, привет, аэропорт Одессы!
Октябрьский день. Конец сезона. Дождь.

Он – не сюрприз: прогнозом был обещан,
И лить ему ещё четыре дня.
О, господи! Полно красивых женщин,
И ни одной, встречающей меня!

Завидно мне, но не подам я виду,
Наброшу плащ и в гулкий город выйду...

Вдруг повезёт и встречу эту пару –
Она и я... Сквозь красный листопад
Идущую вдоль моря по бульвару,
Держась за руки, жизнь тому назад.

ПЕРЕВАЛ

Над перевалом первая метель...
В дверном проёме синий всполох платья.
Спаситель мой – в три номера мотель,
Уютный, словно женские объятья.

Чай, курага да за окном пурга,
А что потом, мы только богу скажем...
Ни друга, ни любимой, ни врага.
Сын вырос, дом построен, сад посажен.



Покаялся, долги вернул. Почти...
Нарежу сыр, стакан вином наполню.
Клять не давал, но всё равно прости
За то, что рук и губ твоих не помню.

Моя тридцатилетняя война
Закончилась во мне позорным миром...
Душа беззвучна, терпок вкус вина,
Изыскан сыр и пахнет свежим мылом.

ФАТА МОРГАНА

Мираж, фата моргана, круговерть
На скорости двадцать шестого кадра:
Нет ничего – начало только завтра,
Есть только бездна вод, земная твердь,
Ни горя, ни улыбок, ни азарта,
Ни пенья птиц, ни грёз в начале марта,
Ни звёзд, ни неба – некуда смотреть,
И предсказать мне жизнь мою и смерть
Ещё не сможет в скверике Кассандра.

И я никто и звать меня никак,
Ещё платан не вырос возле дома,
И с первенцем, заснувшим на руках,
Не ждёт меня до первых звёзд мадонна.

Нет бомб и пуль, не тонут корабли,
И день в Спитяке безмятежно синий,
И безрассудно молодой и сильный
Ещё не задыхаюсь от любви
Нечеловеческой, невыносимой.
Ещё земную твердь не погребли
Ни доллары, ни евро, ни рубли,
Ни пепел «близнецов» и Фукусимы.

Всё впереди: надежда-правда-ложь,
Мгновение, что сотни жизней длилось –
На белой блузке бабушкина брошь
И девичьего лифчика стыдливость,
И первых губ застенчивая дрожь,
И губ прощальных северная стылость.

За перевал, где ужас и война,
Уйдёт гроза, в полнеба полыхая.
Погода дрянь и видимость плохая,
И над Голодной степью пелена –
Коричневая пыль, стена глухая,
И тусклая, как фикса вертухая,
Зависнет узкоглазая луна
Над сумасшедшими заревом Шанхая.

И задымится в двориках сирень,
И безоглядно мы в добро поверим,
И вечер взвояет тысячью сирен,
И прыгнет на Манхеттен рыжим зверем.

Ещё услышать той шальной весной
Звучащие из Домского органа
Бесстрастность дюн и ярость урагана,
И нежность вперемежку с сединой,
И то, что было-не было со мной,
И то, чему не быть – фата-моргана.

МАЙКА ЛУНЁВСКАЯ

Берёзовка, Тамбовская область

ИРИСЫ

Обещаю тебе, что мы никогда не вырастем.
Небо станет солёным и влажным, как заросли присов
в палисаднике мамы.
И, стоя в своём углу,
будем плакать, жевать губу и сносить хулу.
Научившись терпеть обиды, не стать обидчиком.
Мы последние дети. Нас не оставят в будущем.
Не Виталий Егорыч, а Витя, Виталечка, Витечка,
побежавший за хлебом с талоном, с авоськой, до булочной.
Умирают другие. Не мы. Мы – стремглав. Мы – неистово.
– Кто последний: дурак!
– Нечестно, я самый маленький!
Мы на старте, ещё на старте, по правой выставив...
Оглушительно пахнут простые цветы в палисаднике.

*«... все острова похожи друг на друга,
когда так долго странствуешь...»*

И. Бродский. «Одиссей Телемаку»

Я не вернусь. Большие города –
большое одиночество, когда
так долго странствуешь (словами Одиссея).
Пейзаж по осени везде и равно сер.
И чаще слышится не то СССР,
не то Рассея.

Вращается Вселенная. Когда
так долго странствуешь, похожи города,
неразлично
пространство на крутящейся оси.
И «Я» стирается в названии «Росси»
не без причины.



Когда так странствуешь, то запад и восток
сливаются в Евразию, восторг
не вызывая.
И рельсы, спутываясь, не ведут за край,
Свобода падает в утробу рюкзака,
фальшивым золотом нагорного Сибая.

ПАСТУХ

Воздух исполосован лентой хлыста.
Стадо минует кладбище.
Свежая кровь заката
стекает по спинам. Устал
Старый пастух. Пастью беззубой ищет

В воздухе музыку и, натываясь на
Дерево дудки, жадно его грызёт.
Это последняя в наших краях весна,
Дальше пастух стадо не поведёт.

Дальше зима: будет точить углы,
Будет сбивать гробы из ребристых льдов.
И на земле горбатой, поверх могил,
Ляжет вдовой бесслёзной болиголов.

Всё будет бело. От кости и до креста.
Вот уже слышен смерти стекольный лязг.
Спины коровьи, верно в последний раз,
Лижет язык изодранного хлыста.

Боль – это то, что тебя отличает от прочих.
Не *вообще* боль, а конкретный вектор.
Одним достаётся Отче,
другим – отчим.
Эта разница делает человека.

Тень не имеет источника, значит, тень
Образует свет, обнаруживая предметы.
Человек, оказавшийся в темноте,
Должен об этом

Помнить. Если стена –
Порождение света, это меняет в корне
Представление о возможном, лежащем на
Неоднородной поверхности. Передёрни
Затвор, разворачивай пистолет,
Через отверстие видится, кто внутри мы.

Потому что здесь нет закона, а только свет.
Невероятный свет, неповторимый.



ДЕРЕВНЕ

я вырос на земле седой и бедной
я сеял хлеб, выращивал картофель
и я теперь один над этой бездной
под гнилью кровель
стоят обезображенные избы
прострелянные в грудь капитализмом

засыпан кирпичами палисадник
собака прибежавшая под окна
скулит по-человечьи встав на задних
когда-нибудь и я, и я подохну
истает солнца диск – желток яичный
но вам смешно, вам это безразлично

мой дом, моё село, моя держава
не смерти собственной страшится человек
а смерти близких, перережет месяц ржавый
запястья узкие у истончённых рек
и хлынет кровь водой голубоватой
но мы опять, опять не виноваты

СЕЯТЕЛЬ

Когда не зная слов, а только так:
«Прости, прости» – чувствительная вера
ребёнка. И какая пустота
теперь... Но добавляю суеверно
к произнесённому «здесь Бога нет» –
«наверно».

Разбитые сребрая черепки,
ссыпашь в землю, полагая: зёрна.
Так сеешь троеперстием руки,
но вызревает на пустыне чёрной
какая пустота?
Затем, что мы
не удивимся этому, отдёрув
от жалищих колосьев (сколько игл!)
руки, затем что не растопчем их,
но, отвернувшись, сплюнем, виноватых
ища в себе подобных, и затем
что мы дадим название пустоте
(которое бы объясняло) – фатум...

Затем я здесь пытаюсь, как тогда,
когда, не зная слов, а только это:
«Прости, прости»...
Но падает звезда,
не дожидаясь белого рассвета.



одиночество вкуса стерильной ваты
хлопок напитанный острым спиртом
пододеяльник заплёван матом
ну спи уже
спи ты!

не спится луна зачерствелой коркой
как тебе там под небом непомнящим
одиночеств объятая распластанные по койкам
ну что ещё?

солонувато слово как вспухшее небо
время ширяется иглами циферблата
руки мгновенно рухнувшие вдоль бёдер
роняют беспомощное «и ладно»

а в зеркале уже не лицо – огневые пятна

Тишина говорит на всех языках сразу.
Оттого и не слышно слова в стоящем гаме.
И, раскрывши рот, не начинаешь фразу,
Из пустых листов комкаешь оригами,

А грудь, до этого служащая тебе эхом,
Становится грудой мышц, костей, сухожилий,
Становится смерчем дыханья, сердечным бегом,
Но не звуком песни, которую бы сложили.

Вдруг вспоминаешь! Лучшая рифма к такому-то человеку –
Человек. А не прежде этого грудь ли, плечи...
И затем я прощаю себе и невнятному веку
Молчание – совершенную форму речи.

ЕЛЕНА РОСОВСКАЯ

Одесса

ТАМ

ТАМ падал снег, и снова жгли мосты.
их вечно жгут, по правде, до и после.
я всех собак выстраивал по росту,
и с ними шёл по улицам пустым,
чтоб никогда не становиться взрослым.
и никогда не превратиться в дым.



пришла зима. пришла? садись за стол.
смотри в окно, смотри куда уютно.
на небе столько звёзд и производных
от этих звёзд, что я с ума сошёл,
совсем сошёл, почти бесповоротно.
с тех пор смотрю бесстрашно только в пол.

куда спешить, когда, зачем, к кому?
полощет день бельё, опять полощет.
я стал бы тем, кого ведут на площадь,
кому привычно крепко руку жмут:
умнее, лучше, ближе, в чём-то проще,
я стал бы частью, кем-то нужным тут,

но... падал снег, шло время по пятам.
со звонким лаем строились собаки,
на белом небе появлялась накипь.
я имена дарил своим мостам,
мосты горели, продолжая плакать,
о том, что больше не случиться ТАМ.

НА ВЫХОД

Счастье – это когда тебя понимают...

Если снег подползает к морю,
Море жмурится и хохочет.
У меня есть сто пять историй,
Я бессмертный небесный кормчий.

Я зимой выхожу на берег
Каждый вечер и глажу море.
Только море в меня и верит,
Только море меня и помнит.

Снег – что сахар сегодня сладкий,
Мир – что волк истощал, озлоблен.
И горит на горе лампадка,
И ревёт у лампадки гоблин.

Всё смешалось и всё сместилось,
Равновесие ближе к бесам.
Где искать мне, скажи на милость,
Равновесие равновесий?

В человеческих бетонных норах
Время вышло и замертвело.
Больше не с кем о вечном спорить,
И душа покидает тело.

Ночи зимние откровенны,
Море зимнее одиноко,
Снег похож на морскую пену.
Мир похож на огромный кокон.



ПРОСТИ МЕНЯ, АНДЕРСЕН!

Русалочка любит принца, но принцу она до фени,
 Ему бы кропать стипендия и бредить о той одной,
 С которой однажды где-то он встретится и уедет
 Туда-растудыть. И станет любимой его женой
 Какая-нибудь Алиса, Альбина, Антуанетта.
 Не важно, совсем не важно, но главное, что ОНА
 С глазами темней агата, дословно – мечта поэта,
 пожизненно будет рядом, пожизненная весна,
 пожизненно чики-пики. Вечернее море глухо
 к слезам безымянной крохи, сменившей свой рыбий хвост
 на ножки и рай дворцовый. Земля тебе, детка, пухом,
 перинкой – гнилые доски, подушкой, пардон, навоз.

И сказочник тоже плачет и смотрит в глаза страницам,
 и жмутся друг к другу буквы, и с неба летят слова:
 ты слишком устал, мой мальчик, устал ненавидеть принцев,
 устал создавать чудовищ и с ними же воевать.

ЁЖ. ТУМАН. И, МОЖЕТ БЫТЬ... ТЫ

На высокой горе, где растёт план,
 Где в пещерах отшельники лён трут,
 Как-то раз появился туман – пьян,
 Повисел, протрезвел, заглянул внутрь.
 Темнота, мерзлота, килограмм драм.
 От окна до окна – суета, тля.
 Не прижиться, не вжаться, куда там,
 А назад – через ад, а вперёд – зря...
 Ни к живым, ни к чужим, сам себе – бес.
 Сам себе поводырь и псалтырь сам.
 Он пополз через мост напрямиком в лес,
 Чтобы жить-поживать – выживать там.
 А в лесу трин-трава, дерева, дождь,
 И зверьё, и клыки, и грибов град.
 А в лесу есть пенёк, за пенёком ёж,
 Ёж лежит и поёт, сам себе бард.
 Не приبلуда, не агун, не шакал, так,
 Местный дурень лесной, на игле гриб.
 И в глазах – паруса и в башке – флаг,
 А поближе посмотреть, так не флаг – нимб.
 – Здравствуй ёж, говорят, ты умом плох.
 – И тебе не хворать, проходи, глюк,
 Что там в мире? – Бастуют и бьют блох.
 – Значит, всё на местах, если блох бьют.
 Говорили-рядили: чего ждать,
 Что есть миф, что есть мир, что есть мы в нём.
 А под утро лесная братва – хватать,
 Ни ежа, ни тумана, лишь пень пнём.
 Вот сейчас ты один от тоски пьёшь,
 И бежать – «не моги», и стоять – жуть.
 Присмотрись, где-то рядом сидит ёж,
 И туман говорит: нам пора, в путь!



лунные ночи не те, что бывали раньше,
 все по квартирам, по норам, по будням сытым.
 больше нагая стерва не пьёт, не пляшет,
 слишком стара для безумия Маргарита.
 гладит руками стены и тихо воет.
 время ножи сточило и нечем резать
 волосы, тряпки и розочки на обоях.
 что в настоящем? бессонница и болезни.
 тридцать случайных зим ни в кого не верить.
 спрашивать каждый день, неужели помнишь
 бледные лица придуманных подмастерьев...
 Бог, как всегда, простил, и конечно в помощь.

спальня, балкон, занавески, часы, посуда,
 в доме, как в танке, темно и до боли глухо.
 ночь, сосчитать до ста и бежать отсюда,
 лунные зайцы целуют в глаза старуху.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

спи, мой мальчик, спи, твой дом не такой, как раньше,
 окна смотрят вниз и дверь глубоко в земле,
 и над ним поёт сегодня седая банши.
 плыть тебе туда, на север, где правит Лер.
 баю-баю-ба, отчаливай, милый крошка.
 ждут тебя сады, фонтаны и берега,
 где стоит гора, и вроде бы понарошку
 поседевший раб целует сапог врага.
 спи, мой дурачок, какие теперь забавы.
 постарел фонарь, погас и ушёл в поход.
 там, где до утра плясали и пели фавны,
 снег пошёл сейчас, а позже и он умрёт...
 люли-люли-лю, кораблик плывёт сквозь страны,
 солнечный пастух небесных овец пасёт.
 сон глубок-глубок, качает ребёнка Дану.
 юный капитан помапет рукой и всё...

колыбельный плен, туманный тягучий воздух,
 жёлтый ком луны – приносит худая осень.
 я приду к тебе, мы будем смотреть на звёзды,
 спи, мой мальчик, спи, качается древо Росса.

БЕЗЫМЯННОЕ

...мельница божия мелет медленно, но верно...

этой ночью чёрту темно и скучно.
 он роняет солнце и рвёт планету.
 он ломает кости своим игрушкам,
 посылая каждой венец и фетву.



а игрушки в страхе грызут друг друга.
и плюются снегом, повидлом, матом.
если ты не умер, то ты напуган,
если ты напуган – ты каждый пятый.

каждый пятый – падаль, хозяйский лапоть.
каждый убеждённый, что чёрт не выдаст,
с правом на свободу на кухне плакать,
примеряя рабство своё на вырост.

примеряя жабры и хвост крысиный,
выбирая между виной и вонью,
каждый пятый пахнет дерьмом и псиной,
и своим корытом почти доволен.

утро будет жутким и лучезарным.
облака надуют смешные морды.
никого живого – ни войн, ни армий.
Господи, прости нас, больных и гордых...

СНЯТСЯ ДЕВУШКЕ

(сон тревожный. время перемен)

Снятся девушке бунт и бесы,
Редкий лес, Ахиллесов строй.
Ахиллеса уходят лесом,
Сжав в зубах, кто кинжал, кто колыб.

Бесполезно просить остаться,
Бесполезно вообще просить.
Снятся девушке мор, китайцы,
И на небе китайском сыпь.

На опушке безносый кесарь
(Между нами обычный гой).
Кесарь землю бесстрашно месит,
Аки тесто, такой-сякой.

Серебристый небесный панцирь,
Море в красном, великий Ра.
Снятся боги: Малыш и Карлсон
И озоновая дыра.

А ещё виноград и кресло,
Дом, окно и морской прибой,
Мама в воздухе чертит крестик,
Улыбается: я с тобой.

АННА СТРЕМИНСКАЯ

Одесса

АМСТЕРДАМ

Вот идут гулять – господин Ван Рейн
да с ним приятель – Ван Гог.
А каналы в тумане уже много дней,
и висит над городом смог.

Так привычно лодки скользят взад-вперед
челноками по ткани воды.
И проносится велосипедный народ
в двух шагах от воды и беды.

– Посмотрите, Ван Рейн, как собор засверкал –
луч случайный его золотит.
Этих туч неподвижный и серый оскал
углубляет лишь колорит!

– Посмотрите, Ван Гог, со старинных картин
наш музей, как сошедший, стоит.
Этой осени охра, сiena, кармин
придают ему царственный вид!

Гей-парад перед ними проходит лихой,
в платье томный мужчина идёт...
А в известном квартале туристы – рекой!
Переходят приятели вброд.

И, косяк закурив, Ван Гог складно врёт,
говорит: «Ван Рейн, без обид –
то ли Саския там, то ли Стин де Гроот
неподвижно в витрине стоит!»

Сладковатым дымком затянулись мозги,
и не слышно, не видно ни зги.
И не знают уже – кто Ван Рейн, кто Ван Гог!
Да клубится над городом смог...

Что мне вспомнить о детстве? Быть может, вот это – жара,
дача, лес... Я у деда под Киевом – флоксов касанья,
откровения флоксов, их полусмешные признанья
и весёлая дачная, как мошкара, детвора.

Или это: мне пять, и сосед скалит зубы, шутя.
Он стреляет в котов с идиотски-весёлой улыбкой.
Извивается кот на земле и кричит, как дитя.
Я бегу по двору, и земля ощущается липкой.



Мне пятнадцать, и новенький в классе, и я влюблена:
он кудрявый поэт, и зовут Эдуард, и красавец.
На меня – ноль вниманья, и этой любви белена
отравляет мне душу... Любовь исчезает, как глянец.

Было многое после, и годы куда-то летят...
Отчего же всё чаще я вижу соседа улыбку
и картинку: тот кот, издыхая, кричит, как дитя?!
Я бегу по двору, и земля ощущается липкой.

Я в новый день вхожу – он двери распахнул –
всего лишь новый день, один из тысяч.
Вот светлое окно, вот стол и стул,
вот завтрак на столе. Но как мне искру высечь
из белого огнива дня, скажи...
Дом осветить, границы все раздвинуть,
чтоб день был для меня – как маленькая жизнь –
наполнен до краев, дождями вымыт.
Чтоб был не скомкан старою газетой,
а весь наполнен смыслом, словом, цветом!
Чтоб обретал он плоть, и вкус, и запах,
пред тем, как солнце заскользит на Запад.
Чтоб было всё в том дне: любовь, и боль, и стих,
и луковиц сиянье золотых,
и красных яблок вспышки, и свеченье
костров осенних и листвы осенней!

В. Бакулину

А я срослась с телами поездов,
могу сказать, что я уже улитка
или кентавр. Мой стучащий дом
несёт меня, мое пространство зыбко.

Мне думать хорошо, куда везёт
меня мой дом, протяжный, словно нота.
Одну и ту же песнь всегда поёт
о том, что весела его работа.

И вот Урал – на землю стану я,
меня слегка качнёт, как после моря.
Меня ты встретишь, здесь твоя земля.
Я – чужестранка, перекапти-поле.

А после мы пойдём к реке Урал,
я назвала б её рекой Молчанья.
Здесь молча ты меня поцеловал,
гуляли молча мы, забыв названья



событий и вещей, и чувств, и мест.
И не было воды той зеленее
и глубже. И деревья все окрест
в ней проросли, ветвями корневея.

Сиреневая опускалась мгла,
и пахло бунтом, пугачевской сталью!
Как сабля в глубину земли вросла,
твоя земля мне в душу так вращала.

Ураган появляется ниоткуда, внезапно, в ночь.
Ураган – это выдох Яхве, что полной грудью вдохнул.
Хорошо тем, кто спит в домах – им бояться невмочь –
все в театрах своих сновидений, там радостный гул,
иль азартные крики, иль стоны любви, иль смех...
Каждый сам себе зритель, герой, драматург и суфлёр.
Ураган набирает силу – почти уже смерч!
Горе тем, кто в пути: честный труженик он или вор.
И деревья на землю падают, как дрова,
провода разрывая, калеча, сминая, круша!
И беспомощно корни торчат, как отчаянные слова,
обращённые к Богу, когда погибает душа.
Все сравнялось сегодня: платан, человек, таракан,
подчиняясь могучей воле, пришедшей извне.
Только корни торчат, как символ бессмысленности корней,
и рассвет стекает лекарством на множество ран.

*Марфа! Марфа! Ты заботишься и суетишься о многом,
а одно только нужно. Мария же избрала благовую часть,
которая не отнимется от нее.*

Ев. от Луки, гл. 10, 41-42

Меня называли Марией,
а я оказалась Марфой!
Подрезаны мои крылья
и спрятана моя арфа.

Ведь после базара не нужно
ни музыки, ни полета,
ни слова Учителя. Ужин
важнее всего да работа.

Обильное угощенье
радушно встречает гостя.
Надеемся на прощенье,
да жиром заплыли кости.

Но всё же сквозь чад кухонный
доносятся звуки арфы.
Сквозь быта чугунные тонны...
О, Марфа, тудяга Марфа!



И всё ж доносится Слово
сквозь грохот горшков и тарелок,
сквозь крики ослов – так ново,
и так непривычно смело!

И всё сжигает пожар твой,
о, Слово, ведь ты – стихия!
Меня называли Марфой,
а я оказалась Марисей!

«ЛИТМУЗЕЙ»

ЕВГЕНИЙ ДЕМЕНОК

ОДЕССКИЕ УЧАСТНИКИ ПРАЖСКОГО «СКИТА ПОЭТОВ»

Обнаружить неизвестное ранее стихотворение об Одессе – большая удача. А уж если это стихотворение действительно талантливо, к тому же написано почти столетие назад, то ради того, чтобы его найти, можно потрудиться. И даже уехать в другую страну.

Стихотворение Николая Болесциса (Дзевановского) «Одесса» я нашёл в Праге. И это не случайно.

У русской литературной эмиграции XX века было несколько столиц – это, разумеется, Париж; в первой половине 20-х – Берлин, и, конечно же, Прага. Один из самых влиятельных литературных критиков русского зарубежья Георгий Адамович писал в 1928 году: «Недавно кто-то сказал, что русская литература за рубежом существует лишь в Париже и Праге. В других городах нет литературы, есть только отдельные писатели. Слова справедливые».

В Праге действовал целый ряд литературных союзов и объединений. Наиболее известные из них – это «Союз русских писателей и журналистов в ЧСР», «Вторники (Литературные чаи) «Воли России», «Скит поэтов», «Семинар по изучению творчества Ф.М. Достоевского», «Далиборка», литературные кружки и семинары при Русском народном (свободном) университете в Праге. Существовали русские литературно-художественные кружки и в пригородах Праги – это широко известные «Збраславские пятницы», а также «Вшенорско-Мокропсинский русский клуб», «Русский кружок в Черношице», «Русский кружок в Ржевнице». В деятельности многих из них активное участие принимали одесситы. Так, одним из основателей и многолетним товарищем Председателя созданного в 1922 году «Союза русских писателей и журналистов в Чехословацкой республике» был одессит Лев Флорианович Магеровский. Другой одессит, астроном Всеволод Стратонов, был участником «Збраславских пятниц», а затем, переехав из Збраслава в Черношице, вместе с историками В.А. Мякотиным и А.Ф. Изюмовым, организовал – на манер «Збраславских пятниц», – «Русский кружок», собрания которого посещали более ста человек. Среди лекторов кружка были видные деятели русской колонии в Чехословакии: литературоведы Д.И. Чижевский, В.А. Амфитеатров-Кадашев, В.Ф. Булгаков, собственно основатели историки А.Ф. Изюмов и В.А. Мякотин, философы С.И. Гессен и И.И. Лапшин. Такой же «Русский кружок» в Ржевнице (предместье Праги) также был создан в мае 1926 года по инициативе В.В. Стратонова.

Характерной отличительной чертой пражских литературных объединений была продолжительность их «жизни» – так, литературный кружок «Далиборка», возникший летом 1924 года в одноимённой пражской кофейне, названной в честь чешского средневекового рыцаря Далибора, просуществовал без малого десять лет; «Союз русских писателей и журналистов в Чехословацкой республике» вёл свою деятельность почти двадцать лет. Но рекордсменом, безусловно, является литературное объединение «Скит поэтов» – созданное в декабре 1921-го как «Литературно-поэтическая ассоциация», весной 1922-го переименованное в «Скит поэтов», а в 1930-м просто в «Скит» (всё просто – среди его участников появились прозаики), оно существовало до весны 1945 года, когда трагически погиб его бессменный руководитель Альфред Людвигович Бем.

Именно «Скит» во многом определил литературную жизнь русской эмигрантской Праги. За годы су-



шествования через него прошло около пятидесяти человек (гости и друзья не в счёт), но официальными членами стали только тридцать шесть. В архиве А.Л. Бема сохранился пронумерованный список под названием «Чётки». Участников «Скита» можно разделить на три поколения – по времени их работы в объединении. Первое поколение было немногочисленным. К нему принадлежали: Сергей Рафальский, Николай Дзевановский (Болесцис), Александр Туринцев, Алексей Фотинский. Яркими представителями второго поколения были: Вячеслав Лебедев, Екатерина Рейтлингер, Василий Федоров, Эмилия Чегринцева, Алексей Эйсер, Христина Кроткова, Раиса Спинадель, Дмитрий Кобяков, Мария Мыслинская и другие. Третье поколение пришло в «Скит» в конце 20-х и начале 30-х годов. Это были: Алла Головина, Татьяна Ратгауз, Кирилл Набоков (брат Владимира Набокова), Вадим Морковин, Евгений Гессен, Нина Мякотина, Ирина Бем. И хотя «Скитовцы» говорили между собой о смене поколений, на самом деле разница в возрасте между ними была очень невелика.

Датой рождения «Скита поэтов» можно считать 26 февраля 1922 года, когда в пражском общежитии «Худобинец» (бывшей богадельне св. Варфоломея), что на Вышеградской улице Праги, Альфред Людвигович Бем прочитал собравшимся молодым, начинающим литераторам доклад на тему «Творчество как вид активности». А предшествовала этому его встреча с будущим юристом Сергеем Рафальским и будущим медиком Николаем Болесцисом (Дзевановским), которые ещё совсем недавно были его учениками в варшавском литературном объединении «Таверна поэтов». Именно они – родившийся в Вольнской губернии сын священника и родившийся в Одессе сын генерал-майора, – оказавшись в Праге, немедленно дали в «худобинском» общежитии, где они жили, объявление о создании «Литературно-поэтической ассоциации», а узнав о переезде в Прагу А.Л. Бема (его пригласили преподавать русский язык и литературу в Карлов университет), сразу же предложили ему возглавить новое молодёжное литературное объединение. Именно они указаны в знаменитых «Чётках» – списке членов Скита, – его основателями. Их стихотворения, опубликованные 2 июля 1922 года в варшавской газете «За Свободу!», с которой тесно сотрудничал Альфред Бем, стали первой публикацией произведений скитовцев. Тогда были опубликованы стихотворения «Молитва о России» Сергея Рафальского и «В розовом кафе» Николая Болесциса; они сопровождалась заметкой Бема, где подчёркивалась тесная связь между варшавской «Таверной поэтов» и новообразованным пражским «Скитом поэтов».

Альфред Людвигович Бем был на протяжении всех двадцати лет существования «Скита» его безусловным и непререкаемым лидером. Он был авторитетен, но отнюдь не авторитарен (Вадим Морковин писал, что он был тихим, мягким человеком, типичным русским интеллигентом начала века, со всеми достоинствами и недостатками), и весь его жизненный путь посвящён был литературе и литературоведению, но привела его в Прагу... политика. Альфред Людвигович родился в 1886 году в Киеве, изучал филологию в Петербургском университете, где был даже арестован за участие в студенческих волнениях. Его активность поражает – он становится «мотором» Общества Толстовского музея и Русского библиографического общества. Весь послереволюционный 1918-й год он мотается между Киевом, где живут его жена и дочь, и Петроградом, где работает в Рукописном отделе Библиотеки Российской Академии наук под руководством А.А. Шахматова и В.И. Срезневского. В июле 1919-го в связи со вторыми родами жены Бем вновь приезжает в Киев, где продолжается череда постоянных смен властей. Он уезжает по делам на юг и после «воцарения» в Киеве красных (забавный оксюморон) просто не имеет возможности вернуться. В конце концов Бем из Одессы уезжает в эмиграцию – сначала в Белград, затем в Варшаву и Прагу (в январе 1922-го), куда к нему уже приезжает жена с детьми. Приехав в Прагу по приглашению из Карлова университета, Альфред Людвигович продолжает свою обычную кипучую деятельность – становится секретарём Русского педагогического бюро, создаёт при Русском народном университете семинарий Достоевского, имевший, без преувеличения, европейскую известность, и организует Общество Достоевского, выступает инициатором создания политического клуба «Крестьянская Россия», организует съезды деятелей русской зарубежной школы и иницирует празднование Дней русской культуры в Праге... Разумеется, становится членом Союза русских писателей и журналистов в Чехословакии, Пражского лингвистического кружка, Русского исторического и Русского философского обществ. И – возглавляет «Скит поэтов».

Интересна организация деятельности «Скита» – особенно для нас, членов Всемирного клуба одесситов, при котором в феврале 2009 года возникла литературная студия «Зелёная лампа».

«С самого начала, – вспоминал Бем, – «Скит» не был объединён единством литературных симпатий. Даже в зачатке того, что именуется поэтической школой, здесь не было. Объединяло иное – желание выявить в себе поэтическую индивидуальность, не втискивая её заранее в ту или иную школу». «Что

объединяет «Скит»?») – спрашивал Бем на юбилейном вечере «Скита» 22 апреля 1932 года. И отвечал: «Общение на почве творческих исканий. Убеждение в необходимости работы над словом. Стремление быть «с веком наравне». Чуткое прислушивание к явлениям литературы. Отношение к советской литературе. Свобода критики».

Сам Альфред Бем как литературный критик формировался именно в «Ските». Направление, в котором он работал, сам он и Г. Адамович называли «активизмом», – в соответствии с базовой, основополагающей для начала деятельности «Скита» лекции «Творчество как вид активности», той самой, которая была прочитана Бемом на первом заседании объединения. Именно творчество, дающее ответ на внутренние запросы человеческого духа, считал он высшей формой активности.

Лекции Альфреда Бема задавали тон деятельности объединения. Только в первый год существования объединения он прочёл в нём лекции «Творчество как вид активности», «Из речи Блока о Пушкине», «Слово и его значение», «Психологическая основа слова (почему мы говорим)», «Об изменении значения слова», «Предложение в поэтическом синтаксисе», «Звуковая оболочка слова как фактор поэтического языка», «Композиционные повторения», «Строфа». К сожалению, не все протоколы сохранились. В рукописи «Поэтика» (Чтения в «Ските поэтов». Прага, 1922) значатся ещё такие темы: «Вопросы теории литературы в России», «Учение Потебни о слове», «Подновление лексики», «Рифма», «Внутренняя рифма», «Канонь», «Канонизированная форма стиха и строфы», «Лирика». В последующие годы Альфред Людвигович прочитал на собраниях «Скита» множество интереснейших лекций и статей, среди которых – «О советской литературе» (1933 год), «Русский футуризм» (1940 год), «Задачи современной эмигрантской литературы» (1944 год).

После лекций часто возникали оживлённые дискуссии, причём участники прений далеко не всегда соглашались с руководителем.

Благодаря замечательной инициативе ведения протоколов мы можем узнать, что происходило на первых заседаниях «Скита поэтов». Подробные записи, которые велись на каждом собрании, постепенно превратились в толстые журналы, и журналы такие стали самостоятельными литературными произведениями – записывающий выступал в роли рассказчика, который не только фиксировал высказывания выступающих, критику их произведений или, наоборот, одобрительные отзывы, но и обязательно резюмировал в конце всё произошедшее на собрании и делился своими собственными впечатлениями.

Протоколы велись первые два года, а с 20 октября 1924 года сам Альфред Людвигович стал вести краткие записи о присутствующих и повестке дня. На собраниях Бем всегда брал заключительное слово, подводя итог всем высказываниям и ставя свой «окончательный приговор» над прочитанным, не считаясь ни с личностью, ни с тенденциями автора. Скитовец Вячеслав Лебедев вспоминал, что «с его даумчивой оценкой всегда все соглашались. В этом отношении «Скит» был, вероятно, единственным жизненным примером идеальной идейной диктатуры, свободно осуществляемой без всяких принудительных средств». А один из основателей «Скита» Сергей Рафальский вспоминал: «Собрания наши проходили в чётке собственных произведений и их разборе. Причём с самого начала был взят тон критики беспощадный. Может быть, именно поэтому кружок разрастался слабо: случайные авторы больше одного собрания не выдерживали».

У скитовцев были свои, зачастую забавные, ритуалы. Например, для новичков существовал обряд «посвящения» с тайным голосованием и оглашением результатов, после чего скитовцы «потирали руки». Ведение таких протоколов было для молодых авторов весёлой литературной игрой. Этой игрой была порождена шуточная терминология: сам Альфред Людвигович именовался «отцом-настоятелем», участники именовали себя «монахами» и «монашкками», «послушниками»; друзья и гости именовались «братьями и клиром».

Ещё одно замечательное начинание – ведение архива. Архив «Скита» был организован с самого начала, и в него собирались прочитанные и одобренные стихи и проза.

Собрания «Скита» проходили еженедельно. В 20-е годы – по пятницам в помещении Русского педагогического бюро, на Галковой улице на Виноградах, а в середине 30-х годов – в мастерской скульптора Александра Головина, мужа поэтессы Аллы Головиной и в других местах Праги. Чешская студентка, приглашённая на собрание «Скита» в мастерскую Головина, вспоминала: «Приходящие сидели на ящиках. Гости должны были принести с собой сахар к чаю и печенье. Никогда не забуду чудесную атмосферу, царившую там...».

Для нас это вдвойне интересно, потому что Александр Сергеевич Головин родился в 1904 году не где-нибудь, а в Одессе. После революции он оказался в Королевстве сербов, хорватов и словенцев, от-



куда в 1923 году перебрался в Чехословакию. Аттестат зрелости он получил уже тут, в Русской реальной гимназии в Моравской Тржебове. Затем учился в Праге, в Высшей архитектурной школе (1924-1927) и на скульптурном отделении Академии художеств (1927-28 годы). В 1925-26 годах он стажировался в Париже. Александр Головин работал в манере символизма, обращаясь иногда к стилизации в духе немецкой готики или китайской пластики. В 1935 году он поселился в Париже и несколько лет подряд выставлял свои скульптуры в Салоне Независимых, а затем уехал в Америку. Головин приобщился к деятельности «Скита» в 1929 году, когда женился на баронессе Алле Сергеевне Штейгер, которая стала членом объединения в ноябре того же года.

На заседаниях «Скита» бывало множество именитых авторов. В числе гостей были Марина Цветаева и Сергей Эфрон, Игорь Северянин и Владислав Ходасевич, Владимир Набоков, чей младший брат Кирилл был участником «Скита»; приходили и чешские литераторы – поэт Йозеф Гора, переводчик Петр Кржичка и многие другие. И всё же костяк его составляла студенческая молодёжь, которая в Праге того времени была настоящим «двигателем прогресса». И пусть литературное наследие участников «Скита» неравноценно, а некоторые из них достигли вершин своего творчества уже за пределами Праги, судьба их неразрывно связана со «Скитом».

Безусловно, для любого автора важны публикации. Скитовцы и сам Альфред Бем уделяли этому большое внимание. Стихи и проза членов «Скита» регулярно появлялись на страницах русской зарубежной периодики. Это пражские журналы «Своими путями», «Воля России» и «Студенческие годы», парижские «Современные записки», «Возрождение» и другие. У скитовцев выходили коллективные и индивидуальные сборники. Первый коллективный сборник «Скит I» вышел в 1933 году, последний – в 1937-м (всего их было четыре); а до этого, в 1929 году, вышел сборник одного из лучших поэтов «Скита» Вячеслава Лебедева «Звёздный крен». В 1935 году в Берлине увидел свет сборник стихотворений Аллы Головиной «Лебединая карусель»; в 1936 году в серии изданий «Скита» вышел сборник Эмили Чегринцевой «Посещения», а в 1938-м – её сборник «Строфы».

Писали скитовцы и о своём объединении. Во втором номере журнала «Студенческие годы» за 1923 год опубликована статья Николая Болесциса «Скит поэтов»; статья уже Людвиг Бема под таким же названием опубликована в журнале «Своими путями» в № 12-13 за 1926 год.

Произведения скитовцев очень быстро стали заметны. И, конечно же, стали подвергаться критике – причём критике со стороны маститых литераторов, а это кое-что да значило. Интересна, например, критика Иваном Алексеевичем Буниним, опубликованной в журнале «Своими путями» подборки стихотворений поэтов русского зарубежья – парижан и пражан. Журнал этот издавался с ноября 1924 года Русским демократическим Студенческим союзом в Чехословакии, и в 1925 году редакция разослала крупным русским писателям-эмигрантам обращения с просьбой рассказать на страницах специального номера, посвящённого русскому зарубежью «о современной литературе и о себе». На призыв откликнулись М.А. Алданов, А.М. Ремизов, Ф. Степун, Марина Цветаева, Е.Н. Чириков и И.С. Шмелёв. Иван Бунин, Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский ответили отказом – в связи с тем, что журнал печатается по новой орфографии. А в следующем, 1926-м году Бунин в одной из своих публицистических статей в газете «Возрождение» подвергает критическому разбору произведения целого ряда авторов, опубликованные в журнале. «Случайно просмотрел последний номер пражского журнала “Своими путями” – пишет он. «Плохие пути, горестный уровень! Правда, имена, за исключением Ремизова, все не громкие: Болесцис, Кротков, Рафальский, Спинадель, Туринцев, Гингер, Кнут, Луцкий, Терапиано, Газданов, Долинский, Еленев, Тидеман, Эфрон, и т.д. Правда, всё это люди, идущие путями “новой” русской культуры, – недаром употребляют они большевистскую орфографию. Но для кого же необязателен хотя бы минимум вкуса, здравого смысла, знания русского языка? Вот стихи Болесциса, которыми открывается номер:

Капитан нам прикажет строго:
Обломайте стрелу на нора,
 Чтоб назад не найти дорогу...
 Мы, стаканы осушим до дна,
 Бросим золото в грязь *таверн*...

Вот Рафальский:

Кончить жизнь не стоило б труда,
Но слаще длить в пленительном обмане,
Что на ладони каждая звезда...

Вот Туринцев:

Дебаркадер. Экспресс. Вагон – и Вы...
Вы за щитом, мы не одни,
Сейчас не должен дрогнуть рот...
<...>

Вот Давид Кнут, у которого некто Он, идущий “за пухлым ангелом неторопливо”, обещает Ною награду –

За то, что ты спасал
Стада и стаи *мечт* и слов,
Что табуны мои от гибели и лени
Твое спасло – Твое – весло...»

А в конце статьи Бунин и вовсе называет пражских поэтов «комсомольцами» – видимо, за то, что пишут они уже по правилам новой орфографии и не чужаются современной им советской литературы. Но для нас интерес представляет то, что критикуемые Иваном Алексеевичем Христина Кроткова, Сергей Рафальский, Александр Туринцев, Семён Долинский, Иван Тидеман, Раиса Спинадель и Николай Болесцис являлись участниками «Скита поэтов», а последние двое – ещё и одесситами; подробно о них мы расскажем позже. В ответ на эту критическую статью с критикой уже самого Бунина выступил Марк Львович Слоним. Они с Альфредом Людвиговичем Бемом регулярно выступали с критикой не только Бунина, но и всей французской эмигрантской школы.

В русской эмигрантской литературе, как мы уже указывали, в первую очередь выделялись парижская и пражская школы. Помимо собственно литературы, именно Париж и Прага были столицами литературной критики. Имена Георгия Адамовича, Владислава Ходасевича, Альфреда Бема и Марка Слонима были на слуху у всей культурной публики; именно между ними и развернулась на долгие годы основная литературная полемика. В чём же была её суть?

Главным камнем преткновения стало различное отношение к основным течениям русской поэзии первой половины XX века и отношение к русскому литературному наследию. Началось всё в 1928 году, когда туда перебрался Марк Слоним, основав «Кочевье», а вокруг Ходасевича сформировался «Перекрёсток». Самой известной из тенденций в эмигрантской поэзии стала «Парижская нота», приверженцы которой ориентировались на литературные вкусы и требования Георгия Адамовича. Тогда в молодой парижской литературе и началась «борьба направлений».

Адамовича с Ходасевичем сблизжали «неоклассические» тенденции и неприятие авангарда. Однако с точки зрения Адамовича Ходасевич зашёл слишком далеко в своём консерватизме; он считал, что современная поэзия не может ограничиваться только «пушкинскими горизонтами». Ходасевич главной задачей эмиграции считал сохранение русского языка и литературы и призывал учиться у классиков. Адамович же призывал говорить пусть негромким, но своим голосом, вкладывая в поэзию свою личную позицию и считая подражание даже лучшим образцам бессмысленным.

В 1931-м к этой дискуссии присоединился Альфред Людвигович Бем – он «схлестнулся» с поэтическим мэтром русского эмигрантского Парижа Георгием Адамовичем. В своих критических заметках, опубликованных с 1931 года и до начала Второй мировой войны в газетах «Руль» (Берлин), «Молва» и «Меч» (Варшава) под общей рубрикой «Письма о литературе», чуть ли не основное внимание Бем уделял явной или скрытой полемике с Адамовичем и настроениями «парижской ноты». Первый, авангардный период русской эмигрантской поэзии, который он называл «героническим», он явно предпочитал второму, «парижскому», который считал «упадочным» и тупиковым. И ему было что противопоставить парижской «ноте».

Если в Париже преобладали традиции Санкт-Петербурга с его классицизмом и акмеизмом и полно-



стью отторгались все последующие течения русской литературы – и, разумеется, вся советская литература, то пражане тяготели к поэзии московской – Цветаевой, Пастернаку, Есенину. Отличие литературной ориентации «Скита» от литературных традиций эмигрантского Парижа Альфред Людвигович Бем сформулировал в своей статье о творчестве Эмили Чегринцевой: «Если Париж продолжал линию, оборванную революцией, непосредственно примыкая к школе символистов, почти не отразив в себе русского футуризма и его своеобразного преломления в поэзии Б. Пастернака и М. Цветаевой, то Прага прошла и через имажинизм, смягчённый лирическим упором С. Есенина, и через В. Маяковского, и через Б. Пастернака. Это не подражание, а естественный путь развития русской поэзии. Думается, именно здесь лежит одно из основных различий между «пражской» и «парижской» школами».

15 января 1935 года Бем прочёл в «Ските» свою статью «О двух направлениях в современной поэзии». Существование двух направлений – «парижского» и «пражского», – он считал непреложным фактом. Соглашался с этим и Георгий Адамович. Он писал шуточно в 1935 году в парижской газете «Последние новости»: «У нас тут (то есть в Париже) – все больше звёзды, покойники да ангелы. Там – аэропланы. Парижане – пессимисты и меланхолики, пражане – оптимисты и здоровяки».

«Пражская» школа гораздо доброжелательнее относилась не только к новаторским течениям в русской литературе, но и к советским авторам; но «дневниковая» парижская поэзия не могла не оказывать влияния на поэтов «Скита». Противопоставление парижской «ноте» стало очевидным. Даже Ирина Бем подчёркивала направление «Скита» как противопоставление «предельной простоте» парижской школы.

В полемике с Адамовичем Альфред Людвигович Бем периодически заключал временные союзы и с Ходасевичем, и со Слонимом. Но временный союз Бема с Ходасевичем определялся скорее наличием общего оппонента, нежели наличием единства взглядов. Ходасевич не мог принять увлечения пражан Пастернаком, которого он ценил весьма невысоко, а футуристов вообще не переносил и считал их влияние пагубным. Взгляды Бема были гораздо ближе Марку Слониму, который всячески приветствовал новаторство в литературе и называл парижскую «ноту» «франко-петербургской меланхолией».

Эта многолетняя полемика не могла не отразиться на оценке творчества скитовцев главным представителем «противоборствующей» стороны. И если на статьи и высказывания Бема Георгий Адамович предпочитал не отвечать – как, собственно, и на статьи Слонима, – то о творчестве поэтов «Скита» высказывался неоднократно. И, в основном, негативно.

В рецензии на первый коллективный сборник «Скита» он писал: «Пражский сборник “Скит” до крайности неровен. Он в меньшей степени представляет какое-то литературное объединение, чем берлинский “Невод”. У сборника нет “лица”. Каждый из участников его идёт своей дорогой, не мешая соседям, но и довольно слабо поддерживая их». Надо сказать, что и сами скитовцы считали сборник неудачным.

Примерно так же оценил он вышедший через год второй сборник: «В Париже поэты настроены, пожалуй, консервативнее, – если только считать консерватизмом неприязнь к футуристической манере стихосложения. В Париже меньше внешних эффектов, больше выдержки. Прага романтичнее, порывистее... Это было бы хорошо, если бы пражские “скитники” отличались большей разборчивостью в выборе поэтических средств. На них сильно влияет Пастернак. Но большей частью они берут от Пастернака лишь оболочку его стиля и этим ограничиваются».

Нужно сказать, что, несмотря на критику Бемом «парижской ноты», парижские настроения в творчестве участников «Скита» чувствовались всё сильнее. Особенно заметно проявилось это в четвёртом сборнике, о котором Лев Гомолицкий писал: «Произошло худшее: “Скит” не капитулировал в целом, он раскололся на капитулировавших и оставшихся на прежнем пути. Тут прошла глубокая трещина, и часть прежней плавучей льдины, на которой спаслись скитники среди сурового океана современности, отделившись, быстро относит на запад – к Парижу. Парижские веяния, охватившие Прагу, очевидны».

Признавал это и Альфред Людвигович Бем. В своём письме от 20 июля 1937 года к Эмили Чегринцевой он писал: «Получили ли вы последний № “Меча” со статьёй Гомолицкого о “Ските”? Он “Скит” хоронит и, как я и ожидал, считает, что IV сборник свидетельствует о полной капитуляции перед Парижем. По существу он прав, и так сборник будет всюду восприниматься. Я уже этим переболел и смотрю на всё со стороны».

Подводя итог многолетней дискуссии, поэт и критик Юрий Иваск писал: «Адамович, предписавший пиано-пианиссимо парижской поэзии и способствовавший созданию “школы”, творчески победил своих противников – Ходасевича и Бема».

Георгий Адамович не оценил попытки пражан стать парижанами. Оценивая четвёртый сборник «Скита», он писал: «Сборник пражского “Скита” – серее и скучнее, чем обычно. Уровень, разумеется,

соблюден – за исключением стихотворения В. Мансветова, совсем детского. Но у составителей этой тоненькой книжки будто только об уровне и была забота...».

Справедливости ради нужно сказать, что идеолог «парижской ноты» положительно отзывался от творчестве некоторых скитовцев. В «Литературных записках» можно найти его отзыв на стихотворение Вячеслава Лебедева, опубликованное в 1929 году в «Литературных записках» – Адамович пишет о том, что стихотворение «живое». В нём заметно «дыхание». Отмечал он и Эмилию Чегринцеву – признавал, что её «дарование творчески подлинное».

Гораздо более благосклонно отзывались о творчестве скитовцев другие признанные критики того времени – помимо Слонима и Ходасевича, это были и Георгий Иванов, и Пётр Пильский. Они ценили и положительно отзывались о творчестве Аллы Головиной, Чегринцевой.

В истории «Скита» можно выделить два периода. Первый, который скитовец Лев Гомолицкий назвал «героическим» – это 20-е годы XX века. В этот период в творчестве скитовцев преобладает повествовательное, сюжетное, конструктивное начало, а облик «Скита» определяют преимущественно поэты-мужчины, часть из которых прошла через ужасы гражданской войны. В 30-е годы «Скит» обретает преимущественно женское, лирическое лицо, и «Скит» невольно сближается с лирической парижской нотой. Скитовцев привлекали Париж и Москва; в Праге закончилась «Русская акция помощи», и столица Чехословакии потеряла свою привлекательность для многих эмигрантов. Началась череда отъездов. Но, даже уехав в другие города и страны, скитовцы старались поддерживать связь с Прагой, присылали друзьям и Бему свои стихи, заочно принимали участие в вечерах «Скита» и даже указывали при публикациях свою принадлежность к «Скиту». «Скит» поддерживал связи и с Парижем, и с Берлином, где вышла книга А. Головиной «Лебединая карусель» и антология русской зарубежной поэзии «Якорь» со стихами ряда скитовцев, и с провинциальными эмигрантскими центрами (Варшавой – прежде всего в лице Льва Гомолицкого, Таллином, Белградом, Шанхаем). Сборники Эмилии Чегринцевой, например, вышли под эгидой «Скита» в Праге («Посещения») и Варшаве («Строфы») в 1936-м и 1938 годах.

В разных статьях о деятельности «Скита» указываются разные даты окончания его работы – это и 1940-й, и 1941 год. «Чётки» свидетельствуют, что два последних участника – старшая дочь Альфреда Людвиговича Ирина Бем и Николай Терлецкий, – были приняты в члены объединения 19 апреля 1940 года. Действительно, после подписания Мюнхенского договора жизнь русских беженцев в Чехословакии не могла не измениться – с 1939 года встречи проходили уже не еженедельно, а раз в месяц; а последние совместные чтения прошли 6 сентября 1940 года – Эмилия Чегринцева прочла свои стихотворения «Война» и «Чужой дом», а сам Альфред Людвигович Бем – своё стихотворение «Петербург». Но – были ещё выступления, литературные вечера, в которых участвовали скитовцы. На одном из таких вечеров в начале 1943 года Ирина Бем презентовала сборник своих стихотворений «Орфей». Последнее коллективное выступление состоялось 19 мая 1944 года на Семинаре по изучению русского языка и литературы при Русской ученой Академии в Праге (бывшем Русском свободном университете). Альфред Людвигович Бем говорил тогда о «Задачах современной эмигрантской литературы», этот доклад лёг затем в основу его известной статьи «Русская литература в эмиграции», напечатанной по-чешски и по-русски. В том же 1944-м вышла последняя его прижизненная книга – «Церковь и русский литературный язык».

Поэтому – позволю себе считать, что деятельность «Скита» закончилась со смертью его духовного отца и бессменного руководителя Альфреда Людвиговича Бема, в 1945 году.

Один из лучших поэтов среди скитовцев Вячеслав Лебедев пишет: «Собираясь и выступая публично во время оккупации, „Скит“ никогда не сделал ни одного приветственного жеста в сторону немцев. Наоборот: два его члена заплатили жизнью за несоответствие с немецким миром». И ещё: «Эмиграция не берегла, да и не могла уберечь своих молодых талантов, разрозненно погибавших или просто замолкавших в тяжёлых жизненных условиях. В этом аспекте работа А.Л. Бема с литературной молодёжью и его стремление по мере сил поддержать и направить все её неокрепшие ещё дарования на правильный путь и приохотить к регулярной работе над словом и над самим собой, является чрезвычайно ценной и, вероятно, исключительной в истории эмиграции. Его значение для литературной эмигрантской поросли ясно проявилось в распаде „Скита“ после его смерти, и в прекращении всякой литературной деятельности в Праге после 45-го года».

Жизнь Альфреда Людвиговича оборвалась трагично. Было понятно, что его, искреннего и яростного критика Советской власти, арестуют в числе первых. Но он не ушёл весной 1945-го на Запад и остался в Праге. Он предчувствовал свой конец – 22 апреля записал в дневнике: «Решающие дни: Сегодня причастился. Стало ясно, что и моя судьба под вопросом, но об этом молчу. К смерти не готов». До сих пор



обстоятельства смерти Альфреда Людвиговича остаются загадкой. Существуют различные версии – он покончил с собой во время допроса, или был расстрелян во дворе пражской тюрьмы Панкрац сотрудниками СМЕРШа, или погиб в лагере... Ныне известно абсолютно достоверно вот что – 16 мая Бем был арестован. О том, как это произошло, пишет младшая дочь ученого, Татьяна Бем-Рейзер:

«Я была в нашей бубенечской квартире, когда позвонили двое чехов и попросили пройти с ними за угол перевести что-то, так как они не могут договориться. Папа ушёл в белом полотняном костюме, даже без шляпы, только со своим помощником – тростью, без которой не умел ходить. Я следила с балкона за его маленькой, искривленной детским параличом фигуркой, как она скрылась за углом.

Бедный, бедный папа! Где, в каких местах, в какой труппе погиб он? Расстреляли ли его, приставив к стенке, или просто он умер от холода или от горя, полный тревоги за меня, за маму, за сестру? Сказал ли ему кто-нибудь перед смертью доброе напутственное слово? Кто закрыл ему глаза? Кто похоронил его?».

Судьба скитовцев сложилась по-разному – у многих трагично. Кто-то погиб в немецких концлагерях и тюрьмах, как Евгений Гессен. Кто-то погиб в лагерях советских – как Михаил Скачков и Борис Семёнов. Многие вернулись на родину – как Екатерина Рейтлингер, Христина Кроткова, Дмитрий Кобяков, Раиса Спинадель, Алексей Эйсер; многие разъехались по городам и странам – от Парижа и Брюсселя до Нью-Йорка, Вашингтона и даже Венесуэлы... Кто-то остался в литературе и даже приобрёл известность в литературе других стран – Лев Гомолицкий как польский прозаик и эссеист, а Николай Терлецкий стал чешским писателем. Литературную деятельность продолжили Вячеслав Лебедев, оставивший после своей смерти в Праге более тридцати неизданных стихотворных сборников, Христина Кроткова, Вадим Морковин, Елена Глушкова, Дмитрий Кобяков. Ирина Бем продолжила писать стихи и переводить на русский язык чешских поэтов, работала вместе с Вадимом Морковиным над юбилейным сборником к пятидесятилетию «Скита», который так и не был опубликован. Многие отошли от творчества – Альфред Вурм и Николай Андреев стали учёными, а Александр Туринцев принял священнический сан и стал настоятелем Патриаршего Подворья в Париже. Но для всех для них, без сомнения, годы участия в «ските» с его творческой, интеллигентной и доброжелательной атмосферой были одними из лучших в жизни. После Второй мировой войны ничего этого не стало...

Итоги деятельности «Скита» можно рассматривать по-разному. Да, пожалуй, что по-настоящему крупных поэтов русская Прага не дала. Но – были заметные имена. Если первое поколение скитовцев в литературе почти не прозвучало, то представители второго поколения Вячеслав Лебедев и Эмилия Чергинцева и третьего – Алла Головина – явно выделяются на фоне остальных. И пусть они не стали классиками, но каждый из них несколькими стихотворениями останется в истории русской поэзии. Ряд стихотворений скитовцев стал основой для песен – взять хотя бы «Человек начинается с горя» Алексея Эйснера.

А самое главное – именно «Скит» стал обителью пражской школы поэзии.

Оценивая роль «Скита», Альфред Людвигович Бем писал: «... что дал „Скит“ его участникам? Независимо от степени одарённости: помогал оформлению в слове их творческого напряжения. Будут ли итоги объективно ценные? Это может показать только время. Если в обстановке „Скита“ оказался или окажется действительно одарённый человек (а не может таких одарённых людей не быть среди нас), и эта обстановка будет благоприятна для его поэтического роста – то „Скит“ не только субъективно (в порядке хорошего времяпрепровождения), но и объективно себя оправдал».

Среди участников «Скита» было двое одесситов – Николай Болесцис (Дзевановский) и Раиса Спинадель. Почти ровесники – но судьбы их сложились совершенно по-разному.

Николай Вячеславович Дзевановский был сыном генерал-майора Генерального штаба Вячеслава Андреевича Дзевановского, происходившего из польского дворянского рода, и Марии Стефановны Дзевановской (в девичестве Мулевич). Он родился в Одессе 1 февраля 1897 года, окончил в нашем городе гимназию и Сергиевское артиллерийское училище. Такой выбор был неудивителен – имя отца, Вячеслава Андреевича, было широко известно в российских военных кругах. Хочу остановиться на его биографии подробнее.

Вячеслав Андреевич Дзевановский сделал блестящую карьеру – после окончания Киевского пехотного юнкерского училища он был определён в чине подпоручика на службу в 14-ю артиллерийскую бригаду, где был назначен учителем бригадной учебной команды и даже награждён серебряной медалью в память царствования императора Александра III – 26 февраля 1896 года. 10 апреля того же года

в Николаевской – в Ботаническом саду – церкви города Одессы венчались «подпоручик 5-й батареи 14 артиллерийской бригады Вячеслав Андреев Дзевановский, православный первым браком, 25 лет, и дочь надворного советника Мария Стефанова Мулевич, православная первым браком, 19 лет. Свидетели по жениху: поручик 14 артиллерийской бригады Владимир Иоаннов Воскресенский и подпоручик той же бригады Владимир Николаев Сирков, по невесте: студент университета св. Владимира Антоний Андреев Дзевановский и кандидат естественных наук Иоанн Иоаннов Хайно».

А уже 15 июня Вячеслав Андреевич был командирован в Николаевскую академию Генерального штаба, где за успехи в науках произведён в штабс-капитаны и по окончании учёбы назначен на службу в Варшавский военный округ – 5 июня 1899 года. Места службы Вячеслава Дзевановского менялись, как картинки в калейдоскопе – Варшава, австрийский Линц, Иркутский район, Забайкальский район, остров Крит, город Канев, затем вырвался к семье – 12 февраля 1907 года назначен в распоряжение командующего войсками Одесского военного округа, но прибыть в штаб Одесского военного округа удалось только 20 сентября, а уже 30 сентября он уже был назначен начальником строевого отделения штаба Новогеоргиевской крепости, что под Варшавой. Оттуда откомандирован в Тулу, вновь возвращается в Новогеоргиевскую крепость и – наконец-то, – в 1909 году назначен заведующим передвижением войск Одесского района, а через пять лет – начальником военно-эксплуатационного отдела управления начальника военных сообщений Одесского военного округа и исполняющим обязанности начальника военных сообщений Одесского военного округа.

С началом Первой мировой войны Вячеслав Андреевич – командир 1-го Лейб-гренадерского Екатеринославского полка и исполняющий обязанности начальника военных сообщений 7-й армии. 6 декабря 1915 года он был произведен в генерал-майоры, а 23 декабря назначен начальником военных сообщений Одесского военного округа. Затем новые назначения – начальником военных сообщений армий Северного фронта, начальником военных сообщений армий Юго-Западного фронта. С началом гражданской войны Вячеслав Дзевановский служит в Добровольческой армии и Вооружённых силах Юга России. После эвакуации из Крыма генерал РОВС Дзевановский с семьёй перебирается в Болгарию, откуда в 1922-м перебирается в Варшаву.

За годы службы генерал Дзевановский участвовал в десятках сражений и был награждён множеством наград – орденами святого Станислава 2-й и 3-й степени, святого Владимира 3-й и 4-й степени, святой Анны 2-й степени, иностранными орденами князя Даниила I Черногорского 3 степени, Румынской звезды командорской степени и японским орденом Восходящего Солнца 3 степени.

Вначале я совершенно не планировал писать о Вячеславе Андреевиче Дзевановском. Но, прочитав его биографию, был поражён и посчитал невозможным не поделиться этим. Ведь в судьбе его отражается целая эпоха... А самое главное – биографы отца восполнили пробел в информации о судьбе сына. В литературе о «Ските поэтов» годы жизни Николая Болесциса после отъезда из Праги в Варшаву не были освещены совершенно – авторы стандартно указывают, что переписка его с Альфредом Людвиговичем Бемом прекратилась в 1933 году, и делают предположение, что умер Николай Болесцис в 1930-х годах в Вильно. Это не так. Отец и сын Дзевановские погибли в 1944 году в Варшаве, во время Варшавского восстания. Офицеры всегда остаются офицерами...

Но – вернёмся на двадцать лет назад.

Николай Болесцис приехал в Прагу и в 1922 году поступил на медицинский факультет Карлова университета. Он часто ездил к семье в Варшаву и посещал там заседания возникшего в 1921 году под руководством Бема литературного объединения «Таверна поэтов». Печатался в варшавской газете «За Свободу!». 31 августа 1924 года женился на Татьяне Балуда, а в 1925-м супруги становятся слушателями Русского народного университета, оба состоят при ЦК «Крестьянской России – Крестьянской трудовой партии». В том же 1925 году Николай был принят в Союз русских писателей и журналистов в Чехословакии. О том, что он был одним из основателей «Скита поэтов», я уже говорил.

Важно другое. Все эти годы Николай Болесцис писал хорошие стихи. И одно из них – опубликованное в седьмом номере журнала «Воля России» за 1929 год стихотворение «Одесса»:



ОДЕССА

Н.К. Стилоу

Спускался город стройными рядами
до берега. На улицах весной
цвели деревья белыми цветами.
Их гроздь душиные и первый зной,
и море, брызгами пришельца встретив,
и песни порта – дерзкий жизни жар –
кружили голову, как кружит ветер,
из рук ребёнка вырвав пёстрый шар.
В моей душе я сохранил упрямо
его простор и зной, и простоту,
гул площадей и шорох ночи пряной,
и первую над городом звезду.

Я помню запах водорослей синих,
игрушечные в небе облака,
ночами – сети звёзд и вместе с ними
над морем глаз трёхцветный маяка.
Я помню, как кружился ветер вольный
и в море чаек обрывал полёт;
как на глазах – из глубины на волны
тяжёлый поднимался пароход.
Шли корабли Неаполя, Марсея
за деревенским золотым зерном,
и вечерами чуждое веселье
гремело над просмоленным бортом.

Я помню окрик в рокоте лебёдок,
тяжёлый шелест жаркого зерна,
рядами бочки и на бочках дёготь,
и дёготь солнцем плавил весна.
Я помню кости чёрной эстакады
и бурный дым... О, в дыме не найти,
кому они последнею наградой
за светлые привольные пути.
Здесь – в раскалённых дереве и стали,
без горечи, без страха и тоски
любили, верили и умирали
лукавые морские мужики.

Я помню сладкие цветы акаций
и пыль, и соль, и розовый туман,
и острый парус – ветренный искатель
ненарисованных на карте стран.
Я помню степь – ковыль косою русой
и шорох волн, и жёлтый лунный круг,
когда руке так радостно коснуться
доверчивых и боязливых рук.
О, власть весны! Язык любви и встречи:
единственный – он так священно прост,
когда над городом весенний вечер
и между звёзд раскинут млечный мост.
Я помню город. Я давно отрезан
от стен его границами людей,
но сколько раз – под строгий рокот леса,
под шорох медленных чужих полей
я повторял – Одесса!

В нескольких сборниках стихотворений скитовцев, вышедших уже в наши годы, опубликованы стихотворения Николая Болесциса за период с 1922 (из варшавской газеты «За свободу») до 1933 года. Интересно, что морская тема и тема приключений занимают большое место в его творчестве – это видно даже по названиям стихотворений. Например, в первом номере журнала «Воля России» за 1928 год опубликовано стихотворение «Рыбаки»:

РЫБАКИ

Случайною копеекой дорожа,
тяжелый парус распустив лениво,
по воскресеньям праздных горожан
они катают в тишине залива.
Но у борта – среди пугливых дам,
но и в толпе приморского базара
так необычны городским глазам
огонь и дым их тёмного загара.
Потомки первых – хищных рыбаков,
они живут и чувствуют иначе:
им тень скалы – незаменимый кров,
и ветер рвёт их бороды рыбацьи.
Для них, по трапу соскользнув тайком,
привозят в длинных чёрных пароходах
в соломенных бутылках крепкий ром,
рассказы о смешных – чужих народах;
для них на синюю во тьме косу
приходят девушки, поют над морем
и леденцы дешёвые сосут,
весеннее подслащивая горе.



Они одни – простые рыбаки,
от берега по звездам путь наметив,
разматывают влажные круги –
для хитрых рыб затейливые сети.
И только им отмерено Судьбой
расстаться с жизнью горестно, но просто:
– с последнею девятою волной!
– с последним свистом зимнего норд-оста!

В журнале «Студенческие годы» в 1925 печатались отрывки из книги «Путешественник», полностью посвящённой морским путешествиям и заключениям.

В 1929 году Николай Болесисц переезжает к родителям в Варшаву, где продолжает литературную деятельность и – судя по всему, – научную и врачебную практику. Этот период жизни одесско-пражско-варшавского поэта – до дня его гибели во время Варшавского восстания, – ещё предстоит изучить.

Раиса Спинадель стала участником «Скита» третьего ноября 1924 года (номер 14 в «Чётках»).

Раиса Петровна (Пинхасовна) Спинадель родилась в Одессе в 1899 году. В первом замужестве она стала Козаковой, а во втором – Спинадель (Разумовой). В 1921 году вместе с мужем, студентом-медиком Львом Александровичем Спинадель (Разумовым), и двухлетним сыном она из румынской тогда Бессарабии приезжает в Прагу и поступает на Русский юридический факультет. Русская акция помощи Чехословацкого правительства была в те годы настолько привлекательной, что многие, окончив один институт, поступали учиться в другой – стипендия позволяла прожить не просто сносно, а довольно неплохо. Не была исключением и Раиса Спинадель – окончив в 1924 году юридический факультет, она в следующем году стала слушательницей Русского института сельскохозяйственной кооперации.

Стихотворения Раисы Спинадель публиковались в журналах «Своими путями» – в том самом номере, который раскритиковал Бунин; в студенческом журнале «Годь».

В 1928 году поэтесса разводится с мужем и уезжает в СССР. Она живёт в Ленинграде и Москве, где продолжает публиковаться – в журнале «Ленинград» и других изданиях. Знание чешского языка пригодилось – в 1930 году она перевела на русский язык роман Карела Чапека «Фабрика Абсолюта», который был набран, но не издан. Писательская карьера в Советском Союзе сложилась успешно – Раиса Петровна стала членом Союза писателей СССР и Иностранной комиссии Союза писателей СССР.

Темы стихотворений Раисы Спинадель – преимущественно философские. Это ощущается с первых строчек: *«Торжественно, в сонета строгой раме проходит жизнь...»*, *«О, как презренно безобразны нам сделки с собственной душой...»*, *«Всю жизнь не измерить, не понять зияющей за каждым словом бездны...»*, *«Что наших дней искания и споры, ненужные о будущем слова...»*. Уже в Ленинграде, весной 1929-го написала она исполненное в новой стилистике, похожей на конструктивизм Ильи Сельвинского, стихотворение «Гимнасть», которое я хочу привести. А до него – опубликованное в №№ 12-13 журнала «Своими путями» стихотворение *«Торжественно, в сонета строгой раме...»*:

«ТОРЖЕСТВЕННО, В СОНЕТА СТРОГОЙ РАМЕ...»

Торжественно, в сонета строгой раме
Проходит жизнь. И я, созрев, пойму,
Что озорство и злоба ни к чему,
И что наш путь мы выбрали не сами.
И буду жить с открытыми глазами
И мир таким, каков он есть, приму
Я с мудростью, присущей ему,
И строгими, простыми чудесами.

Не осквернив ненужностью метанья
 Осенние, прозревшие желанья,
 Не расплывшись в суете сует,
 К неповторимой радости погоста
 Я принесу торжественно и просто
 Нетронутым классический сонет.

ГИМНАСТЫ

ГИМНАСТЫ

Верхом напряженья Каждое движенье Вверх и вниз, Взлеты, перелеты И... взвн...и...лись!	}	медленно			
		быстро			
Вызов тяготенью Каждым положеньем ног и рук. И вдруг – Под купол в вышину В оркестра тишину, Бунтующими толпами, Взорванными колбами Свет! Меня цвет, Движенью вслед	}	медленно	И во все стены – Тени! На каждой круг Из оси рук Из быстроты кружений.	}	размахом голоса
		все ускоряя, усилия	А о муке мускулов, что силятся – из кожи! Говорят только глаза расширенные Да губы с улыбкой тусклою так не похожей на улыбку.		}
		Разорванно, ударами барабанными	5.3.1929		

В последние годы интерес к творчеству участников пражского «Скита» заметно возрос. В Праге и затем в России опубликованы «Письма о литературе» Альфреда Людвиговича Бема; в России вышли сборники стихотворений Ирины Бем, Алексея Эйснера и Аллы Головиной. В периодике разных стран появился ряд статей об истории «Скита», в Москве и Санкт-Петербурге вышли две фундаментальные книги – «Скиг». Прага 1922–1940: Антология. Биографии. Документы» и «Поэты пражского «Скита»». Но под «одесским» углом зрения на творчество скитовцев в этой статье мы смотрим впервые.

«ШШКАФ»

МАРИНА МАТВЕЕВА

ВИЗУАЛЬНАЯ ПОЭЗИЯ – БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВИД ТВОРЧЕСТВА

В Симферополе в Доме-Музее П. Сельвинского под патронатом Центрального музея Тавриды по инициативе харьковского издательства «Слово» прошёл Вечер визуальной и авангардной поэзии. Он был приурочен ко дню рождения великого поэта-конструктивиста XX века Ильи Сельвинского. В программе была представлена слайд-презентация «Визуальная поэзия 1913-2013», которую провёл кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Харьковского центра по охране культурного наследия, фотохудожник Игорь Нещерет. Он рассказал также о деятельности харьковского творческого клуба АВАА, его авторах, изданиях, фестивалях АВААГАРД и АВАА-in-фест. Также зрители познакомились с докладом об авангарде и конструктивизме XX в. и творчестве Ильи Сельвинского, который подготовила сотрудница Дома-музея В. Саламатина. Зрителям также представилась возможность услышать авторское чтение Сельвинского – из аудиоархивов музея.

Кульминацией вечера стала презентация специального номера журнала «АВАА» (Харьков), посвящённого авангардной и визуальной поэзии с 1913 г. до наших дней, в основном, современной. В числе авторов журнала – симферопольский поэт-авангардист Марина Матвеева – представила свои экспериментальные стихотворения авторского стиля «софраматизм» и образцы визуальной поэзии в сотворчестве с художником Конаном Святым.

Как одна из новых форм современных аудиовизуальных поэтических возможностей публике был представлен проект «Web-притяжение крымской поэзии и Бардовский видеомост», в частности, отрывки из видеомостов с участием члена харьковского клуба «Авал» поэта Виталия Ковальчука, московской авангардистки Нади Делаланд и поэта из Беларуси Мариш Малиновской, создательницы авторского стиля «сенсоризм».

ПОЭЗИЯ «АСТРАЛОПИТЕКОВ»

Визуальная поэзия – явление многообразное, находящееся на стыке поэзии и живописи, графики, пластики, фотографии. Визуальный поэтический текст – результат соединения двух видов деятельности – поэтической (словесной) и изобразительной (графической).

В название статьи вынесена фраза, прозвучавшая из уст одного из организаторов презентации – заместителя генерального директора по научной работе Центрального музея Тавриды **Елены Вишневецкой**: «Если есть такой отдельный биологический вид творчества, как визуальная поэзия, то надо донести его до зрителя».

И насколько «в точку!» Визуальную поэзию едва ли не в прямом смысле можно назвать «биологическим явлением». Точнее, палеоантрополо-

гическим. Наскальные рисунки древнего человека отражали не простое желание порисовать, а воплотили некие идеи, порой куда более глубинные, чем кажется нам через толщу веков. И уж точно куда более глубокие, чем способны были осознать сами их авторы, обладающие примитивным сознанием. Письменности тогда, понятное дело, еще не было, а «поэзия» – уже существовала. Это настолько древнее искусство, сколь вообще существует у человека даже не сознание, а ЧУТЬЕ, способное хоть к самым примитивным обобщениям, абстрагированию. Как пишет широко известный авангардист, знаток языков и создатель «лингвогобеленов» **Вилии Мельников** о возникновении письменности: «Сначала были рисунки, и люди стремились к их повторяемости, стилизации. Именно так возникли

китайские иероглифы. Если взять совсем древние китайские тексты, возрастом 3-4 тысячи лет, там – откровенные рисунки, которым ещё предстоит стать иероглифами». Итак, «визуальной первопоэзии» ещё только предстоит стать поэзией словесной, и лишь потом уже – письменной.

Философы с древних времен пытались доказать, обладает ли человек «врождёнными идеями», или все его постижения – лишь результат чувственного опыта. На мой взгляд, само существование «первопоэзии», визуальной поэзии, да и поэзии вообще – является едва ли не прямым доказательством наличия этих самых врождённых идей, иногда самим их носителем не сознаваемых. Автор этих строк создала поэтический неологизм «*Астралопитек*», воплощённый затем в виде визуальной поэзии художником **Конаном Святым** (работа была высоко оценена на презентации и вошла в коллекцию визуальной поэзии журнала «АВА»). Этот образ несёт в себе идею древнего человека, чувствующего и даже способного отражать в жизни и творчестве, но ещё не осознающего рассудочно абстрактные формы постижения мира. Эта же философская метафора применима к поэту-авангардисту. Иначе как «астралопитеком» его не назовёшь. Это лишь на первый взгляд авангард – порождение холодного разума и логики. Интуитивный пласт его огромен.

История визуальной поэзии гласит: «Изобретение этой поэтической формы приписывается греческим поэтам александрийской школы Симию Родосскому, Досиду и Феокриту. Стихи, имевшие вид кубка, пальмы, башни, пирамид и других предметов, были в моде в разные эпохи. Фигурные стихи писали (изображали?) и в средние века, и в эпоху барокко. Расцвет визуальной поэзии приходится на рубеж XIX-XX вв. во Франции (Стефан Малларме, Гийом Аполлинер)».

Только ли «игрушка»? Визуальная (как и авангардная – в широком смысле понятия) «поэзия» существовала с куда более древнейших времён и создавалась людьми, обладающими тайными знаниями, в том числе и о возможностях слова и звука, их энергетике, вибрациях. Заговоры, мантры, молитвы, те же иероглифы, архетипическая символика различных религий и учений... Если приглядеться, не вдумываясь, – бессмысленный набор слов или звуков, или же ничего не значащее изображение. Но – отложившиеся на сознании, принимаемые на веру и используемые многими по прямому назначению и донныне. Но, кроме прямого назначения, – это ещё и поэзия. Причём, как сказали бы сейчас, именно «авангардная». «Самовитое слово», важность не того, о чём пишет «поэт», а каково само произведение, каковы его

пласты: поверхностный – для аудиовизуального восприятия, и глубокий – идейный. Воспринимать её предполагается в целом – одновременно в пространственно-временном континууме. Слово существует во времени, рисунок – в пространстве.

Так же в пространстве, как и рисунок, существует один из основных приёмов авангарда: неологизм, новое слово – словосращение, словоразбитие и другие формы, смещение смыслов, сдвиг сознания. Неологизм – это, по сути, картина. Которую, прежде, чем осознать её смысл, нужно увидеть. Обычно неологизм и является неким ярко заметным «изображением» в теле стиха – в окружении обычных, привычных слов. Особенно хороши бывают неологизмы в названиях текстов. Такие «имена» берут на себя большую часть концепта, порой и сам текст не нужен. А порой – наоборот: он раскрывается ярче.

Александр Курапцев

Солнцеворон

*Солнцеворон висит сгоревшей лампой
В подъезде недокуренного дня
Скорей согрей люминесцентной лампой
Солнцаменя
Зажмурь мои бессонные глазищи
Дотой куплет
Сиреневое солнце нищих
Пропавших лет
Свети стеклянное светило
Со всех сторон
Сползает небо в паутину
Солнце ворон*

В разговоре об авангардной поэзии никак нельзя пройти мимо основных идей постмодернизма. Одна из которых – возможность понимания текста и его трактовки каждым читателем по-своему. Желание со-творчества, со-труда с автором. «Непонятность» авангардного текста – как правило, нежелание понимать. Или отсутствие интереса к этой форме мировосприятия. Однако те, у кого мозг настроен на анализ-синтез многосмысленности авангарда-постмодернизма и множественности восприятия визуальной поэзии, получают истинное наслаждение от таких произведений. По себе могу сказать, что, например, вышеприведенный текст мною даже не воспринимается как авангардный – настолько всё прозрачно. Но эта прозрачность существует для отдельно взятого читателя. А для другого этот текст может тоже стать абсолютно ясным, но – по-другому.



А для кого-то останется неясным. Ответ на загадку существует для тех, кому интересно её разгадывать.

Историю русской школы визуальной поэзии принято отсчитывать от Симеона Полоцкого, создававшего фигурные стихи, порой весьма сложные и визуально эффектные. Однако, эта школа в своеобразной форме существовала с намного более древних времён. В старославянских текстах в целях экономии дорогого пергамента было принято титлование: сокращение часто употребляемых слов со знаком «титло» сверху. Как правило, это были слова-идеи религиозного плана (Господь, Богородица, Отец и т.п.). Их представление на многие века закрепилось в памяти людей в виде картинок-«сократов» (как сказали бы сейчас) с титлом. Уже позже о том, чтобы в русский язык снова ввести титлование, «компактировать» его, писал Д. Бурлюк. То же – «визуальная первопоэзия» – можно сказать и об использующихся в древнерусских текстах буквицах – каллиграфически и художественно выполненных первых буквах глав, в «оформлении» которой нередко закладывалась идея текста. О возвращении букве её значения писал Ю. Марр, считавший что литера способна к собственной «графической модуляции», а потому в поэзии нужно развивать культуру почерка, отходя от строгих классических типографских шрифтов. Тогда поэзия приблизится к промежуточной форме, доступной художнику. А затем и станет полностью художественной.

Значение и модуляция буквы недавно было блестяще использовано составителями сборника поэзии литературного портала «Литфест» – назывался он «Лит-Ё». Авторы названия обосновали это и яркостью, агрессивностью, визуально усиленной выделением крупным шрифтом, буквы Ё, и звучанием слова – «литьё», означающем «лучшее» (в литературе – «Лит»). Но зачем что-то обосновывать? Такая находка не только чётко понятна, но ещё и очень привлекательна – истинная визуальная поэзия.

Ту же неоднозначную букву русского алфавита недавно обыграл российский авангардист и теоретик «буквологики» **Александр Бубнов**:

*Передохнём мы с буквой ё,
Но передохнем без неё.*

Впрочем, свой звуковой и глубинный смысл есть у каждой буквы. И возможностей для его раскрытия – также множество.

Но вернёмся к истории. По работам Симеона Полоцкого можно осознать отличие собственно визуальной поэзии от визуализации текста. Старые

школы поэтов-художников разрабатывали именно формы последнего. И мягкое литографское письмо, и акцентное использование литер, и отказ от линейной строки в опытах поэтов Серебряного века и их последователей (Каменский, Зданевич, Ларионов, Сельвинский и др.) – в русле старинных традиций, и сегодня вполне может быть возведено к фигурным стихам александрийской школы, к опытам средневековых переписчиков и экспериментам Симеона Полоцкого. Именно так и поступают многие исследователи визуальной поэзии, стремящиеся связать сегодняшние её особенности с тысячелетней книжной традицией. Между тем, необходимо строгое различение именно визуальной поэзии и визуализации стиха, действительно характерной для человеческой культуры на протяжении столетий. Опыты Бурлюка, Каменского, Крученых – это именно визуализация, когда подлинный сплав текста и изобразительных возможностей типографского набора ещё не достигнут. Подобные произведения можно и читать и рассматривать, или только читать, или только рассматривать. В них даны только первые попытки к созданию такого литературного произведения, которое могло бы восприниматься подобно рисунку или картине – мгновенно, и могло бы пониматься углублением в эту мгновенность первого взгляда.

Г. Апполонер подчеркивал, что визуальный компонент должен работать на содержание. Такое оформление текста необходимо, «чтобы читатель с первого взгляда воспринимал всё стихотворение целиком, подобно тому, как дирижер одним взглядом охватывает нотные знаки партитурь». Поэтический текст и его идея всё же важнее формального компонента. Превалирование формы над содержанием «убивает» поэзию, действительно превращая её в ходульную игрушку. Поэтому такую сложность представляет создание истинного шедевра авангардной, а уж тем более визуальной поэзии.

В. Хлебников предлагал создать письменный язык, понятный любым народам земли и ссылался на живопись, которая «всегда говорила языком, доступным для всех». Именно в этой роли он представлял визуальную поэзию. Однако достигнуть этого эффекта – даже к нашему времени – удалось только частично.

Один из таких приёмов – «интернационализация» текста – латинизирование отдельных слов и идей. Он активно используется и современными авангардистами, например, обращающимися к латинским крылатым выражениям, словам английского или других языков. Оставляя их написание, но изменяя смысл, например, чувствуя их созвучие с русскими словами («*Для лечения большого мира / Переделанного из недо- / della pova своей рукою*» – М. Матвеева).

Расширение смысла и сдвиг сознания получаются порой очень явными.

Вилли Мельников, например, использует в своих стихах муфтолингвы и интроксенолингвы. Первое – элемент чисто поэтический: муфтолингва – разные слова объединяются через муфту – один общеударный слог («озверевность», «подсознахарь» и др.) И, что важнее, получается общеударный смысл слова-кентавра. Интроксенолингва же, можно сказать, уже элемент визуальной – или абстрактной – поэзии. «Если я вижу, – пишет В. Мельников, – что часть русского слова снайперски точно можно озвучить словом из другого языка, то что мне мешает это сделать? Например, слово “цикада”. Это греческое слово, ну да ладно. “Цик” – по-тибетски означает – “люди”, получается – “люди ада”. Но такие формы поэтической работы не понятны воспринимателям без объяснений. Т.е. авангардная, равно как и визуальная, поэзия, можно сказать, невозможна без комментариев, т.е. непосредственного участия самого автора в диалоге с воспринимателем. В этом есть некий элемент ущербности – произведение без автора как бы не может существовать, быть отдельно живущим предметом искусства (как, например, «Джоконда» прекрасно существует без Леонардо или «Свеча горела» без самого Пастернака рядом). Но... в этом и особая форма «жизни» авангарда – он всегда «перформанс», «представление», «откровение». Произведение искусства – сам автор. В процессе демонстрации своего творчества, а иногда и в процессе его создания, творческого акта.

Впрочем, далеко не всякое авангардно-визуальное произведение не может существовать вне автора. Сохранилось множество визуализаций поэтов XX в., которые живут собственной жизнью и могут сделать соавторами нас. Знаменитый крест А. Вознесенского «аксиома самоиска» – совершенное визуальное поэтическое произведение – напротив, производит такое впечатление, что автор становится просто лишним.

Выделения частей слов крупным шрифтом или же курсивом, заострения внимания на неверных с точки зрения орфоэпии, но меняющих смысл в нужную автору сторону ударениях, разбития слова точками (например, «пара.Ной.я» – **Юлия Котлер**, Крым), и тому подобные приёмы, характерные для современного авангарда, – тоже являются формой визуализации текста, заключения в его тело «картинки», углубляющей идею, создающей дополнительные смыслы.

Существует ли уже истинно визуальная поэзия, та самая, которая могла бы являться интернациональным поэтическим языком, понятным каждому? Вероятно, ещё нет.

В. Хлебников не отважился отправиться в неизведанные области превращения всем привычного стихотворения в нечто новое и настолько пластичное, что грань между вербальным и визуальным перестала бы ощущаться как разделительная черта. Но именно Хлебников и Кручёных указали путь к созданию визуальной поэзии. Их последователи – ОБЭРИУТЫ, конструктивисты, концептуалисты, метареалисты, фээты и др. – предлагали свои способы визуализации стиха, превращения его в поэтическую картину. Работают над этим и многие современные авангардисты. Иной раз доходя даже до овецствления текста. К примеру, «издавая» его на пряниках, которые читатель может «воспринять целиком», т.е. попросту съесть. Или же записывая текст вареньем на тарелке (**Ры Никонова**), затем поочередно слизывая буквы – или давая слизывать «читателю», благодаря чему изменяется смысл текста и в пространстве, и во времени, и в личностной парадигме. Тут уж присутствие и действия автора и соучастие в творческом акте его воспринимателей доходят до апофеоза. А «произведение» – не остаётся. Ну, разве что в памяти, создавая новые архетипы коллективного бессознательного, «авангардируя» его. Творя из новаторства новую традицию.

Существует также видеопозэзия – возможность создания клипа или даже целого фильма к поэтическому тексту или подборке. Существуют литературные видеомосты. Но это уже возможности нынешнего времени, новые формы поиска в области поэзии. Сколько она будет существовать – столько будет желающих искать новое, создавать необычное. Можно считать это игрой – у людей есть большое число игр, хобби, увлечений... Но верным будет назвать это поиском. И ни чего иного, как Истины. «Буквология – от игры к философии» – так называет это А. Бубнов (см. «Южное Сияние», № 1' 2013, стр. 181 – ред.).

История и теория авангарда и визуальной поэзии – мощнейший пласт информации, который невозможно поместить в рамки одной статьи. Поэтому позволю себе проявить субъективизм в отражении моментов, авторов и явлений, интересных для себя. Более подробно познакомиться с историей визуальной и авангардной поэзии желающие смогут, обратившись к литературоведческим материалам, в частности, к статье **С. Сигея**, отрывки из которой использованы и переосмыслены в настоящей работе. Также рекомендую творчество, интервью и научные работы В. Мельникова, А. Бубнова, К. Кедрова, И. Неццера, В. Ковальчука, Е. Коро и множества других представителей современного поэтического нова-



торства. А мы перейдём непосредственно к героям нынешнего вечера.

АВАЛ – ЛАВА

Представляем журнал поэзии «ЛАВА» Харьковского клуба поэзии АВАЛ. В мае 2010 г. вышел первый номер. С тех пор их уже вышло 20. Главные редакторы журнала – поэты **Богдан Ант** и **Герман Титов**. С сентября 2011 г. создан Редакционный Совет, в который входят поэты из Киева, Кёльна и других городов мира, куда пустила свои корни славянская культура. Менеджер клуба – известный поэт и культуролог **Виталий Ковальчук**. География публикуемых авторов – самая широкая: Украина, Россия, Европа, Азия и заокееанье.

Основанный в 2010 г. клуб АВАЛ провёл десятки презентаций, вечеров поэзии и прочих литературно-художественных мероприятий. В том числе – и связанных с работой харьковской школы поэтического авангарда и визуальной поэзии. В Харькове проходят лекции по истории этих направлений, Серебряного века и его последователей, издаются и презентуются книги современных авангардистов. АВАЛ задуман как перекресток талантов, его замысел – в объединении творческих сил, которым даётся возможность самовыражения – на страницах журнала и на литературных площадках. АВАЛ – это сервер и накопитель творческой энергии, которая капля за каплей вливается в ЛАВУ современной поэзии. «Мы не ставим себе каких-то надуманных рамок, не вписываемся в границы жанров» – говорят о себе создатели клуба.

Харьковские поэты активно участвуют в фестивальной деятельности, в том числе проводят собственные фестивали. В частности, Всеукраинский литературно-художественный фестиваль авангарда АВАЛГАРД, по итогам которого и издан представляемый ныне номер журнала «ЛАВА». Впрочем, и клуб, и журнал не ограничиваются ни одним авангардом, ни даже одной поэзией. Он публикует также традиционную поэзию, прозу, критику, эссе. Другой фестиваль клуба – ЛАВ-in-fest – охватывает самые различные творческие направления.

2 сентября 2011 г. клуб поэзии «АВАЛ» и арт-группа «Бирма» (**Г. Сотник**, **А. Штейнер**, **И. Нещерет**) провели трафарет-акцию «ЛАВА-Слово» в рамках фестиваля StreetArtFest. В ходе акции поэты представили «поэзо-картины» – форматные текстовые трафарет-автографы, дополненные авторскими визуальными решениями и созданные в ходе акции. Слайды акции были представлены в ходе презентации.

Также клубом учреждён Кубок Большого слэма (Б. Ант и В. Ковальчук), открыт Харьковский Цех Поэзии с двумя залами для презентаций литпроект-ов, изданий и творческих акций, было проведено несколько поэтических спектаклей, выпущен диск «АудиоЛАВА» с авторским чтением поэтами своих текстов... Идёт подготовка к третьему фестивалю «АВАЛГАРД», а также – ко второй трафарет-акции визуальной поэзии.

Основатель и руководитель Клуба поэзии АВАЛ, издатель журнала поэзии «ЛАВА» – **Андрей Костинский**, директор ЧИПП «Слово». Он, пожалуй, один из главных авангардистов Харькова, создатель собственного поэтического направления «пастфутурайт». Автор ряда книг авангардной поэзии и повести «Юголь». В «ЛАВЕ» № 19-20 представлено большое число его работ, отличающихся, на первый взгляд, простотой и даже «черновиковостью» (напоминают рисунки ребёнка или человека, решившего занять время малеванием на подвернувшимся под руку листочке («психография» – по В. Мельникову). Но если взглянуть в них сквозь призму личного внутреннего «мозгового штурма»...

Герман Титов в рецензии на «Пастфутурайт» отмечает: «Самовитое» художественное слово, провозглашенное В. Хлебниковым, продолженное Божедаром и его соратниками, игра смыслов и корней слов, освобождение поэтической речи от шелухи обыденности и банальности – вот то, что, прежде всего, бросается в глаза в «стихотворениях» Костинского. Здесь ничего не имеется ввиду «само собой»... Новый смысл выговаривается иногда с трудом, новые звучания кажутся порой почти мучительными, но ведь это только подражать легко. Новое рождается всегда с усилием. Настоящая лирика, совершенно бескомпромиссная, беспощадно искренняя, прежде всего, к себе, сочетается со столь же бескомпромиссным поиском нового. И восстанавливает преемственность с тем лучшим, что было в нашей литературе прошлого века»

*Ты узнаешь меня. Да, я тот сумасбродный поэт,
Проживающий больше, чем выночить смог намечтания.
На планете живу, – кроме нас, никого больше нет.
Но моргнешь – и весь мир без меня станет вновь расстоянием.*

Или:

*У камня,
который бросают в море,
есть судьбоносное мгновенье:
во время соприкосновения с водой он –
остров!*

Я бы сказала, что это мыслечувствия «астралопитека» – индивида, которому в моменты поэтических прозрений, изменения сознания дано больше и в поэтическое слово вложено больше, нежели понимает он же сам в естественном состоянии ума. Таким же особенным состоянием работы мозга (и сердца) должен обладать и читатель подобной поэзии. Иногда даже сами критики авангардистов не могут написать о них ничего большего, чем «игра слов и смыслов». Это больше, чем игра, – философская метафора. Как и поэзия вообще – если она настоящая – концентрация смысла и разнообразнейших возможностей его понимания. Она – и трансовое откровение, и заклинание, и молитва. Но только тогда, когда автор способен сочетать душевную искренность со всеми доступными и вновь изобретаемыми возможностями языка. Конструкции «без души» действительно мало интересны – они как будто высушены изнутри. И, как правило, чувствуется, когда автор просто «играл в игрушки», а когда творил в особом состоянии «прикосновения Бога».

Некоторые тексты в «Лаве» кажутся сухими поделками, некоторые же – живыми организмами и даже одушевленными существами. Но мы можем не совпасть в восприятии этого с другим читателем.

Интересны визуальные работы **Игоря Нешерета**. Поскольку автор – фотохудожник – в его творениях больше «картинки», нежели поэзии. Однако это пребывание на лезвии бритвы, вечное качание на весах между словом и изображением – что перевесит? – придаёт им нехарактерную для классической поэтической визуализации динамику. Словорисунки-таблицы других авторов оставляют ощущение «плоскости», а работы, к примеру, **Татьяны Мосенцевой** создают впечатление «перегиба» в постероподобие, «околокультурный стандарт». Впрочем, нынешние авторы – люди современные, и никто не мешает им отражать окружающую их реальность так, как повернет её внутренний

дизайнер – авторский мозг. Логотипы фирм, рекламные щиты – это разве не визуальное творчество? Наверняка дизайнеры – если они настоящие профессионалы своего дела – изучают и историю визуальной поэзии, её приемы и возможности.

И всё же истинная поэзия – и обычная, и авангардная, и визуальная – это отход от практицизма, обыденных потребностей, выход за пределы реальности: хоть вширь, хоть вглубь, хоть ввысь. Можно даже в «низь», но чтобы и это было искусством. Именно в этом её ценность.

(Авангардное лирическое отступление: когда набирала слово «ценность» – сделала опечатку – «уенность». Тут же родился визуальный неологизм – «у.енность». В одном контексте с «ценность» создает интересную смысловую композицию. Или же антитезу, если противопоставить ценности материальные и духовные. Или... возможностей обыграть это – великое множество. Вот так и рождаются неологизмы – иногда из простой случайности. А иногда – вообще неизвестно откуда. Говорят, у поэтов-авангардистов «в голове компьютер» или там «синхрофазотрон». Возможно. А скорее – просто острая наблюдательность и чуткость к миру, разнообразным его проявлениям, а также к озвучивающим и описывающим его словам).

В журнале представлены визуальные произведения классиков Серебряного века и его последователей: А. Кручёных, М. Ларионова, О. Розановой, В. Каменского, В. Хлебникова, К. Зданевича, М. Семенко, Д. Хармса, Н. Олейникова.

А также – продолжателей традиции – современных поэтов и художников слова: А. Трояна, Д. Махнутина, Г. Сотника, В. Маштылёва, Д. Горdevского, В. Муравьева, Ч. Атла, Н. Загурской, О. Овчаренко, С. Жадана, И. Жариковой, А. Пичахчи, В. Кузьменко, А. Жмуранского, А. Лобенко, М. Красикова, В. Агарковой, Г. Титова, Д. Би, Т. Шейной, Б. Анта, Е. Погребной.

ВЛАДИМИР ГУТКОВСКИЙ

ПОЭЗИЯ В «ТОЛСТЫХ» ЖУРНАЛАХ. ЛЕТО-ОСЕНЬ 2014-го

Будучи читателем «толстых» литературных журналов с более чем пятидесятилетним стажем, я поначалу обращался в первую очередь к, так сказать, прозаическим текстам, в них размещённым. Что естественно для юноши. Хотя, может, и не слишком естественно. Со временем и поэзия, публикуемая в этих изданиях, стала привлекать моё внимание. Если выразиться кратко, то она показалась мне представляющей в определённой мере довольно «консервативную» часть общепозитического пространства. В период перестройки поэзия отошла на задний план. А в начале века нынешнего плотный контакт с журнальной продукцией у меня был вообще в значительной мере утрачен. По причинам, как объективным, так и субъективным.

Но вот теперь (наверное, пришла пора) так получилось так, что я опять столкнулся с поэзией в «толстых» журналах. И захотелось получить хоть какое-то общее представление о положении дел в этой сфере.

Методика была простой. Я заглянул в «Журнальный зал» и почитал поэтические разделы нескольких номеров отдельных «толстых» журналов (последнее понятие, думаю, уточнять нет необходимости). Мой произвольный выбор пал на следующие журналы и их последние выложенные номера этого года: «Новый мир», №7; «Знамя», №9; «Октябрь», №9.

Разумеется, в первую очередь, при чтении я ожидал получить чисто эстетическое удовольствие. Но помимо этого мне хотелось выяснить и другие аспекты литературного процесса. А, именно: жанровое разнообразие, возрастной диапазон, соотношение поэтов хорошо известных и достаточно новых и вообще полноту поэтической картины.

Конечно, при таком объёме «статистической» выборки достоверное представление недостижимо, но всё же какой-то срез мы получим. К тому же, поэзия дело «штучное».

И ещё скажу. Не стану делать вид, что с творчеством всех авторов хорошо знаком. По-разному. Но не станем на этом особо сосредотачиваться.

Итак.

НОВЫЙ МИР, № 7

Поэзии отведено более чем достаточное место. Пять авторов, массивные подборки. Говоря словами А. Платонова – «Почёт, однако!». Пойдём по порядку.

ИЛЬЯ ФАЛИКОВ

Не учи кузнечика ковать

Стихи

Поэт зрелого возраста и, вероятно, статуса. С его творчеством ранее знаком не был, но то, с чем познакомился, вызвало неподдельный энтузиазм. Все признаки уверенного письма вместе с молодой раскованностью. Изобретательно, щедро, с нерастроченным темпераментом.

Репрезентирующая цитата:

*«Грядущее невыразимо,
текущее невыносимо,
былое непроизносимо...»*

ОЛЬГА СУЛЬЧИНСКАЯ

Лампочка

Стихи

А вот с этим автором знаком. И даже с её стихами.

Общее настроение подборки грустно и густо пессимистическое. Конечно, близкое любой душе, а моей – тем более. Но всё-таки хотелось бы более разнообразных ощущений при чтении. И по сравнению с предыдущим автором набор образительных решений выглядит довольно скупо. Зато единство поэтического стиля выдержано безукоризненно.

Репрезентирующая цитата:

«Хочется счастья. Но счастья у нас не бывает.

Или любви. Но её не бывает на свете...»

ВЛАДИМИР САЛИМОН

Вода становится тяжёлой

Стихи

Поэт ведёт простецкий разговор. И в этом он последователен и не слишком разнообразен. Иногда не избегая даже графически выделенной баснеподобной морали. Как приём – работает. Во всяком случае, публикации эта подборка заслужила. Раз напечатана. А так – дело вкуса.

Репрезентирующая цитата:

«Осенний лес желтеет сверху вниз...»

ГЛУБ ШУЛЬПЯКОВ

Саметь

Поэма

Хорошо знакомый по фамилии автор. Да и поэма – жанр не очень распространенный. Одно это привлекает интерес. И перед нами действительно поэма. Не слишком объёмная, а потому ещё более внятная. Впечатляющая панорама эпохи, времени, человеческих судеб.

Репрезентирующая цитата:

«Ещё одно усилие, и я

услышу, что он говорит...»

ЕВГЕНИЙ СОЛОНОВИЧ

Никто не спрашивает

Стихи

Автор, поэтический долгожитель, маститый переводчик – дебютирует в журнале оригинальными текстами. Они представляют собой, скорее, поэтические зарисовки, мучительные раздумья о долгой и, судя по всему, совсем не простой жизни. В них сконцентрированы человеческая мудрость в сочетании с высокой поэтической культурой.

Репрезентирующая цитата:

«...собрался было умереть

но выжил...»

Резюме по ходу

Поэтический раздел в этом номере «Нового мира» я бы охарактеризовал как *основательный*. Без особых поэтических вольностей. Правда, можно сказать, что при этом и чувство современности несколько притупляется.

Ну, и что? Традиции всегда имеют свою цену. Всегда в цене.

ЗНАМЯ, №9

И этот номер этого журнала поэзию жалует. Каждая подборка по-своему интересна. И по-настоящему молодых среди представленных авторов по любому счёту немало. Что отрадно.

АЛЕКСЕЙ КУДРЯКОВ

Сквозь тенёта заушной речи

Стихи

Вот первый из таких. Ещё и до тридцатника далеко. Нечастое явление для толстых журналов.

С одной стороны, у этого автора поэтический язык достаточно усложнён и осовременен. С другой – родные корни прочны и углублены. Органичное сочетание модерна и архаики производит значительное впечатление. И тематика текстов обширна, но ненавязчива.

Репрезентирующая цитата:

«...недуг и совершенство – побратимы...»

ГРИГОРИЙ КРУЖКОВ

Кружащийся дервниш

Стихи

Очень близкий мне автор. Его репутация и поэтический уровень вне всяких сомнений. Мужественная и зрелая поэзия. Неслучайно ей выделен такой объём.

И обширная подборка не кажется чрезмерной. Не надоедает зрению и слуху, её хочется длить и длить. Несомненная удача и автора, и публикатора.

Репрезентирующая цитата:

«Вот ведь счастье человеку –

Вовремя, мудрец, оглох...»

ВЛАДИМИР НАВРОЦКИЙ

Грибница и матрица

Стихи

Ещё один автор из сравнительно ранних.

Некоторая перечислительность, свойственная его поэзии, вызывает некоторое сомнение. Но, с другой стороны, нельзя не заметить напряжённое разнообразие этих стихов и настойчивый поиск собственной интонации.

Репрезентирующая цитата:

«...звонят, обычно под Пасху.

Хихикают и молчат...»



ЮЛИЯ АРХАНГЕЛЬСКАЯ

Киевский сухой букварь

Стихи

Напряжённая поэзия. Автору есть, что сказать. Но он не затягивает свои высказывания. Объём стихов достаточно лаконичен. Каждый из них представляет отдельный фрагмент общей мозаики. А все вместе представляют выразительную и полную картину жизни души. Во времени и пространстве. И религиозное восприятие сущего только усиливает этот эффект.

Репрезентирующая цитата:

*«Жизнь живая вся сплошь неправильная, цветёт
коряво...»*

Резюме по ходу

Эти публикации оставили яркое впечатление. И глубокое одновременно. А за молодые голоса отдельный респект.

ОКТАБРЬ, №9

Поэтический раздел этого номера представлен всего тремя авторами. Но зато настолько всеохватен. Настоящие ступени восхождения (нисхождения) к сути.

АНАТОЛИЙ НАЙМАН

Боб-доб!

Стихи

Безошибочно привлекающее имя. Эпоха патриарха. Знакомиться с подборкой безумно интересно. Здесь можно найти всё, с чем человек сталкивается в жизни. И в своих представлениях о ней. Почерк мастера. Мастер стиля.

Репрезентирующая цитата:

«Не наш язык у нас и рот, не наши лица...»

ЮРИЙ АРАБОВ

Печальная жизнь мажора

Стихи

Известный автор.

Пронзительный иронизм его текстов заметно контрастирует с содержанием предыдущей подборки. Контрастирует? Или дополняет? Иной ракурс представления может вызывать самый раз-

ный эффект. Выглядеть и так, и этак.

Репрезентирующая цитата:

«Ожирение, брат мой, лечится онкологией»

ИГОРЬ ИРТЕНЬЕВ

Мы с товарищем майором

Стихи

Дальнейшее «снижение» тональности поэтического разговора и стихотворной речи. А чего ещё можно ожидать от признанного исполнителя сюрра?

Нет, чего-то большего всегда ждётся. Всегда. Даже в откровенно развлекательных текстах. Такое.

Репрезентирующая цитата:

*«В день по три стиха фигачу,
Я фактически де факто...»*

Резюме по ходу

Неоднозначное впечатление оставляет содержание стихотворной рубрики в этом номере. Она, в целом, выглядит несколько облегчённой. Но подборка Наймана всё искупает.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

Самый главный вывод: «Толстые» журналы живы. И поэзия в них жива.

Насколько обозначенные во вступлении намерения можно считать выполненными? Эстетическое удовлетворение при чтении, безусловно, получено. И достаточно внушительное. А несколько авторов и их текстов я бы вообще посчитал бы если и не прорывными, то, по меньшей мере, очень значительными.

Жанровое разнообразие, безусловно, присутствует. Причём до такой степени, что, иногда производит впечатление даже некоторой «расслабленности».

Представлены и хорошо известные поэты, и достаточно молодые авторы. Что не может не обнадеживать.

И хотя включённые в данные номера журналов материалы вряд ли дают основания для каких-то глобальных выводов, но вырисовывающаяся общая поэтическая картина современной поэзии вызывает определённый оптимизм.

На этом пока и остановимся.

АЛЕКСАНДР КАРПЕНКО

СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР ЛЬВА БОЛДОВА

Есть какая-то неизбывная горечь в любовной лирике Льва Болдова, даже когда он пишет о счастливой любви. Какой-то вопиющий знак неравенства между музой и любимой женщиной. В пьесе Горького «Дети Солнца» автор условно делит всех своих персонажей, а заодно и всё человечество, на «ушедших вперёд» и «оставшихся позади», обозначив, таким образом, духовную пропасть между людьми разных сословий. Горький задаётся вопросом: как уменьшить эту разницу, чтобы люди научились понимать друг друга? Но лучшие люди уходят всё дальше вперёд, относительно оставшегося позади человечества. Нечто подобное, на мой взгляд, происходит и с двумя героинями любовной лирики Льва Болдова: его музой и любимой женщиной. С той лишь, может быть, небольшой разницей, что муза Болдова отрывается по дистанции не за счёт какого-то собственного движения, развития. Нет, она всё время находится на одной и той же недостижимой для земных женщин высоте, но пропасть между нею и реальной женщиной, тем не менее, увеличивается.

Но драма героя Болдова заключается в том, что он убеждён: это не два разных существа в женском обличье, а одно. То есть, он убеждён, что где-то есть такое место, где реальная земная женщина достигнет небесных высот музыки. Так Лобачевский был уверен в том, что параллельные линии, в конце концов, обязательно пересекутся. Это лишь вопрос времени. И пространства. Но жизнь проходит, а пропасть между героинями остаётся – так бесконечно далека реальная женщина от той, что грезилась во снах.

Но ведь любит же герой Болдова своих незадачливых героинь – невзирая на, казалось бы, безнадежную их отсталость от идеала! Он не может, а, может быть, и не хочет сразу «просканировать» им душу, чтобы понять, кто сейчас рядом с ним. Но жить – и не влюбляться скучно, лучше опутать любимую женщину собственными фантазиями и

не думать о предстоящем разочаровании. Не на себя же, в конце концов, устремлять любовную энергию!

Но вернёмся к идеальной женщине, которую ищет и не находит наш герой. Что же ищет он в женщине? «Отражение своё в женском лике». Поэт убеждён, что не он первый, не он последний различаем противоречием между фантазиями, идеалом – и реальной жизнью. Он даже берёт в союзники Леонардо да Винчи, несмотря на упорные слухи о гомосексуализме последнего. «*Ты придумал её, Леонардо, – отражение своё, Мону Лизу...*». Герой Болдова ищет в женщине великую душу – в «довесок» к её телу. Но он никак не может избавиться от гнёта идеала – этого тирана из тиранов. Он помнит свой потерянный Рай – и жаждет обрести его снова.

Но герой Льва Болдова – отнюдь не рыцарь печального образа. Ничто человеческое ему не чуждо, даже радость земная. Возьмём стихотворение «*Придётся – за окнами кисель...*», «*Поставим чай, грибы с картошкой пожарим, разберём постель*». Простые, казалось бы, будничные вещи – а мир уже изменился, что-то в нём стало «не от мира сего»... «*И Время медленно умрёт... мы будем так с тобой близки, как никогда никто на свете... и мы проснёмся в полнестого, чтоб Царство Божье не проспать*». Герой, наконец, забыл про свою музу, оттеснил её на задворки памяти – и произошло чудо: он обрёл обыкновенное счастье с обыкновенной женщиной. И возвёл её в ранг музы, написав о встрече с ней прекрасное стихотворение.

Вообще, встреча поэта с Незнакомкой – это всегда лотерея в смысле предстоящих взаимоотношений: слишком много разных факторов могут повлиять на будущее данной пары. Наверное, не нужно ожидать слишком многого от каждой встречи – и тогда ты обязательно встретишь женщину, которая превзойдёт твои ожидания. С одной стороны, нас, поэтов, губит излишняя требовательность к предмету поисков, с другой – хочется, чтобы это



была встреча надолго, может быть, на всю оставшуюся жизнь. Но, завладев своей мечтою – например, женившись на ней, мы уже не способны оставить её на том пьедестале, где она пребывала ранее. «Не к добру людям исполнение их желаний» – писал Гераклит. Может быть, потому поэты и строят воздушные замки, творят, как Пигмалион, своих героинь по своему образу и подобию, чтобы никогда не найти их в реальной жизни и тем самым сохранить дистанцию между музой мечты и сегодняшней любимой. Или – склоняются к мудрости Дон Жуана и Казановы, которые уходили от любимых женщин в момент наивысшего наслаждения, когда костёр любви полыхает высоким пламенем, чтобы не доживать с ними до того времени, когда пламя превращается в пепел...

Но истинное счастье, пожалуй заключается в том, чтобы всё совпало – и время, и место, и температуры, и интерес к личности, и взаимность чувств, и их одновременность... Вот такая встреча – истинная удача, подарок Божий. Но сердце человека не терпит пустоты одиночества, и потому наши встречи так случайны и больны несовпаденьями, как в стихотворении Льва Болдова «С этой женщиной мы разошлись на полкруга...».

Вообще, это какая-то кармическая штука – всё время искать и не находить свою пару. Я знаю сколько угодно людей, которые не ищут – и находят. И – что самое удивительное – плодотворно живут вместе. Но есть Сизиф, который вечно катит свой камень, есть Вечный Жид, который всё время странствует, есть, наконец, и Лев Болдов, вечно ищущий влюблённый.

Конечно, Лев Болдов – не поэт одной темы. Его лирика пестрит разнообразием. Особенно интересны его исторические стихи, когда он пишет о нашей недавней истории сквозь призму современности. Однако мало кто из поэтов способен переживать отсутствие своего женского alter ego как личную трагедию. Этим мне интересен поэт Болдов.

Некоего Божьего духа не хватает героине Болдовского стихотворения «Должно быть, Бог, когда тебя творил...». Это уже не статуя Пигмалиона, это бесконечно живая, если можно так выразиться, женщина. «Он пытливый ум в тебя вложил и тонкую, чувствительную душу». К тому же эта женщина хороша собой, как Даная. Чего же ещё надобно нашему герою? Что-то в ней оказалось, тем не менее, недоработанным Создателем – как мрачно шутит сам автор, наверное, кто-то отвлек Господа в самый последний момент, когда нужно было навести последний штрих. И герой наш не в силах простить ей этот маленький недостаток

за все её достоинства. Прав он или нет? Не знаю, я не видел этой женщины. Скорее всего, прав, раз его душа её отвергла. Наверное, это был такой недостаток, который перевесил все вышеупомянутые достоинства. Так тоже иногда бывает. Ведь поэту нужна женщина, которую не стыдно взять с собой в бессмертье!

Вообще, неживые женщины часто оказываются у Болдова привлекательнее живых, и это один из незабываемых парадоксов его любовной лирики. Достаточно вспомнить фотомодель, рекламирующую шампунь в метро. Живое и неживое в нас порой так причудливо смешано, что и не отличить... У Болдова неживая женщина часто оказывается подлинной, а живая – наоборот, фальшивой. И что тут поделаешь: с неживыми проще. Живыми нужно заниматься, нужно уметь с ними ладить, уживаться. Живая может в один прекрасный миг предать тебя – и устремиться к другому. В общем, живые – сплошная головная боль. Но миражами жить нельзя. Герой Льва Болдова это прекрасно понимает. Поэтому он так бесстрашно заявляет: «я вышел на поиски музы – и нет мне дороги назад!».

Но, увы... любовь убегает, как мудро заметил скульптор Роден. И жизнь убегает.

И лишь муза, мечта, бумажный кораблик безумного поэта – никуда не убежит. Может быть поэтому поэт периодически «ампутирует» земных женщин, неудачниц его «почвенной» любви – и остается верен своей Музе... которую пока не нашёл.

Лев Болдов выдает стихи в книгах порционно, неторопливо. Он не грузит читателя избытком стихов. Его книги рассчитаны на прочтение залпом, в один заход, от начала и до конца. Чтобы читатель тоже поймал вдохновение, и оно не иссякло до последнего стихотворения в книжке. Поэтому Лев Болдов не издаёт крупных фолиантов, неудобных в хранении и перевозке. Последняя книга Болдова «Солнечное сплетение» – очень удачное, на мой взгляд, название для сборника стихов. Предыдущая книга поэта называлась «Секретный фарватер». Лев Болдов, в сущности, всё время переиздаёт свои избранные стихотворения, добавляя в первую часть новой книги то, что написано за последнее время. В такой компоновке есть свой резон: читатель получает и неизвестное «новенькое», и уже любимое «старенькое». Потом, как правило, что-то из «новенького» перекочёвывает в «старенькое», и так – до бесконечности.

Есть в стихах Льва Болдова некий «патриотический сегмент». Хотя сам он, скорее, кочевник по натуре, патриот не территории, а духа. Родился и долгое время жил в Москве. Потом – осел в Харькове. Сейчас – предпочитает жить в Крыму,

в Ялте. Но для Льва Болдова всё это – одна большая Родина. Он никогда не призывал к пересмотру существующих границ. А когда границы всё-таки пересматривались, как в случае с Крымом, поэт воспринимал это как должное. Забавно, что книга «Солнечное сплетение» – текущего, 2014 года, была издана ещё в украинском Симферополе. Об этом свидетельствует аннотация к книге, написанная на украинском языке. Как же быстро меняется жизнь!

Патриотика у Льва Болдова напрямую вытекает из его увлечённости русской историей. Болдов считает, что в истории не должно быть не только замалчиваний, но и выпячивания одних исторических личностей в ущерб другим. Поэтому в своих стихах он всех посмертно реабилитирует – и красных, и белых. Что само по себе достаточно революционно – до сих пор в народе преобладала та точка зрения, согласно которой «нерусские» политические деятели начала XX-го века надругались над нашей верой и нашими исконными традициями.

Личностная и человеческая драма Льва Болдова заключается, на мой взгляд, в том, что у него жизнь и творчество не образуют единого целого. Жизнь у него сама по себе, а творчество, хотя оно напрямую вытекает из жизни, от жизни обособлено. «Я люблю тебя, жизнь, не надеясь, что это взаимно», – с нескрываемой горечью пишет поэт. Главный для него диссонанс – как раз это несоответствие между жизнью и творчеством. Есть замечательная иллюстрация художницы Ирины Ганжи к той части книги, что озаглавлена «Точка невозврата». Когда стоишь под Шуховской телебашней, вверху, в центре концентрических колец, которые поддерживают конструкцию башни, виднеется крошечная точка. Это и есть «точка невозврата». Она мерцает там, в вышине. В поэтике поэта-перфекциониста Болдова точка невозврата – это нежелание понижать градус своего идеала. Я бы

сказал так: покорённые Джомолунгмы снижают интерес альпиниста к вершинам, которые пониже. А дважды взойти на один и тот же пик нельзя: время ушло, это всё равно как дважды войти в одну и ту же реку. Женский идеал для поэта не меркнет – он просто уходит в другую жизнь, где нет места нашему герою. Вот и целая страна – тоже слетела, как с катушек, со своих идеалов...

В поэзии Льва Болдова нет «двойного дна» и прочих словесных изысков и ухищрений. Всё у него очень просто: неоклассика. Но как же здорово он рассказывает свои истории! Оторваться невозможно! И не надо ему закладывать никаких третьих-четвёртых смыслов: его лирика и в таком виде самодостаточна. «Нет, я не Бродский. Я – другой», – говорит поэт. Но это «антибродское» начало в нём – самой высокой пробы. Болдов не просто повествует. Он – священнодействует, он всё время нагнетает – до катарсиса, до коды, до полного очищения. Драматургически и лингвистически его стихи – безупречны.

*И нет ни печали, ни страха.
Откинута пряди со лба.
Под властными пальцами Баха
Свершается наша судьба.*

*Он смотрит спокойно и мудро,
Раздвинув на миг облака.
И сыплется снежная пудра
На землю с его парика.*

У Льва Болдова есть одно замечательное свойство. Он не боится взять на себя ответственность за происходящее в стране, так сказать, убить в себе Молчалина. Порой даже его стихи производят впечатление «слишком громких». Но он всегда собирает полные залы в самых разных городах. И, значит, людям такая поэзия нужна.

ЛАДА ПУЗЫРЕВСКАЯ. ТОККАТА И ФУГА НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

О своём творчестве прозаик Ольга Ильницкая сказала так: «Сгущение жизни – моё ремесло». Особенность поэтики Лады Пузыревской заключается в том, что «сгущать» ей, в сущности нечего – то, как она мыслит, уже содержит в себе некий «концентрат», не нуждающийся в уплотнении. Наверное, этим настоящая поэзия и отличается от хорошей прозы. В поэзии Лады много реальной, непридуманной жизни. В то же время жизнь эта в её стихах предельно обобщена. В результате на выходе мы имеем «бракосочетание» акмеизма и символизма, которое ещё в начале прошлого века могло пока-

заться чем-то из ряда вон выходящим. Но жизнь, а вместе с ней и поэзия, как мы видим, не стоят на месте. Кредо Лады Пузыревской можно выразить словами поэта Фёдора Назарова, утверждавшего, в шуточной форме, что классика для него мертва, и умолявшего современных поэтов: «Скажите что-нибудь!». Лада пристально следит только за новыми именами в современной поэзии. Классика, благодаря маме-поэту, давно уже ею усвоена, переварена и отправлена на свалку истории, как отработанный материал. Чтобы узнать больше о творчестве Лады, обратимся к её стихам.



*что ты знаешь о жизни заснеженных тех городов
где секундная стрелка годами стоит, как вливая
и короткая память не стоит напрасных трудов
и хрипят самолёты, с саднящего поля взлетая*

*у остывшей земли на краю без причины не стой
приближает зима в ледовитом своём фетишизме
выживающих чудом в местах*

отдалённых не столь

что ты знаешь о жизни

родом из отморозженных окон –

куда нам таким

и тебе не понять,

постояльцу нарядных бульваров

отчего так бледны одолевшие брод седоки

и не смотрят в глаза, отпуская своих боливаров

что ты знаешь о жизни немногим длиннее стихика

где случайным словам

в изувеченном ветрам конверте

до последнего верят и крестятся исподтишка

что ты знаешь о смерти

искрометных свечей, позабытых у пыльных икон

а Господь раздаёт векселя в неизвестной валюте

и всё так же один – налегке по реке босиком

отправляется в люди

Это новое стихотворение достаточно характерно для творческой манеры Лады Пузыревской. Мы видим, что знаки препинания расставлены автором выборочно. Это не дань постмодернизму – просто знаки препинания «регламентируют» текст, уточняя его. А свободное плавание, без точек-тире-запятых, даёт возможность более широкого толкования смысла. Лада не боится многосмысленности. Чем больше смыслов, тем шире «живучесть» произведения. Когда я читаю стихи Лады Пузыревской, я вижу речку, которая вливается в другую речку, чтобы затем, соединив свои воды с ещё несколькими реками, нырнуть в глубокое синее море. «Возьми меня, море!». Море, которое так родственно душе Лады.

«Что ты знаешь». – «Я знаю, что ничего не знаю». Мы видим, что поэзия (Пузыревской) отличается от философии (Сократа) невероятным богатством интонаций. Героиня стихотворения Лады одновременно и спрашивает, и попрекает в неведении, и утверждает своё превосходство над иными видами знания. Но, в конце концов, приходит к осознанию относительности любых «знаний» о жизни и смерти. А это уже почти смыкается по смыслу со знаменитым изречением Сократа.

Эта разноголосица в жизненном опыте, наверное, была бы не так печальна, если бы не приводила людей к взаимонепониманию.

Рифмы Лады, как всегда, новы и неожиданны, и это задаёт небанальный тон всему повествованию. Потoki сознания, эти реки, впадающие в другие реки, упорядочены в тексте чеканным ритмом и многочисленными рефренами. И – пожалуй, главное в стихах Лады – это ощущение вестнической правды «последнего слова». Градус повествования. Накал бытия. Подлинность проживаемой жизни, со всеми её мучительными вопросами и прозрениями-неответами. И это удивительное «мы» вместо привычного «я» – многоголосая исповедь нашего времени как лирического героя.

А вот ещё одно стихотворение Лады.

ZERO

*Так и мы замыкаем, закрыв глаза,
на земле наш порочный пи зр квадрат.*

© Боровиков Пётр Владимирович

*Если забудут в осень свести мосты,
то зимовать придётся там, где застал
снег, затянувший белым надежд посты.
Бледные тени... сны?.. у чужих застав*

нас не дождутся – это наверняка.

*Время стоит, когда на семи ветрах
мечется-бьётся-плачет Нева-река,
плещет на серый берег столетний страх –*

страх тишины. Вы слышите шорох, князь?..

*Вечность скребётся в битые зеркала.
Стрелки, плутая, сонно стирают вязь
на циферблате... Скольким она лгала –*

*осень, базовый росчерк на золотом,
дивное время жечь не мосты, листву,
всё оставлять на призрачное «потом»,
верить любому жесту, как колдовству.*

*Это потом здесь будет серым-серо...
после случайно скошенных ветром фраз,
это потом, поставивших на зеро,
осень запеленгует, ослепших, нас –*

*тех, кто смотрел на солнце и рифмовал
смерть, как одну из прочих попыток сметь.
Каждый случайный луч – всё в слова. Слова...
Осенью все слова – только мелочь-медь,*

*будущих зим разменный не-golden фонд,
плата за выживание в той войне,
где даже тени наши уйдут на фронт,
той, где за каждый выстрел платить вдвойне.*

*Белая сказка... Битва за каждый след –
это для тех, кто вряд ли у райских врат
в очередь встанет на тысячу долгих лет.
Это для тех, кто верит в победу, брат.*

Стихотворение «ZERO» представляет собой футу, в которой тема города подхватывается темой метаморфоз в природе и в людях, и «вечность скребётся в битые зеркала». Потом влетают ставшие уже традиционными для данного автора темы войны и смерти, жизни и борьбы за выживание, веры в победу. И это многоголосие замысла позволяет читателю легко ошибиться в определении того, о чём же всё-таки это стихотворение. А оно – о многом. Оно – о вечном. Оно – о переходе. О страшном пограничье разведённого моста, где по одну сторону – цветущие краски осени, а по другую – мертвенная белизна голого нуля. Если свести такой мост, получится Кали-Юга перед тотальным обнулением и началом *vita nuova*.

Однако только в математике ноль – это ничто, пустота небытия, которой, возможно, побаивается даже сам Господь – величайший математик всех времён. Однако между нулём и zero в русском языке, в отличие от английского, существует принципи-

альная разница. «Зеро», перейдя в русский язык, утратило одну смысловую фатальность – и обрело другую. «Зеро» в русском языке – это всегда игра, и тот, кто поставил на «зеро» свои маленькие жизни, может как выиграть, так и проиграть. А ещё может, проиграв, выиграть. Так тоже бывает.

Но «город зеро» Лады Пузыревской – это не Питер. Это город, который одновременно везде – и нигде. Синусоида жизни человека порой уходит в нижнюю точку, «уровень моря жизни», но человек при этом умирает, к счастью, лишь виртуально. Конечно, в этот момент он способен покончить с собой, поскольку не в состоянии осознать, что на пепле прошлой жизни рождается надежда. Лада Пузыревская определяет эту нулевую точку так: «*смерть, как одну из прочих попыток сметь*».

У Лады «время стоит», потому что... оно испугалось. Чего же боится время? Свершения судеб! Того, что его, время, «перестанут наблюдать» окунувшиеся в счастье люди. Что стрелки заплутают на циферблате. Что стрелки выйдут на свою кармическую охоту. А чего же боится человек? Неплавности перехода из одного времени года – в другое, из одной жизни – в другую. Плавность, постепенность – подготавливает человека к переходу. Неплавность – бросает его, как не умеющего плавать ребёнка, в открытый космос новой жизни, с её невесомостью надежда и прочими неизвестными.

ВОЕННАЯ ЛИРИКА МИХАИЛА ЮДОВСКОГО

*Любимая, когда мы убивали,
Гордясь собой и родиной ввойне,
Мы об убитых думали едва ли,
Поскольку на войне как на войне.
Опутаны единьими силками,
Мы даже не смотрели им в глаза,
Которые синели васильками,
Как будто отражая небеса.
Солдаты поневоле людоеды.
Нам было, если честно, всё равно.
Поверь, что запах крови и победы
Пьянит куда сильнее, чем вино.
Мне в самом деле хочется напиться,
Просыпаться песком сквозь решето.
Любимая, я вовсе не убийца,
А – Бог свидетель – сам не знаю кто.
Я пустота. Я пушечное мясо.
Несомый стаей озверевший волк,
Которым движет страх, тупая масса,
Слепая верноподданность и долг.*

*Здесь нет дорог. Здесь правит бездорожье.
И сам от безысходности не свой,
Я всё пойму, когда звенящей ражью
Меня укроет поле с головой.
Не жди меня. Уснёт и не проснётся
Моя душа, не размыкая век.
А если я вернусь, к тебе вернётся
Чужой и незнакомый человек.
Я очерствел. Я высох, словно корка,
До мелкой пыли сердце раскрошив.
А, всё-таки, любимая, мне горько –
За тех, кто умер, и за тех, кто жив.*

Есть вещи, о которых лучше и проще промолчать. И только поэт, с его «обетом немолчания», говорит – часто невпопад и некстати. Вот и вещи, о которых рассказывает Михаил Юдовский, казалось бы, лучше скрыть, а, если и говорить о них – то, уж, конечно, не любимой женщине.



Если вам удалось «проскочить» первую строчку стихотворения Михаила Юдовского – таким образом, чтобы «крыша» никуда не поехала, у вас есть шанс дочитать это замечательное стихотворение до конца. *«Любимая, когда мы убивали...»*. Я всегда был сторонником краткости и ёмкости изложения, однако бывают сюжеты, требующие увертюры, вступления. Сюжеты, в которых лакуны – нежелательны. А здесь явно «вырван» целый кусок исповеди, проливающий свет на эмоциональное состояние героя. В трезвом состоянии ни один нормальный человек не станет рассказывать любимой женщине об ужасах войны. Это уже какая-то запредельная – и потому никому не нужная степень искренности. А дальше... Михаил Юдовский настолько психологически верно рассказывает о так называемом «военном синдроме», что я, грешным делом, даже подумал было, что он пишет, исходя из собственного военного опыта. Во всяком случае, ничего подобного в стихах и песнях бывших «афганцев» и «чеченцев» я не встречал. Может быть, именно военной биографии автора и не хватает проницательному читателю, чтобы принять это сносящее крышу *«любимая, когда мы убивали...»*. Афганский и вьетнамский синдромы, как явления, выразились в том, что солдатам было тяжело адаптироваться к мирной жизни. Причина? Во многом это связано с психическим состоянием человека. Когда процесс запущен, трудно бывает подняться.

Статистика выдает ужасную информацию: после войны погибло больше её участников, чем, собственно, во время сражений. Бывшие воины спиваются, опускаются на дно, и нельзя судить обо всех по успешным ветеранам, тем, кто занимается бизнесом или заседает в Думе. Учёные выяснили, что больше подвержены синдрому представители определённых военных профессий – «ликвидаторы», десант, спецназ. Те, кому довелось воевать напряжённее других.

Иногда человек, исчерпав заряд славы, внимания, полученный за участие в войне, потом не находит себя в мирной жизни, не понимает, что в ней тоже можно реализоваться, но – иначе. Это одна сторона медали. С другой стороны, многие на войне в состоянии аффекта убивали мирных жителей, и это преследует душу, мучит как ночной кошмар, терзает совесть.

Раньше люди не задумывались о своих действиях на войне. Враг – он и есть враг! Карфаген должен быть разрушен! И только новое время внесло в переживания воинов элементы «ненужной» психологии. Наверное, так бывало и раньше. В начале XX века французский писатель Селин написал роман «Путешествие на край ночи», в котором уже

присутствует многое из того, что массово вошло в психологию последних локальных войн. И всё-таки раньше это было не так заметно. Может быть, потому, что войны были более справедливыми и не нуждались в дополнительном оправдании. Возможно, дело и не в психологии вовсе, а в чистоте русской «хлудовщины». Но почему же тогда военный синдром интернационален? Почему им болеют, скажем, американцы?

«Военный синдром» чем-то похож на Лохнесское чудовище: он существует, но поймать его не представляется возможным. Так или иначе, но после войны воинов умирает больше, чем на войне. Вот только роль войны в этом трудно поддаётся анализу. Априори считается, что именно военный опыт ускоряет уход огромного количества людей. Цифры – за. В то же время, многие бывшие воины не умирают, а доживают до самой глубокой старости, выдерживая самый невероятный прессинг жизни и не ломаясь при этом. Так что теория синдрома верна ровно наполовину: часть людей ломается, а часть становится сильнее. Как у Ницше: *«То, что не убивает нас, делает нас сильнее»*.

Михаил Юдовский «прокололся» на одной из сентенций, после которой для меня окончательно стало очевидно, что сам он нигде не воевал. *«Мы даже не смотрели им в глаза»*. Тот, кто действительно воевал, так никогда не скажет. Впрочем, автору удалось создать метатекст, который, на мой взгляд, интересен именно в такой «непрофессиональной» подаче. Стихотворения о военном опыте – всегда «на тоненького», тут трудно быть точным и объективным. Может быть, потому военные стихи, как правило, и не идут далеко в философию. Обычно воевавшие пишут так: было трудно, но мы не потеряли присутствия духа, держались боевого братства. Не воевавшие часто просто клеймят войну как событие, на котором постоянно гибнут люди. Стихотворение Михаила Юдовского, по моему мнению, – одно из немногих произведений на эту тему, которое зрит в самый корень проблемы. С той маленькой поправкой, что воевавший герой может обратиться с такими словами к любимой женщине разве что мысленно. Потому что вслух подобный монолог, пожалуй, возможен разве что на киноэкране. В боевике, где много крови и ненужных жертв. Но художественно – он вполне оправдан. Герой Юдовского трагичен, он не может уйти от судьбы; его выбор страшен – между реальной смертью и медленно убивающим синдромом войны. Михаил Юдовский в своих стихах – блестящий психолог. Ситуации, в которые попадают его герои, эмоционально точны. Скажу больше: он, подобно Высоцкому, заставляет

своих героев попадать в экстремальные ситуации, потому что такие персонажи ему, как мыслителю, намного интересней. Душу человека не измерить в квазарах или пульсарах. Нет меры для души. Мы просто говорим: человек большого сердца. Стихи Михаила Юдовского отличаются от многих других большим градусом сопереживания своим героям. В стихах Михаила трудно обнаружить привычную слуху современника игру слов. Зато жизнь в его стихах – настоящая. Даже если его герой – из племени проигравших. Вот, к примеру, ещё одно военное стихотворение Михаила Юдовского.

ПОЛКОВНИК

*В субботний вечер в маленьком кафе
На невысокой деревянной лавке
Полковник артиллерии в отставке
Глотал коньяк, в кармане салифе
Раскрыв украдкой тощий кошелек
И мрачно пересчитывая деньги.
Он созерцал бетонные ступеньки,
Немытый пол и скучный потолок,
Псытывая приступы тоски,
Дробящие сознание, как сверла.
Недорогой коньяк царапал горло
И стягивал удавкой виски.
Существование – повод для вражды.
По крайней мере, повод для запоя.
Наедине с фужером и с собою,
Он в прочих собеседниках нужды
Не чувствовал. Полковник, отчего
Ты сделался чужим и бесполезным,
И вещество объятием железным
Закупорило в панцирь существо?
Полковник, ты скучаешь по войне?
Вдали от смерти жизнь неполнокровна.
Деревья, превратившиеся в брёвна,
Становятся бессмысленны вдвойне.
Не поменять ли в сердце часовых?
Не время ли с собою объяснить?
Как долго наваждением будут сниться
Живые, хоронящие живых?
Полковник, ты тоскуешь по полям,
Где прорастают сквозь тела колосья
И раздаётся птиц многоголосье
С молитвой поминальной пополам?
Ты не вернулся ни с одной войны.
Пожертвовавший кровью вместе с потом,
Полковник, ты остался патриотом
Давно не существующей страны.
Не те места и времена не те,
И люди на бессмыслицу похожи.
Но если сердце пусто, отчего же*

*Такая тяжесть в этой пустоте?
По совести скажи: зачем в дыму
Сражений сохранил тебя Всевышний?
Не ты один на этом свете лишний –
Мы все на этом свете ни к чему.
Полковник, пей коньяк. Молчи. Скучай.
И спорь с самим собой, не зная твердо,
Что будет лучше – дать бармену в морду
Или оставить что-нибудь на чай.*

Мы видим, насколько убедительнее звучат стихи не воевавшего человека, написанные не «от себя», а в третьем лице. Хотя, конечно, есть и исключения, вроде того же Высоцкого. Но тот был актёром и снимался в военных фильмах. Лично мне очень не нравится в стихах фальшь. Если же поэт убедителен в своей речи, пускай назовётся хоть Папой Римским – лишь бы у читателя не возникал при этом синдром Станиславского «Не верю!». Юдовский, там, где он не точен в деталях, по причине отсутствия специфического жизненного опыта, сполна компенсирует этот недостаток точностью психологической. «Ты не вернулся ни с одной войны» – говорит поэт о своём герое. Чем больше войн в послужном списке бывалого человека, тем меньше у него шансов «вернуться», то есть вернуться к нормальной мирной жизни. В данном стихотворении Михаила Юдовского явственно слышен литературный след Габриэля Гарсиа Маркеса, этого Хэмингуэя Латинской Америки. Мне кажется, что проблемы отставных военных заключаются вовсе не в отсутствии адреналина. В конце концов, есть ведь экстремальные виды спорта, где этого добра хватает. Но, согласитесь, воевать за родину – ещё и нравственное кредо патриота страны! Другое дело – благие дела, в которых ты участвуешь, часто потом гримасничают тебе своей оборотной стороной.

Я не могу назвать данное стихотворение Михаила Юдовского безупречным. Оно немного затянато; хорошие строки («не поменять ли в сердце часовых», «где прорастают сквозь тела колосья») чередуются в нём с неудачными («и стягивал удавкой виски», «пожертвовавший кровью вместе с потом»). Но есть в этом стихотворении ценные наблюдения и «сердца горестные заметы». Например, вот это: «Полковник, ты остался патриотом давно не существующей страны». Юдовский сумел зацепить в стихотворении какие-то важные смыслы. В своё время американские ветераны Вьетнама пугали нас тем, что афганский военный синдром будет для нашей страны таким же тяжёлым, как для них опыт Вьетнама. Но США после Вьетнамской



войны не распались, в отличие от Советского Союза! Я думаю, что нашим ветеранам морально было намного тяжелее, чем американцам. Интернационализм сейчас ретрограден, он чреват решением собственных проблем за счёт бывших республик Союза, игнорируя их, как будто бы они не существуют. Но многие люди остаются именно патриотами Советского Союза – они просто уже не могут быть другими.

Меня ещё поразила, как квинтэссенция стихотворения, вот эта строфа Михаила Юдовского:

*По совести скажи: зачем в дыму
Сражений сохранил тебя Всевышний?
Не ты один на этом свете лишний –
Мы все на этом свете ни к чему.*

Если на войне человек остался жив, значит, для чего-то он ещё предназначен (Если звёзды зажигают – значит, кому-нибудь это нужно). Может быть, впереди ещё одна война, в которой опыт этого человека окажется как нельзя кстати. А он – вот незадача – пьёт беспорядно и не подозревает о своей будущей миссии. И конечно, нельзя не отметить, как Михаил Юдовский решает проблему «лишнего» человека в русском обществе, заявленную ещё Онегиным, Печоринным и Базаровым в начале XIX века. «Не горюй, полковник, мы все – лишние на этом свете, в контексте вечности». Смело! Пессимистично. И, не исключено, верно, по гамбургскому счёту. И, в заключение, ещё одно военное стихотворение Михаила Юдовского.

*Он уходил из дома на войну,
Но он не верил в праведность войны
И не стремился к будущему бою.
И, может быть, любя свою страну,
Он за собой не чувствовал страны,
А видел только небо над собою.*

*И шли дожди, уныло морось,
Вращая мир вокруг своих осей.
И разгоня мысли алкоголем,
Шутили и горланили друзья.
Но он не видел лиц своих друзей,
А видел птиц, летающих над полем.*

*И был огонь. И сузились круги.
Из гулкого смешения шагов,
Чернея, вырисовывались тени.
И где-то рядом падали враги.
Но он не видел лиц своих врагов,
А видел лишь ожившие мишени.*

*И был порыв. И радость в нём была.
И бешенство подталкивало в бой,
Как будто уравнивая его с богами.
А после на глаза упала мгла.
Но он не видел смерти над собою,
А видел только землю под ногами.*

*Как всадник, покачнувшийся в седле,
Утратило пространство существо,
Прижав к нему лицо, от ран рябое.
И он лежал, один на всей земле,
Не слыша никого и ничего,
Но снова видя небо над собою.*

ББК 84 (4 Укр-4 Оде) 62я45
Ю 195
УДК 821.161.1'06 (477.74) – 94

Підписано до друку 20.12.2014 р.
Формат 60x70/8. Гарнітура Garamond Narrow.
Папір офсет. Друк офсет. Ум. друк. арк. 20,78.
Зам.???? Тираж 500 прим.

Видавництво КП ОМД (свід. ДК № 774 від 17.01.2002 р.)
Надруковано в КП «Одеська міська друкарня»
65012, Одеса, вул. Пантелеймонівська, 17